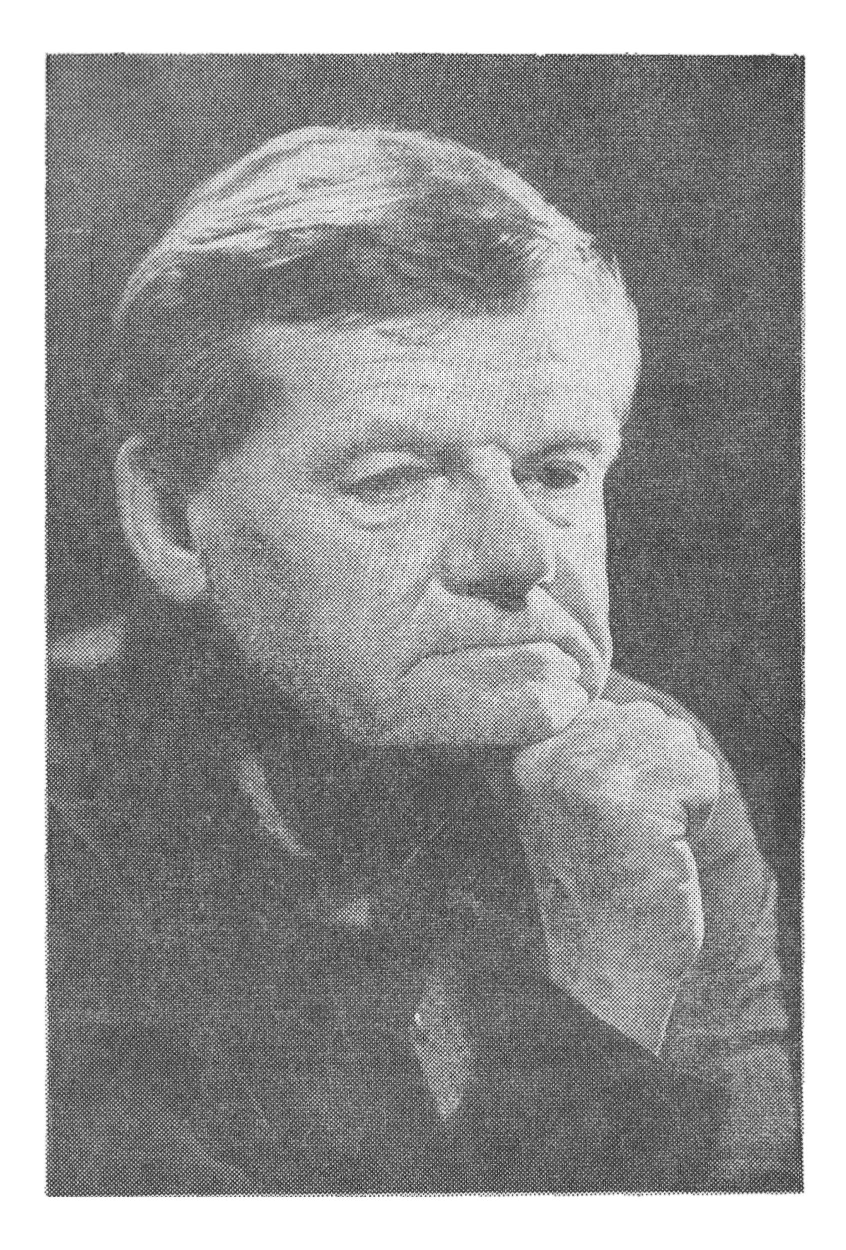
Воспоминания о Леониде Мартынове





Воспоминания о Леониде Мартынове



Воспоминания о Леониде Мартынове

Сборник

МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1989

ББК 84 Р7
В 77

Составители

Г А. Сухова-Мартынова, В. Г. Утков

Художник Валерий ЛОКШИН

В книгах этой серии в качестве иллюстративного материала наряду с фотографиями последних лет используются архивные и любительские, плохо сохранившиеся фотографии.

Публикуя их, издательство стремится показать читателям редкий фотоматериал из жизни писателя, представляющий несомненный исторический интерес.

В $\frac{4702010201—487}{083(02)—89}$ 160—88

ISBN 5—265—00067—4

Леонид Мартынов

МОЙ ПУТЬ

Я родился 9 мая 1905 года в Омске. Детство провел на Великом Сибирском железнодорожном пути, в служебном вагоне отца, техника путей сообщения и гидротехника.

Поэзия для меня, ребенка,— читать я научился довольно рано, лет пяти-шести,— сначала была некоей прекрасной отвлеченностью, сказкой, не имеющей почти ничего общего с действительностью. Суровые края, где я рос, не были воспеты теми поэтами, чьи произведения попадались мне на глаза. Из книг я знал о златоглавой Москве и величественном Петрополе, но вокруг себя видел неблагоустроенные человеческие поселения, тонущие то в снегах, то в грязи. Из книг я знал о том, «как хороши, как свежи были розы», но вокруг меня в полынной степи, примыкавшей к полосе отчуждения, щетинились чертополохи, пропахшие паровозным дымом. «По небу полуночи ангел летел»,— читал я у поэта, но воображение мое занимали не столько ангелы, сколько моноплан Блерио.

Затем грянул сараевский выстрел, и началась первая мировая война. На фронт потянулись эшелоны солдат, а с фронта начали прибывать раненые, беженцы, военнопленные. Гимназический учитель словесности еще пытался заставить меня учить наизусть «тиха украинская ночь» и «чуден Днепр при тихой погоде», но погода была не тихая. И вот именно тогда я, десятилетний ребенок, прочел стихи, которые определили мое будущее. Это были стихи Маяковского «Я и Наполеон», стихи о войне, стихи о современности, стихи, полные ощущением завтрашнего дня. Мне показа-

[1] Автобиографическая заметка написана Леонидом Мартыновым для его книги «Стихотворения» (Библиотека советской поэзии), выпущенной издательством «Художественная литература» в 1961 году.

лось, что Маяковский видит и чувствует то, что вижу и чувствую я, хотя я не вижу того, что видит Маяковский, и он не видит того, что вижу я. И мне захотелось писать стихи. И я, как умел, начал писать их...

Годы революции не располагали к усидчивым школьным занятиям, и в 1921 году я, шестнадцатилетний подросток, вышел из пятого класса советской школы, решив жить литературным трудом. Дебютировал в печати стихами в журнале «Искусство», выпущенном Художественно-промышленным институтом имени Врубеля в Омске. Эти стихи, в которых говорилось о том, что «пахнут землей и тулупами девушки наших дней», не прошли незамеченными: почему-то в Польше, тогда панской, некий критик, видимо — эстет, всячески изругал меня за антипоэтичность и за то, что я «красный». Помню еще одни стихи того времени. В этих стихах я писал: «Провинциальный бульвар. Извозчики балагурят, люди проходят, восстав от сна. Так и бывает: проходят бури и наступает тишина... И только один, о небывалом крича, в истрепанных башмаках мечется бедный поэт по вокзалам, свой чемоданчик мотая в руках». Может быть, мне и не совсем точно удалось изобразить общее положение вещей, но о себе я писал чистую правду. Все 20-е годы для меня прошли в скитаниях: я поехал в Москву, мечтая о литературном образовании, но вскорости оказался в балхашской экспедиции Уводстроя, затем нанялся сборщиком лекарственных растений на Алтае, затем некоторое время был сельским книгоношей, затем летал над Барабинской степью на агитсамолете, затем искал в этой степи остатки мамонтов, переходил пешком Казахстан по трассе будущего Турксиба, участвовал как газетный корреспондент в торжествах по случаю открытия этого железнодорожного пути, выяснял, почему в тарском урмане происходят лесные пожары, писал о строительстве совхозов Зернотреста и т. д. и т. д. При этом я писал стихи, которые время от времени печатал по разным изданиям, провинциальным и столичным, и немудреные очерки, собранные затем в книжку «Грубый корм», вышедшую в издательстве «Федерация» в 1930 году.

Попытки писать прозой привели меня к убеждению, что прозаиком я не стану, а для выражения тех чувств и мыслей, которые не укладываются в привычную для меня форму короткого стихотворения, надо искать более сложную монументальную форму стиха. Так в 30-х годах я начал делать попытки писать поэмы. Одновременно с этим, то ли

потому, что я так глубоко погрузился в стихию современности, то ли потому, что вся атмосфера тех лет — этого уже предвоенного десятилетия — заставляла меня, как и многих других художников слова, обращаться к героическому прошлому,— так или иначе, но мной овладело чувство истории. Оказавшись в первой половине 30-х годов на севере России — в Архангельске, в Вологде, в Ярославле,— я как-то особенно ощутил эту взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего. Порой мне казалось, что прошлое я сжимаю руками, как меч и как щит, но в то же время оно ложится на мои плечи тяжестью боярской шубы, застилает мой взгляд, как нахлобученная на глаза казацкая папаха. Я ощущал прошлое на вкус, цвет и запах, я чувствовал, что надо выразить все эти ощущения, осознать их творчески и в конце концов таким образом освободиться от них, чтоб вернуться к современности. Попытка все-таки изложить все это в прозе («Повесть о Тобольском воеводстве») тоже не удовлетворила меня. И тогда я решительно взялся за поэмы. Так и возник целый ряд моих сюжетных исторических поэм: «Правдивая история об Увенькае», «Тобольский летописец», «Домотканая Венера» — и все то, что завершилось стихотворной повестью, вернее целым рядом разбившихся на отдельные стихотворения рассказов о Лукоморье. Должен, кстати, отметить, что мои поэмы довольно объемисты...

Тема о потерянном и вновь обретаемом Лукоморье стала основной темой моих стихов и в дни Великой Отечественной войны, войны с фашизмом. Где бы я ни был в то время — в затемненной Москве, в освобожденных районах за Волоколамском, в глубоком тылу, где работали на оборону эвакуированные заводы,— я повествовал, как умел, о борьбе народа за свое Лукоморье, за свое счастье.

После войны я не писал больше исторических поэм. Стихи, написанные за последние пятнадцать лет, это стихи о современности, о сегодняшнем дне, преображающемся в день грядущий. Эти мои стихи я считаю более значительными в своем творчестве, чем написанные ранее...

Мне всегда была понятна, но за последнее время стала особенно ясна та простая истина, что мир каждый день нов. Мир что ни день — не таков, каким он был вчера. Что ни день изменяется численность человечества — одни умирают, другие рождаются. Изменяются границы государств, изменяются границы суши и моря. Да и сама земля что ни день находится не там, где она была вчера, а в новом космическом окружении. И все люди — я уверен в этом —

чувствуют происходящие изменения. А художник отличается от нехудожника только тем, что он выражает эти общечеловеческие чувства с большей ясностью. За это люди ценят художника, люди говорят: то, что понимает он, понимаем и мы; он, художник, помог нам только отчетливее осознать все это. Но ведь люди, кроме того что они хотят осознать настоящее, сущее, еще больше хотят осознать то, что будет. И художник, ибо он сам человек, естественно, не может не разделять этих стремлений человеческих.

Хоть немного заглядывать в грядущее, прояснять неясности, предупреждать опасности, которых, увы, еще кругом так много,— вот, по-моему, задача художника.

И по мере сил своих я стараюсь делать именно это.

Москва
Январь 1960 г.

Андрей Вознесенский

ХРАНИТЕЛЬ ОГНЯ

Напиши он только одно «Лукоморье» или «Прохожего», он и тогда был бы поэтом высочайшей парнасской пробы.

Вы встречали —
По городу ходит прохожий,
Вероятно, приезжий, на нас непохожий?..
. . . .
Да! Имел я такую волшебную флейту.
За мильоны рублей ту я не продал бы флейту...
. . . .
Но, друзья, торопитесь,— я скоро уеду!..

Чудо пребывания поэта на земле, увы, недолговечно. Мы мало прислушивались к его флейте, мало успели сказать ему.

Меньшой брат Державина, Баратынского и Хлебникова, товарищ Заболоцкого, Мартынов пел о нашем существовании, о днях НТР торжественным слогом «Слова о полку Игореве».

Хранитель огня, пустынник XX века, далекий от литсуеты, он уединялся в свою крупноблочную пещеру, окруженный собраниями древних камней и фолиантов. В нем отстаивалось время. Сам похожий на седой, обветренный валун, он закрывал глаза и часами просиживал в углу протертого исторического дивана. Там, полуприкрыв веки, он бормотал свои колдовские строки — весь слух, весь наедине с веком.

Но чем больше он углублялся в себя, тем непримиримее вторгался в сегодняшние бури.

Бессребреник, он был рожден для поэзии и жил ею, самостью ее. Он мыслил рифмой. Как-то ему заказали статью. Так он сначала написал стихи на эту тему, а потом переложил написанное в прозу. Иначе он не мог.

Мартынов своим присутствием ограждал поэзию от банальщины. Страшно ранимый, он по-мужски скрывал это — характер имел непреклонный. Слабости свойственны и великим. Однажды покривив душой, он всю жизнь казнился этим, это как бы источало его изнутри.

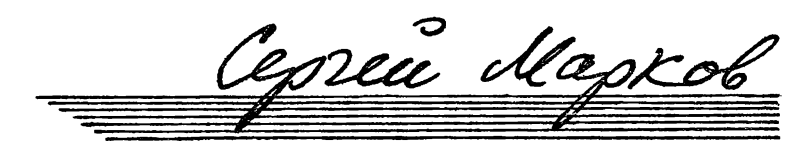
Жизнь была сурова к нему, била нещадно — он же платил ей бессмертными стихами. Он располагал стихи свои на бумаге подобно самородкам свободной формы, уральским самоцветам или кускам породы с прожилками прозрений. Как сказал он о Есенине — «даже неудачи его гораздо плодотворнее, чем удачи посредственности».

Не всем дано было понять его, но начиная с зеленой своей книжки 1957 года он был взахлеб понят, заучен наизусть нашим трудным читателем, новой «миллионной элитой». Им жили.

Мартынова можно читать наизусть до утра — а это единственная мера подлинности поэта. Живут стихи. Мы больше не услышим его флейты — но осталась запись.

...Вы ночевали на цветочных клумбах?..
...Из смиренья не пишутся стихотворенья...
...Солнце, радость ты моя и горе...
...Человечеству хочется песен...
...Но, друзья, торопитесь,— я скоро уеду!..

Он умер в тяжелый для сердца год взбесившегося активного солнца.



В ГОРОДЕ САРТЛАМЕ

Я ТЕБЕ ВЫСТРОИЛ ГОРОД САРТЛАМ,
ЩЕДРО ЗАТРАТИВ СОКРОВИЩА ДУХА...

Л. Мартынов

В первой четверти столетия я жил в Акмолинске[1], окруженном безграничными степями.

Несмотря на огромные расстояния, отделяющие глухой город от Великого Сибирского пути, в Акмолинск доходило живое слово молодой Советской страны.

Помню, как при свете коптилки из бараньего жира я перелистывал номера журнала «Сибирские огни». Именно там мне впервые встретились стихи Леонида Мартынова «Море было». Они поразили меня точной образностью, слиянием прошлого, настоящего и будущего. Исчезнувшее древнее море живет! Оно ухмыляется челюстью акулы из слоя могучего известняка.

«Море было и назад вернется»,— утверждал поэт.

Кому, как не мне, были особенно близки эти строки? Незадолго до этого судьба ввергла меня в жаркие, бугристые пустыни, я знал цену воды горько-соленых источников, проходил по поверхности потрескавшихся солончаков, по горячему праху умерших морей. Это было жизнью, бытом, повседневностью. Приметы этой жизни я нашел в строках о былом море.

Вскоре я уехал из Акмолинска в Петропавловск-на-Ишиме.

Однажды, расхрабрившись, я послал в «Сибирские огни» стихи «Сонет». К моей великой радости, они были напечатаны.

Вслед за этим я получил открытку из Омска, от Антона

---

[1] Акмолинск — город в Казахстане, с 1961 года — Целиноград. *(Прим. сост.)*

Сорокина[1]. С присущим его нраву своеобразием он наделял меня разными достоинствами, возводил в ранг своих придворных, требуя, чтобы я приехал к нему в Омск. А тут еще в городском театре Петропавловска появилась омская труппа актеров. Среди них был юный Борис Жезлов[2], смуглый и испитой человек. Играл он преимущественно маркизов времен Великой французской революции. На гильотину он каждый раз никак не хотел идти и упирался. Тогда два рослых санкюлота, в которых легко угадывались любители из местных пожарных, подхватывали тощего «маркиза» и уносили на руках за кулисы, где предполагался эшафот. Но однажды Борис Жезлов предстал перед петропавловцами в новом качестве. На каком-то концерте в кинотеатре «Мир труда» на сцену вышел устроитель концерта, бывший штабс-капитан Самойлович, и по-строевому рявкнул:

— Сейчас выступит известный сибирский поэт-футурист Борис Жезлов!

Жезлов прочел свои стихи. Оценку им не раз давал Леонид Мартынов в своих «Воздушных фрегатах». «Маркиз» Жезлов рассказал также о жизни литературного Омска.

— Мы с Антоном Сорокиным и Леонидом Мартыновым...— скромно обмолвился он.

В перерыве я подошел к Борису Жезлову и, преодолевая смущение, познакомился с ним, а затем стал расспрашивать о Леониде Мартынове.

— Он мой гимназический товарищ,— ответил Жезлов, уже примостившийся к буфетной стойке.— Ну что еще о нем сказать? Нашего возраста, но выше нас на голову. Спортсмен, плавает как Байрон. Легко переплывает Иртыш. А он однажды адмиралу нос срезал!

Увлекаясь, Жезлов отставил в сторону стакан с русской горькой и задержал на вилке пельмень, который готовился отправить в рот.

— Однажды,— рассказывал Борис Жезлов,— гимназист Мартынов шел при сильном ветре на шлюпке по Иртышу и вдруг увидел новенький глиссер, расцвеченный

---

[1] Сорокин А. С. (1884—1928) — русский советский писатель. Родился в Павлодаре, с детства жил в Омске. Был близок с молодым Мартыновым. (См. новеллы Л. Мартынова «Омские озорники», «История одной вражды», «Зеленая рука» и др., стихотворение «Король». (*Прим. сост.*)

[2] Жезлов Б. П. (ок. 1905—1963), близкий друг молодости Л. Мартынова.

пестрыми флагами. Мартынов из озорства решил «срезать нос» глиссеру и успешно осуществил свое намерение. Пройдя чуть ли не под самым форштевнем судна, он круто завернул и стал выходить на свой прежний курс. На борту глиссера раздались какие-то сигналы, чей-то голос зазвучал в рупоре, приказывая Мартынову сбавить ход. Когда шлюпку нагнали и «взяли на абордаж»,— что особенно выделял в своем рассказе Жезлов,— среднего роста человек в морском кителе, стоявший на носу, сказал Мартынову, что он «срезал нос адмиралу». Незачем объяснять, кто был этот адмирал...

Жезлов опрокинул свой стакан и проглотил остывший жемчужный пельмень.

— Правда, все это мог придумать Антон Сорокин у себя на Лермонтовской. Ведь он всегда говорит, что всякого рода легенды гораздо достовернее точной биографии,— заключил он свой рассказ.

...Еще год или два потребовались мне для того, чтобы я вплотную приблизился к животворному свету «Сибирских огней», до этого пламеневших мне сквозь бураны и ковыльные просторы. Я стал жить в Новосибирске — городе во всем удивительном, начиная от почвы, на которой он стоит; исследования показали, что под верхним слоем простирается мощная гранитная толща.

Работал я в «Советской Сибири» — ежедневной газете, выходившей на шестнадцати страницах. В упоительном царстве двух последних ее страниц я жил, ежедневно заполняя их вместе с другими ловцами новостей.

Был летний день, по-видимому, 1926 года. Масленников, один из первых русских авиаторов, случайно оказавшийся на жительстве в Сибири, позвонил мне накануне и сказал, чтобы я готовился к встрече датского капитана Ботведа, летевшего в Китай. Я уже собрался ехать на аэродром, как вдруг меня вызвал к себе редактор И. Шацкий. В его кабинете я увидел сначала могучую женщину в лиловом платье, а затем высокого юношу в полотняном костюме. Он стоял у огромной карты Сибири и как-то близоруко рассматривал коричневую гряду Горного Алтая.

— Шкапская, Мария Михайловна, корреспондент ленинградской «Вечерней Красной газеты»,— сказала лиловая женщина, протягивая мне руку.

— Вы возьмете Марию Михайловну с собой встречать Ботведа,— приказал мне Шацкий.

Юноша у карты даже не взглянул на нас.

— Мартынов хотел ехать с нами,— сказала мне Шкапская, когда мы уже мчались в автомобиле на аэродром.— Но у него какое-то срочное дело в редакции.

— Так это Мартынов стоял у карты? — спросил я.

— Да, мы встречались с ним в Омске и приехали сюда вместе,— объяснила Шкапская.

Она рассказала мне, как Мартынов водил ее по Омску от Железного моста и Белого дома до Волчьего Хвоста. Шкапская говорила, что ее спутник, открывая ей созвездия иртышских притонов, держался там с обворожительной простотой. Ночная фея с наведенными жженой пробкой бровями, беседуя с ним, как будто невзначай уронила бумажный розан на заплеванный пол шалмана, а он как ни в чем не бывало поднял цветок и передал его владелице. Ей-богу, здесь не было ничего, кроме желания уметь «входить в дома любые» так, чтобы никого там не обидеть.

В эти дни я неожиданно получил записку от Леонида Мартынова.

«Сергей Марков! Что это Вы на меня фыркаете и коситесь?» — так начиналось это послание.

Я отыскал Мартынова в редакции «Сибирских огней». Так состоялось наше знакомство, а потом и дружба, продолжавшаяся не один десяток лет.

К тому времени он уже создал такие замечательные стихотворения, как «В белых яблонях сокрыт Ваш дом», «Нежность», «Зеваки», «Не упрекай сибиряка», «Голый странник». Меня всегда поражала особенность Мартынова. Он брал обычно самые что ни на есть прозаические слова, но сочетал их так, что они становились поэтической речью, только ему одному присущей. Я старался разгадать эту тайну, но ничего не достиг в постижении «неслыханной простоты» его стихов.

Мартынов не боялся и глагольных рифм.

— Послушай,— говорил мне наш общий друг, черноглазый, медлительный в речи Вивиан Итин:

Не заставляй меня скучать
И об искусстве говорить —
Я не привык из рюмок пить,
Я буду думать и молчать.

— Где же здесь глагольные рифмы? — спрашивал Вивиан.— Ты их не чувствуешь, зато слышишь музыку стиха.

К моим стихам Леонид Мартынов относился с дружеской беспощадностью. «Убери эти две строфы, они лиш-

ние,— советовал он мне, выдвинув вперед нижнюю челюсть.— Сделай из них отдельное стихотворение. А вообще никогда не бросайся незаконченными стихами. Береги их. Любая строчка может пригодиться для нового стихотворения, которого ты и не ждешь». Сам он творил стихи, бормоча их про себя и набрасывая окончания строк то на поверхности папиросного коробка, то на бумажном клочке, оказавшемся под рукой.

В те годы существовала модная переводная книга Антуана д'Альбала или просто Альбала «Как писать стихи». Меня, например, она ничему не научила, да и на Мартынова тоже никак не подействовала. «Писать, писать и писать,— говорил он.— Вот только пальцы болят. Ревматизм или писчая судорога?» Крепкий и выносливый от природы, он всегда страшился разных болезней, старался их предупредить, нередко прибегая к подчас забавным способам. Он написал замечательные стихи «Ревматизм».

Допытывал я у шаманов:
Как научил вас бог Ульгень
Среди морозов и туманов
Назначить оттепели день?

Поэт говорил, что в его воле угадывать непогоду, когда вдруг заноют кости.

Я буду знать, в какие краски
Вверху окрасилась заря...
А вы живете по указке
Бездушного календаря!

В Новосибирск из Омска он приезжал всегда неожиданно, никого не предупреждая, и шел ко мне или Вивиану Итину. Повесив на гвоздь кепи и куртку, он вытаскивал из-за пояса отливавший синей сталью револьвер, а на ночь клал его под изголовье. Наган оказывался нелишним в наших скитаниях, хотя бы по китайским харчевням где-нибудь у сада «Альгамбра» и Федоровой бани. Оба мы, работая в газетах, участвовали в составлении дневника происшествий и поэтому прекрасно знали нравы ночного города.

Поклонник Артура Рембо и Франсуа Вийона, молодой Мартынов невольно переносил приметы жизни больших городов на Омск или Новосибирск.

Давно не верил я газетам,
Что граждане спокойно спят...

Он любил наблюдать скрытую жизнь, подмечать противоречия.

...Антон Сорокин не успокаивался. Он снова потребовал, чтобы я поехал в Омск. И я это сделал.

О первом знакомстве с великим омским озорником я рассказал в новелле «Омская сага» в одном из ежегодных выпусков «Дня поэзии». Но я не говорил там о том, как впервые пришел в скромный дом на улице Красных Зорь, 30, где обитало семейство Мартыновых.

Дом был старый, хорошо обжитой, спокойный и тихий, хотя в другой половине его жил в качестве падшего ангела уже известный Борис Жезлов.

Недавно мне попались на глаза старые фотографии, сделанные в мартыновском доме. Леонид Мартынов, художник Виктор Уфимцев и я склонились над африканским идолом, изваянным Уфимцевым из березового обрубка. О Викторе Уфимцеве можно прочесть в «Воздушных фрегатах» Леонида Мартынова.

Был в Омске и литературный салон Тамары Грехопадовой (дал же господь такую фамилию!), женщины молодой, румяной и сильной. У нее был вздернутый нос. Иногда казалось, что смотрит она ноздрями. Муж ее, по фамилии Катковский, человек с выпуклыми веками, читал нам стихи, в них звучали рифмы: «Геликон», «закон», «дракон». Мартынов, слушая стихи, кивал головой и вдруг явственно прошептал: «Рубикон, Феликс Кон, Сатирикон», заставив зардеться ноздри Тамары Грехопадовой.

С нами дружил Борис Ренц, худощавый и легкий человек с выправкой наездника. Когда-то он служил в чапаевских конниках, был контужен, но долго не чувствовал последствий своего увечья. В Омске он работал в газетах по части рекламы. Однажды Ренц бесследно исчез, отыскать его долго не могли. Потом пришла весть из Владивостока: Борис Ренц находился там! Оказалось, что он внезапно потерял память, забыл свое имя и, повинуясь тайному и неотступному зову, пустился в дальнее путешествие. При нем не было никаких бумаг, он был задержан как подозрительное лицо. Не знаю, сколько времени продолжалось его страшное забытье, но в один прекрасный день он очнулся и вспомнил, как его зовут и откуда он. Его спросили о его знакомых в Омске, и Ренц уверенно ответил, что он один из приближенных «короля писателей Сибири» Антона Сорокина. Радиотелеграф, по-видимому, изобретен не зря. Эфирные волны донесли до Омска запрос о Ренце. Антон

Сорокин указал приметы и возраст невольного странника, и их немедленно передали в эфир. Вскоре Ренц вернулся в Омск, и Антон Сорокин милостиво предложил беглецу приходить в течение одной недели на вокзал, в зал первого класса, где Сорокин обычно ежедневно обедал, так как работал он в Управлении Сибирских железных дорог.

— Вам нужно хорошо питаться после такого потрясения,— приговаривал Антон Сорокин, подвигая тарелку Ренцу.

Антон Семенович так представлял Ренца знакомым:

— Ренц! Однажды вообразил себе, что он бывший фон Ренц, потомок крестоносцев, служил у Унгерна. Испугавшись, побежал в Харбин, но я его перехватил по беспроволочному телеграфу. Состоит при мне для особых поручений.

Во время этих знакомств несколько глуховатый Ренц вставал, некстати щелкал каблуками, в какой-то мере укрепляя этим в сознании собеседников сорокинские выдумки.

Однажды Ренц, постукивая подошвами хромовых сапог по высокому деревянному тротуару, подошел к дому на улице Красных Зорь. Он звал нас к Антону Сорокину. Собрались и пошли. Леонид Мартынов, Леля Софийская и Борис Ренц.

Антон Сорокин встретил нас приветливо, но все же заметил как бы между прочим, что угощать чаем всех нас он не намерен... На стене висели две картины в старинных золоченых рамах — женские головки, прекрасно написанные в духе Ватто или Греза.

— Правда, хороши? — спрашивал Антон Сорокин.— Один мой приятель со своей женой украли из музея и мне подарили,— оживлялся он.— Не верите? Смотрите сами! — Он приподнял картину и показал медную табличку с инвентарным номером.

Затем Антон Сорокин пустился в пространные рассуждения о неблагодарности его ученика, Всеволода Иванова.

— Он пристроил свои стены к моей стене. Возьмите хотя бы «Алтайские сказки». Я их неплохо создал. Всеволод пристроился к ним, а теперь делает вид, что в пору своей молодости со мною и знаком не был. Забыл даже, что я ему на толкучке сапоги покупал, когда он, как факир, ходил босиком. А некоторые рассказы мы написали вместе.

— Дело маленькое! — произнес Антон Сорокин после недолгого молчания.— Вы знаете, где живет Всеволод Иванов? — обратился он ко мне.— Вы ведь ездили в Москву?

Лет пять назад я действительно был у Всеволода Иванова на Тверском бульваре, 14. Мне запомнились самовары всех видов, которые он собирал, мальтийский крест в виде подвески на цепочке золотых часов и множество других редкостей, заполнявших его квартиру.

— Хоть я и страдаю боязнью пространства,— сказал Антон Сорокин,— но поеду в Москву. Купим с Марковым двух верблюдов, погрузим их в товаро-пассажирский поезд, высадимся в Москве и через весь город поедем верхом на верблюдах к дому Всеволода Иванова. А там... Ренца я с собой не могу взять, пусть не обижается. Вдруг он опять потеряет память, попросит отцепить вагон с верблюдами в пути и уедет с ними бог знает куда? Леонид Мартынов дальше Атаманского хутора не поедет. Вы, именно вы, Марков, поедете со мной в Москву. Ведь вы сами мне рассказывали, что однажды в жизни проделали на верблюде путь длиной в тысячу верст! А тут удобства, железная дорога.

Антон Сорокин схватил карандаш и стал что-то подсчитывать на листке клетчатой бумаги.

— Но ведь я работаю, Антон Семенович,— робко возразил я.

— Я вам возмещу все убытки,— ответил он, не прерывая своих подсчетов.— А когда вы вернетесь из Москвы, вас снова возьмут в «Советскую Сибирь». Такими репортерами, как вы, не бросаются. А какие путевые очерки вы напишете!

Я поблагодарил его за столь лестную оценку моей скромной работы и попытался столь же деловито возразить Антону Сорокину. Доводы мои сводились к тому, что кровли вагонов-теплушек слишком низки для верблюдов. Не могут же они стоять на коленях до самой Москвы.

— Есть выход,— ответил он, поиграв несколько мгновений карандашом.— Дело маленькое, мы погрузим их на открытую платформу! Итак, вы купите верблюдов — на́ров, одногорбых, обязательно одного пола, во избежание разных неожиданностей. А всякие там чепраки, седла, недоуздки и как их там, мурундуки, заготовит Борис Ренц.

— Но я в верблюжьей кавалерии не служил,— обидчиво сказал Ренц.— Я даже не знаю, что такое мурундук.

— И я не служил, а раз надо — сяду на верблюда. Вы представляете, что будет! От самого вокзала за нами по Москве пойдут толпы зевак, конная милиция примчится. Долго будет помнить Всеволод!

— Боже мой! — воскликнул я с почти искренним ужасом.— Конная милиция, извозчики, которых в Москве еще так много! На верблюдах по улицам Москвы проехать невозможно будет именно из-за лошадей. Вы, сами уроженец степей, главного-то не учли!

— Объясните все по порядку! — приказал Антон Сорокин.

— Да разве вы не знаете, что «русские» кони, попавшие в степь, испытывают ужас и приходят в смятение, впервые встретившись с верблюдами? Кони трясутся, пятятся, мечутся по степи, сбрасывая всадников, мчатся куда глаза глядят, лишь бы скрыться от горбатого призрака. Я сам видел, как это бывает!

— И вы не написали рассказа! — разволновался Антон Сорокин.— Поразительно! У моего отца были табуны степных коней, и о русских конях думать не приходилось, а тем более об их отношении к верблюдам. Пишите! Для этого любая эпоха годится — от Батыя до Анненкова. Наверняка степняки применяли военную хитрость и громили противника, наступали с верблюдами на конницу, пришедшую в Азию издалека, оттуда, где верблюды не водятся. А что творилось, когда азиатские полчища со своими верблюдами вторгались на русские равнины?! Сколько написано о слонах Ганнибала! А о верблюдах боевых не знают. Вы женаты? — вдруг спросил меня Антон Сорокин.

Я удивился такому внезапному переходу.

— Нет,— ответил я.

— Хочу дать вам благой совет. Моя будущая жена Валентина Михайловна никак не хотела идти за меня замуж. Я стреляться не стал, а пошел на конный рынок и подрядил двух очень смышленых киргизов, дал им адрес Валентины Михайловны и ее фотографию. Они ее выследили, когда она возвращалась из синематографа, закатали в кошму, навьючили на верблюда и доставили на Лермонтовскую. С тех пор я питаю какую-то нежность к верблюдам. Валек, подтверди!

— Да, Антоша, все было так, как ты говоришь,— кротко откликнулась Валентина Михайловна.

Пора рассказать об этой ясноглазой и розоволикой статной женщине, сносившей все причуды удивительного спутника ее далеко не легкой жизни. Никто и никогда не видел слез, которые она, конечно, проливала в качестве подруги «короля писателей». Зато все знали, с каким героизмом она бросалась выручать Антона Сорокина, когда

он осуществлял то или иное из своих отчаянных предприятий. Антон Сорокин долго вздыхал. По-видимому, ему трудно было примириться с тем, что поездка в Москву с верблюдами не сможет осуществиться.

— Гений беззащитен,— изрек Антон Сорокин.— Поэтому рядом с гением должна быть женщина, нежная и добрая, но бесстрашная, как амазонка! Я еще очень любил валькирий,— прибавил он так проникновенно, как будто прожил с ними половину жизни.

— Лёля,— обратился он к нашей темноглазой и черноволосой спутнице.— Я приказываю вам выйти замуж за Маркова!

— Я вовсе не нежная, не амазонка и не валькирия. Это раз. Марков для меня не гений, а просто приятель Леонида. Это два. Приказывать мне выйти замуж вы не можете. Это три. Сватать меня он не просил. Это четыре! — отрезала дерзкая Лёля.

— Я сам умею считать до десяти! — прикрикнул «король писателей» на Лёлю.— Прекратите пререкания!

Лёля замолчала.

— Леонид Мартынов! — обратился Антон Сорокин к Мартынову.— Прочтите стихи!

— Какие именно? — спросил Мартынов, прищурив глаза и выставив подбородок.— Из последних? Вот... «Женщина-врач».

Стала врачом. Ты, конечно, права!
Наши окрайны во вражеской власти.
Все мы надели на рукава
Знак принадлежности к воинской части.
И, вспоминая о древних законах,
Мир поделился на пеших и конных.
Позднею ночью был город зажжен.
Улицы полнились стонами жен,
Черным дыханьем войны обожженных...

Молча в дверях лазарета я встану.
— Что ты пришел? Перевязывать рану?
— Нет! Зажила! Не прошу ни о чем!..

Нежная девушка стала врачом...

— Так... Только не пришепетывайте вы, как Всеволод Иванов. Хорошие стихи,— промолвил Антон Сорокин.— Читайте еще.

Оговорюсь сразу, что стихи Леонида Мартынова я привожу по памяти. В моей передаче могут встретиться неточности, но такие, которые не изменяют главного.

— Вот еще,— тихо сказал поэт.

Я тебе выстроил город Сартлам,
Щедро затратив сокровища духа...
Было ли так, чтоб к цветущим садам
Путь пролагала зловонная муха?

Узкой дороги тесна колея,
Встречные ветры упорны и жарки,
Часто тебя навещали друзья
И для тебя приносили подарки.

Ты принимала подарки, смеясь,
Все привлекало вниманье девичье —
Знак Гульялули, калмыцкая вязь,
Перья мартынов и мамонтов клычья.

...Вот ты идешь по гудящим полам
Шагом привычным для чуткого слуха.
Я тебе выстроил город Сартлам,
Щедро затратив сокровища духа!

Мартынов перевел дух и вынул из кармана пачку папирос. Кто-то из собеседников протянул ему спички, но поэт нетерпеливо отмахнулся от них.

— Не надо,— сказал он.

Принесли самовар. Леонид Мартынов наклонился, быстро прикурил папиросу от уголька через дырку в нижней решетке самовара. Он не переносил запаха зажженной спички, и эта, казалось бы, мелочь преследовала его всю жизнь.

— Не делайте из спички бревна,— говорил Антон Сорокин, знавший эту слабость Мартынова.

Антон Сорокин распорядился, чтобы чай дали всем гостям.

Вот теперь я с полной уверенностью могу сказать себе, что в тот день я почувствовал будущее поэзии Леонида Мартынова. Ведь его «Лукоморье» и «Река Тишина» еще не были написаны. Но город Сартлам был! Более того, мы все уже жили в нем! Мне пришлось по душе название города. При желании в нем можно было найти даже тибетскую частицу «лам», что означает «путь»...

Покинув дом Антона Сорокина, мы пошли по скрипучим мосткам, проложенным по улицам города, возникшего когда-то на дне древнего моря.

Мы возвращались на улицу Красных Зорь...

Вихрово близ Серпухова
Июль — август 1974 года

Марк Юдалевич

«ВЫ ВИДИТЕ ПОРЫВИСТЫХ ЛЮДЕЙ...»

У каждого писателя есть свои любимые места.

Нельзя представить Достоевского без Петербурга — места действия большинства его книг. Шолохов неотделим от казачьих станиц, от полноводного тихого Дона. Есенин считал истоком своей поэзии рязанскую степь, «ту сельщину, где жил еще мальчишкой». Булгаков называл свой родной Киев Городом с большой буквы.

Для Леонида Мартынова таким городом был Омск. Что привлекало к нему поэта?

...Выпадают в Омске несравненные летние вечера. Город притихает. Воздух становится бархатно-мягким. К запаху бензина примешиваются терпкие ароматы медовых трав — ромашки, мяты, медуницы, неистребимый запах полыни. Кажется, сама степь приходит погостить на городские улицы.

Не знаю, как теперь проводят молодые поэты такие вечера. А мы любили кататься на лодке по Омке и Иртышу, получив «стипешку», сидеть за кружкой пива в удобных плетеных креслах сада «Аквариум», просто ходить по городу, во всех случаях читая друг другу и свои, и чужие стихи.

Во время одной из таких прогулок на так называемом Бельгийском мосту через Омь мы с Николаем Копыльцовым, студентом пединститута, встретили Леонида Николаевича Мартынова.

Сколько доводилось встречаться с Мартыновым, а в те предвоенные годы в Омске это случалось не так уж редко, не помню, чтобы он разговаривал на какие-либо житейские темы.

Предметом бесед всегда было иное: прочитанная книга, разысканный где-нибудь в летописях или старинных изда-

ниях исторический факт, любопытные, часто парадоксальные наблюдения.

Так было и в этот раз.

— Вот здесь, на этом мосту,— рассказал поэт,— я видел однажды, как встретились Азия с Европой — пропыленный на степных дорогах двугорбый верблюд и новенькая сверкающая эмка.— Чуть помолчав, добавил: — Верблюд и автомобиль с интересом оглядели друг друга...

Все, кто любит стихи Мартынова, несомненно оценили одно из главных качеств его поэтики — умный, часто неожиданный подтекст. Подтекст нередко улавливается и в его устной речи. Скажет вроде бы не так много, а за сказанным, если над ним подумать, открывается второй и третий план.

И говоря о встрече Европы с Азией, поэт, вероятно, имел в виду не только географическое положение Омска, который стоял на пути в Сибирь из Европейской России, и в то же время ощущал дыхание сопредельных казахских степей...

Впрочем, эта встреча на мосту была короткой. Но, кажется мне, Леонид Николаевич думал обо всем этом. Кажется еще и потому, что, куда-то заспешив, кивнув нам на прощание, он неожиданно проговорил:

— Да, необычайный город.

Вероятно, необычайность, контрастность прежде всего и были дороги Мартынову в истории Омска, к которой он много раз обращался. Ведь многие поэты считают контрастность первым диалектическим свойством поэзии. Поэтика Мартынова это блестяще подтверждает.

А именно контрастностью отличался старый дореволюционный Омск — город ссыльных польских бунтарей, «колиивцев»[1], пугачевцев, декабристов, петрашевцев, сибирских просветителей Потанина и Ядринцева, первого казахского ученого Чокана Валиханова, писателя Николая Наумова, большевиков — Куйбышева и Косарева, Нейбута и Масленникова... И наряду с этим город чиновников и военных, «тщедушный город Акакиев Акакиевичей», как характеризовал его Потанин, и законченных солдафонов, упивающихся муштрой, экзекуциями, картежными баталиями, пуншем и фейерверками на полковых балах.

---

[1] Колиивцы — участники крестьянско-казацкого восстания на Правобережной Украине в 1768 году против феодально-крепостнического и национального гнета шляхетской Польши. (От украинск. слова «колий» — повстанец.)

Недаром в «статейном списке» омского острога о Достоевском, в то время авторе «Бедных людей», «Неточки Незвановой» и других произведений, записано: «Чернорабочий, грамоту знает».

«Необычайный город. Славный город...» Характеризуя таким образом Омск, Леонид Николаевич, конечно, не мог думать, что самим своим присутствием он усиливает необычайность старинного города и многое добавляет к его славе. Не мог, потому что о значении своей личности менее всего размышляет человек, представляющий собой личность. Такой человек поглощен и одержим любимым делом, и некогда ему, да и невдомек ему заниматься собственной персоной.

И тем не менее Мартынов не только поэтической работой, но всем своим обликом привносил в довоенный Омск неповторимые и небудничные штрихи.

Совершенно не стремясь к этому, Леонид Николаевич и внешне более всего походил на поэта. Когда рослый, крепкий, с высоко поднятой головой, углубленный в себя, он проходил по улице, казалось, его окружает какая-то тайна. И мы, молодые поэты, понимали, что это — высокая тайна поэзии. И, несмотря на простоту в обращении, отличавшую Мартынова, каждый из нас чувствовал расстояние между нами, горячо любящими литературу, и им — служителем ее.

Общаясь с Мартыновым, можно было легко понять, что у него практически почти не бывает перерывов в работе. Он напоминал включенный, полный напряженной силы станок. Оттого, участвуя в общем разговоре, вдруг уходил в себя, иногда даже бормоча свои унизанные гроздьями рифм строки.

И эта не знающая перерывов работа не мешала ему живо интересоваться омскими литераторами, литературной жизнью города.

С этим и связано мое первое знакомство с Леонидом Николаевичем, о котором, если следовать канонам мемуарного жанра, давно пора рассказать. Знакомство произошло в конце 1938 года.

Среди молодых литераторов Омска был вечный студент, оригинал и чудак, из тех чудаков, что делают жизнь ярче и краше, Юрий Е. Однажды он принес в редакцию газеты «Молодой большевик», где я, учась в пединституте, одновременно работал литконсультантом, стихотворение «Полярная звезда», под которым стояло: «Перевод из Р. Кип-

линга». Стихотворение подкупало мужественными ритмами, романтическим настроем. Вскоре оно было напечатано.

А на следующий день меня пригласил к себе редактор и встревоженно сообщил: звонил известный поэт Леонид Мартынов. Он утверждает, что у Киплинга нет стихотворения «Полярная звезда», по крайней мере, ему такое стихотворение неизвестно.

Я тут же направился на поиски Е. Юра сидел у себя дома и моему приходу крайне обрадовался. Оказывается, он занят проблемой — сбрить или оставить цыганскую бороду, а также бакенбарды, которые носил, и посоветоваться, как на грех, не с кем. На вопрос о стихотворении довольно равнодушно объяснил — Киплинг действительно тут ни при чем. Просто у него получилось стихотворение в киплинговских ритмах и вообще в его манере, и Юра, решив, что под своей фамилией такое стихотворение напечатать трудно, пошел на невинный обман...

Редактора «невинный обман» очень расстроил. Он распорядился «этого оригинала» больше не печатать, а мне посоветоваться с Мартыновым, давать ли поправку и в какой редакции.

Понимая, насколько занят Леонид Николаевич, я все же отважился прийти к нему домой. Поэт, узнав о причине неожиданного визита, весело рассмеялся. Посоветовал никаких поправок не давать. Киплинга знают единицы любителей поэзии. Вряд ли их много среди читателей молодежной газеты. Сразу же перевел разговор на другое. Расспросил о редакционной почте отдела литературы, о том, чем я сам занимаюсь.

Только в конце беседы снова вернулся к проделке Е., но отнюдь не затем, чтобы высказать банальное осуждение.

— К Киплингу ваш автор отнесся слишком впрямую,— раздумчиво проговорил Леонид Николаевич.— Это не восприятие художника...— Неожиданно, по внутренней ассоциации, продолжил:— Знаете, откуда я взял Увенькая? Это был юноша-казах, влюбившийся в чужую жену и сбежавший с ней. Их поймали казахские баи, всячески издевались над ними... Отсюда я бы сам не смог объяснить, как появился Увенькай, романтик, протестант, беглец, поэт...

Литературная жизнь Омска была богатой, и Мартынов всегда оказывался в ее центре.

Омский профессор и поэт Петр Людовикович Драверт[1] публиковал своеобычные «минералогические» стихи. Драверту шло к шестидесяти, но стихи звучали молодо и романтично, плохо гармонируя с профессорской бородкой, старомодными манерами и размеренным образом жизни. На стихах лежала печать того времени, когда этот неординарный человек бушевал на студенческих сходках, ехал под усиленным конвоем в якутскую ссылку, скитался в дальних, полных лишений и опасностей таежных и горных экспедициях, с упорством фанатика отыскивал в тундре осколки и следы метеоритов.

В 1940 году в Омском издательстве обсуждалась рукопись первой книги рассказов студента Омского сельскохозяйственного института Сергея Залыгина. Он успел окончить сельхозтехникум в Барнауле, поработать лаборантом в том же техникуме, агрономом в алтайском селе, инструктором по силосованию кормов в Тарском районе Омской области, успел увлечься гидромелиорацией и кончал институт по этой специальности.

На обсуждении его рассказов Леонид Мартынов сказал о рукописи теплые напутственные слова.

Книга вышла из печати в 1941 году. Она, по существу, была началом пути большого советского прозаика.

Нередко появлялись в печати рассказы и статьи руководителя омского литобъединения Виктора Уткова. Их отличали склонность к точности и глубине исследования характера, фактов, событий, чистота и прозрачность языка.

К Леониду Мартынову, естественно, более всего тяготели молодые поэты. И он охотно встречался и беседовал с ними. Только не любил беседы за столом, в официальной обстановке...

Зимой 1940 года на заснеженных омских улицах можно было встретить двух человек — один плечистый, крепкий, в короткой меховой полудошке, другой — молодой, длинноногий, в военной шинели. Молодой что-то говорил, скупыми, но энергичными взмахами руки разрезая воздух. Это Георгий Суворов читал Леониду Николаевичу свои стихи.

Вскоре в «Омской правде» появилась статья Мартынова «Поэт-красноармеец». В этой статье Леонид Николаевич описал свое первое знакомство с Суворовым. «Рядовой

---

[1] Драверт П. Л. (1879—1945) — русский советский поэт и ученый. С 1918 года жил и работал в Омске. *(Прим. сост.)*

боец, вынув из кармана шинели немецко-русский словарь, завел речь о стихах Генриха Гейне. Боец недавно прочел «Лорелею». Мы говорили о блоковских переводах Гейне. Затем беседа перешла на Лермонтова, Антокольского, Багрицкого, Киплинга, Омара Хайяма».

По краткой выдержке из статьи можно понять, как высоко ценил Леонид Мартынов широту интересов и познаний. С этих позиций его особенно привлекал другой молодой поэт, которого я уже упоминал,— студент литфака педагогического института Николай Копыльцов. Спустя два десятилетия после войны известный переводчик и литературовед Н. В. Банников, хорошо знавший Колю в юности, напишет о нем: «Сейчас, когда я уже прожил немало лет и встречал немало поэтов, в числе их — очень крупных, я могу сказать, что у Коли было все для того, чтобы в будущем заявить о себе в поэзии. Был темперамент, было ощущение слова, особая поэтическая музыкальность. Была самоотреченная страсть, одержимость стихами и завидная легкость, быстрота в работе».

Еще в 14 лет Коля обратил на себя внимание Эдуарда Багрицкого. Багрицкий похвалил его стихи — «по-моему, это очень неплохо», а о поэме писал: «Смерть Никиты Правдухина» хороша яркостью сюжета и стремительностью стиха. Ты не ищешь закостенелых форм, вычитанных из книг, ты стараешься даже историческую тему раскрыть своим сегодняшним языком. Это хорошо».

Заметил Копыльцова и Леонид Мартынов. И не только стихи. Особенно восхищала Леонида Николаевича его незаурядная, далеко не студенческая эрудиция.

Как-то при встрече в Омском издательстве поэт сказал мне:

— Был у меня ваш друг, Коля Копыльцов. Удивительный парень. Я не успел порадоваться тому, что Гоша Суворов читает со словарем Гейне и узнаю — Копыльцов без словаря не только Гейне и Шиллера, но и Артюра Рембо, и Поля Верлена читает. И русской историей интересуется, и древнерусской литературой... Кто там еще у вас есть из вашей могучей когорты?— шутливо спросил Леонид Николаевич.

Я познакомил его с Иосифом Ливертовским, который тоже был безраздельно предан поэзии. В институте ходили легенды о его рассеянности, равнодушии к оценкам, безразличии к одежде и бытовым условиям. Зато он знал на память огромное количество стихов, так же как Копыльцов,

тонко чувствовал слово, часто повторял излюбленное четверостишие: «Но забыли мы, что осиянно только слово средь земных тревог, и в Евангелье от Иоанна сказано, что слово это бог».

Заинтересовавшись нашим студенческим литкружком, Леонид Николаевич пришел на одно его заседание. Он прочел нам свою поэму «Рассказ про мастерство». Выбор поэмы был, конечно, не случаен. Леонид Николаевич в беседах с нами нередко советовал работать больше, упорнее, верить в себя, как он любил говорить, идти своей, пусть крутой, тропкой, но не сворачивая и не оглядываясь.

И эта поэма о портновском подмастерье, обездоленном, не владеющем членораздельной речью заике, вдруг сумевшем поверить в свой высокий дар художника, бросить в лицо жадному хитрецу — своему хозяину: «...Ты еще не я. Цыц, Шхерозадов!» — и уйти в новый, иной мир,— эта поэма звучала для всех нас поучительно в самом лучшем значении этого слова.

Заканчивалась поэма пронзительными, врезающимися в память строками:

Но главное, сказал бы я, не в том!
Ведя учет талантов и ничтожеств,
Того заику встретил я потом
Под сенью Академии Художеств.
Стал знаменит заика-чародей,
Не подмастерье — мастер вдохновенный.
Вы видите порывистых людей,
Все заново творящих во вселенной!
А тот, кто нерешителен, уклончив,
Тот, знайте, не добьется ничего.
На этом и простимся мы, закончив
Еще один рассказ про мастерство.

С того вечера мы, студенты, что называется, взяли на вооружение строки — «А тот, кто нерешителен, уклончив, тот, знайте, не добьется ничего». Не менее популярны были и другие мартыновские афоризмы: «В храм истины домысел смело стучится, чего не случилось, могло бы случиться», «Коль прут сей видит вглубь земли, так стоит он не три рубли, а коль он стоит три рубли, так он не видит вглубь земли!», «Бывает многое от книг, а многое и от плутыг».

А в ветреные пыльные дни мы повторяли: «Тот город Омб стоял в пыли...» И находили некоторым строкам еще более «местное» применение. Декан нашего факультета Павел Евгеньевич Петров был добрейшим человеком, но

иногда любил прикинуться суровым. Говорили также, не знаю насколько это верно, что в первую мировую войну он имел чин поручика. По этому поводу припоминались начальные строки из «Правдивой истории об Увенькае»: «Поручик отставной Петров с учениками был суров».

Леонид Николаевич еще раз побывал в нашем литкружке, попросил всех пишущих прочесть по нескольку своих стихотворений. Интересно было наблюдать, как поэт слушал стихи. Он сидел положив ногу на ногу, чуть подавшись вперед. Когда строка или даже слово казались ему удачными, слегка кивал головой. Иногда плотнее сжимал губы — это при очевидных неудачах, банальностях, сплошной риторике.

Оценивал стихи без скидок. Однако не допускал при этом того, что так обижает начинающих — небрежности, ненужной иронии, нескрытого чувства превосходства.

Часто повторял, что поэт должен много знать. Похвалил стихи нашего студента Жени Ефремова. Но отметил — за исторические темы нельзя браться без необходимой подготовки.

— Вы пишете в своей балладе «Путешествие»: «И генерал смотрел в окошко, куда-то вдаль из-под руки, там надоевшую картошку без хлеба ели мужики». Во-первых, если ваш герой смотрел «куда-то вдаль», то он едва ли мог разглядеть, что там в этой дали ели мужики. А во-вторых, картошка в XVIII веке, когда происходит действие вашей поэмы, отнюдь не была «надоевшей». Она представляла собой редкостный деликатес.

В 1940 году сначала в Омске, потом в Москве отдельными книгами вышли в свет поэмы Леонида Мартынова. Это было большим литературным событием. Мне довелось написать для омской газеты «Молодой большевик» рецензию на эти поэмы.

Для меня они явились настоящим откровением. Соединив прозорливость историка с прозрениями поэта, Мартынов совершенно по-новому показал прошлое Сибири. Старая Сибирь у него не только дикая безрадостная глухомань. Она нарисована населенной дерзкими и пытливыми людьми, часто с легендарными судьбами. Казахский мальчик — ученик школы толмачей — упивается гордой речью, волшебными созвучиями Пушкина и переводит на родной язык его стихи, чтобы его народ узнал «песни вольного баяна». Тобольский ямщик Илья Черепанов пишет правдивую летопись Сибири — обвинительный акт царским изуверам, лихоимцам, казнокрадам. И его поддерживает Федор Сой-

монов, в прошлом сподвижник Петра Великого, затем оклеветанный облепившими трон Анны Ивановны иноземцами и сосланный в Сибирь каторжанин по прозвищу Федька-варнак, а при Елизавете Петровне тобольский губернатор, о котором поэт говорит: «Справляет флотский экипаж и сухопутные войска приказы Федьки-варнака».

Поэмы Леонида Мартынова сыграли большую роль в моей жизни, на долгие годы определив интерес к сибирской истории и желание писать о ней.

Популярность Мартынова возрастала. Помню его творческий вечер в Омске, встречу с артистами областного драматического театра, целую страницу, посвященную ему в «Омской правде».

Из бесед с поэтом особенно запомнились две. Я изучал тогда наследие омского писателя Антона Сорокина, работал над статьей о нем. Архив Сорокина хранился в краеведческом музее. Там я встретил Мартынова. Естественно, разговор зашел об омском футуристе. Поэт рассказал мне эпизод, который хочу привести здесь, так как он добавляет некоторые штрихи и к характеру самого Леонида Николаевича.

— О писательском даре Сорокина до сих пор спорят,— заметил он,— одни его превозносят, другие доходят до полного отрицания. Зато никто не станет оспаривать высокий дар мистификатора, которым обладал этот человек.

Поэт помолчал, скупо улыбаясь каким-то своим воспоминаниям. Потом продолжал. Занятый в то время разгадкой редкостно противоречивой личности Сорокина, я ловил каждое его слово.

По мнению Мартынова, Антон Сорокин буквально обожал даже не столько мистификацию, сколько скандал как ее результат. Отсюда некролог о себе, опубликованный в «Огоньке», выдвижение собственного произведения на Нобелевскую премию, выпуск своих «сорокинских» денег и тому подобное.

Я спросил Леонида Николаевича, насколько документальны сорокинские новеллы «Тридцать три скандала Колчаку».

— Какая-то фактическая основа в них есть, но лучше относитесь к ним как к художественному произведению,— посоветовал поэт.— Если учесть настороженность колчаковской госохраны, зверства его застеночников, можно с уверенностью считать, что многие эпизоды из этих новелл не могли иметь места в жизни.

Характеризуя Сорокина как мистификатора и скандалиста, Мартынов припомнил один характерный эпизод. В начале 20-х годов Антон Семенович собирал у себя молодых поэтов, работал с ними. Метод его был своеобразен. Он давал тему, по его выражению, заказ, время на его выполнение. Иногда это было домашнее задание, а иногда оно выполнялось прямо в квартире Сорокина, где шли занятия.

Футурист придирчиво разбирал стихи, бросая при этом экстравагантные замечания вроде: «В доме Антона Сорокина стыдно мыслить по трафарету», или: «Из вас могла бы получиться неплохая классная дама», «Прописи тоже ваше произведение?»

Лучшие стихи Антон Семенович оставлял себе. И вскоре прошел слух, что Сорокин, никогда не писавший стихов, хочет издать произведения молодых под своей фамилией. Передавали, будто бы он заявил: «Громкий может получиться скандал. Ведь тут замешано столько людей!»

Леониду Мартынову очень не хотелось, чтобы его стихи, а их у Сорокина оставалось немало, появились в чужой книге. Зная, что Антон Семенович интересуется живописью, Мартынов придумал выход вполне в сорокинском духе. Он появился в кабинете Сорокина и с порога заявил:

— Имею миниатюру Врубеля!

— Покажи! — потребовал писатель.

— Из рук в руки. Вы мне мои стихи, я вам миниатюру.

Нетерпеливый хозяин кабинета без лишних слов согласился. Но, когда произошел обмен, поднеся «Врубеля» к близоруким, вооруженным очками глазам, воскликнул:

— Подделка!

Мартынов пулей вылетел из кабинета. Домой идти побоялся. Придет Сорокин, устроит скандал.

Вспомнил: в редакции газеты «Рабочий путь» (в будущем «Омская правда») какое-то литературное собрание. Зашел туда, притулился в уголке. Стал слушать очередного выступающего. Но тут в своей знаменитой дохе, которую знал весь Омск, появился Антон Семенович. Футурист поднял руку, прося внимания: «Сенсационное сообщение! Леонид Мартынов — вор. Он украл у меня пуд рукописей».

Любопытно, что, вспоминая все это, Леонид Николаевич не осуждал Антона Сорокина. Более того, подчеркивал его полное бескорыстие.

— Все дело в том,— утверждал поэт,— что до револю-

ции скандал нужен был Сорокину, так же как и другим футуристам, для того, чтобы эпатировать буржуа, а потом он привык к нему, скандал стал формой его существования.

Мартынов был уверен — чужие стихи, миниатюра Врубеля Сорокина интересовали отнюдь не как материальные ценности. Он не только отличался полным бескорыстием, но и редкостной самоотверженностью. В черный год колчаковщины, рискуя жизнью, прятал у себя в доме большевиков-подпольщиков. В сущности он всегда оставался Дон Кихотом в жизни и в литературе.

На вторую встречу с Мартыновым я напросился сам, обратившись к нему через его лучшего друга Виктора Григорьевича Уткова, с которым они были неразлучны.

Время тогда было грозное. Испанские события стали прологом трагедии Европы. Вскоре коричневая чума фашизма поползла на восток и запад.

Многие из нас уже служили в армии. В их числе, как ранее говорилось, был Суворов, в 1940 году призвали Ливертовского. Он заканчивал тогда рукопись первой книги стихов и вскоре прислал ее мне из воинской части, находившейся далеко от Омска. Я решил показать эту рукопись Леониду Николаевичу.

Мы встретились там, где омские литераторы в то время встречались чаще всего,— в издательстве, в кабинете редактора и поэта Константина Яковлевича Бежицкого.

Леонид Николаевич листал рукопись заинтересованно и сосредоточенно. Большинство стихов были ему знакомы. На некоторых он останавливался, отдельные строки перечитывал вслух.

Позже Антал Гидаш назовет Леонида Мартынова «сейсмографом и двигателем душ». Хочется сравнить поэта с сейсмографом и в другом смысле. Именно как сверхчувствительный прибор он отмечал каждую удачную строку. Замечания отличались точностью и тонкостью:

«Синее окно скорей открой, чтобы тихо зазвенели стекла».

Только поэтическая образность может придать слову такую емкость! Не нужно говорить, что это вечером, достаточно сказать — «синее окно». И как прекрасно передана атмосфера в этой фразе: «Чтобы тихо зазвенели стекла...» Если попытаться обычной прозой передать заключенное в этих двух строках, понадобится целый абзац.

«Изломанную линию небес нарисовали горы». Увидено поэтом, нарисовано зримо, акварельно.

Но более всего рукопись Ливертовского понравилась Леониду Николаевичу тем, что в ней, как он выразился, «билось, клокотало время».

Лирический герой стихотворения «Папиросы» много курит, и это тревожит его отца. Он боится, что «петлею синей дым совьется и задушит сына». Пришел нелегкий час разлуки, сын уезжает в армию. «Может быть, отцовскую тревогу заглушил свистками паровоз, этого не знаю, он в дорогу подарил мне пачку папирос».

Мартынов прочитал это стихотворение глазами, потом вслух и, помолчав, невесело сказал:

— Хорошее стихотворение. Но боюсь, что популярность таких стихов возрастет.

Рукопись Леонид Николаевич посоветовал перепечатать и передать в издательство. Это было сделано. Но книга не увидела света — помешала война.

Вскоре и Суворов, и Копыльцов, и Ливертовский оказались на фронте.

В 1944 году, приехав в Москву в командировку из военной газеты, в которой служил, я увидел афишу. Вечер поэтов, если мне память не изменяет, в Колонном зале Дома союзов. На афише имена крупнейших мастеров — Бориса Пастернака, Николая Асеева, Ильи Сельвинского, Самуила Маршака. Среди них и имя Леонида Мартынова. Председательствует на вечере Алексей Сурков.

Вечер имел такой необыкновенный успех, какой имели только литературные вечера военного времени, когда каждое удачное стихотворение воспринималось еще и как свидетельство нашей духовной силы и примета победы. В перерыве я разыскал Леонида Николаевича. Ходил тогда, опираясь на палку. И первый вопрос был о ранении.

— А где ваши друзья?— спросил он вслед за этим.

Ответил, что очень беспокоюсь за них. Мы все переписывались, но сначала замолчал Копыль ов, потом Ливертовский, а последнее время что-то не пишет и Суворов.

— Я думаю, им пришлось нелегко на войне. Они все-таки не военные люди,— заметил Леонид Николаевич.

Я не согласился с ним. За это время все мы многому научились. А о Суворове и говорить нечего. Он как-то писал, что, раненный неглубоко засевшим осколком снаряда, сам вытащил его из груди. Мы все считаем, что Гоша вернется героем.

Однако никто из этих молодых поэтов, которые так тянулись к Леониду Николаевичу и которых он высоко це-

нил, не вернулся с войны. И произведения их публикуются чаще всего в сборниках «Строка, оборванная пулей», «Имена на поверке», «Стихи остаются в строю».

Все они пали смертью храбрых. Гвардии лейтенант Георгий Суворов 13 февраля 1944 года на реке Нарве. Рядовой Николай Копыльцов тоже под Ленинградом, но еще в 1942 году. Гвардии младший сержант Иосиф Ливертовский 10 августа 1943 года в районе селения Столбище Орловской области.

Когда Леонид Мартынов расспрашивал о них, никого из них уже не было в живых. Но узнать об этом мне довелось гораздо позже, только после войны...

Однако вернусь к предвоенному времени.

Как говорилось ранее, предощущение большой войны жило в нас.

Предгрозовье очень сильно чувствовалось и в исторических поэмах Леонида Мартынова. Нет-нет да промелькнут строки:

...Хруст снега, Гром колоколов, как орудийные раскаты,
Идут саперы, и стрелки,
И пушкари, и казаки...

Или в другой поэме:

...Идет вода, за ней — орда!..

Все это органически входило в ткань исторических поэм и все-таки заставляло задуматься...

В преддверии сорокалетия победы над гитлеровским фашизмом мне довелось побывать в Омске. Старые, теперь давно перестроенные омские улицы напомнили мне одно августовское утро, и я написал стихотворение «Встреча с поэтом Леонидом Мартыновым», которым и хочу закончить эти краткие заметки:

Помню Омск довоенный,
предосеннюю рань,
разноцветною пеной
окна красит герань.
Медуницей и мятой
пахнет ветер степной,
чуть пружинит дощатый
тротуар подо мной.

А навстречу Мартынов,
ладный, крепкий в плечах,
круто голову вскинув,
шел, стихи бормоча.
В этом царстве герани,
где медовый настой,
он пришельчески странен,
человек непростой.
Он в котором просторе,
да и веке каком?
Может быть, в Лукоморье
изумрудном своем?
Дар провиденья редок,
и один на один
с ним беседует предок,
сам Лощилин Мартын.
И подходит клейменый
утеснительства враг,
губернатор Соймонов,
в прошлом Федька-варнак.
Губернатор в тревоге,
дескать, будет беда,
ведь стоит на пороге
у России орда...
Помню тридцать девятый,
предгрозовья пора...
Это было когда-то
и как будто вчера.

1985

В. С. Курнева

ТВОРЕЦ ЛУКОМОРЬЯ

Журналистика — вот та первая «страна чудес», где мы, молодые работники печати Омска, чаще всего встречались с Леонидом Мартыновым.

Шел 1938 год. Статьи, очерки, корреспонденции Леонида Мартынова, его экскурсы в прошлое нашей области, ее городов и селений (а в них всегда просматривался автором взгляд в будущее тех мест, о которых он писал) регулярно печатались в газетах «Омская правда», «Молодой большевик», «Ленинские внучата», в журналах «Омская область» и «Сибирские огни». Материалы эти будоражили нас, начинающих, они отличались глубиной проникновения в предмет, о котором писал Мартынов, умением рассмотреть его широко, с большой пользой для раскрытия существа, а особенно подкупала неповторимая, прямо-таки мастерская поэтизация предмета, факта, события, затронутого автором, поэтизация, мало доступная многим из нас...

Я сказала — регулярно печатался. Регулярно — не значит, что часто. У газет и журналов было много текущих забот... А нечастые публикации для опытнейшего журналиста, насыщенного богатейшими впечатлениями от поездок по Сибири, встреч с людьми, изучения забытого прошлого,— все равно что тормоз, что препятствия на пути творчества...

Своеобразной отдушиной были литературные «четверги» при молодежной и детской газетах, завершавшиеся, как правило, подготовкой «Литературных страниц».

Мартынов был активным и отзывчивым журналистом.

К у р н е в а В. С.— работала редактором Омской областной пионерской газеты, главным редактором и директором Омского книжного издательства. *(Прим. сост.)*

Он охотно выполнял задания редакции, но, как нам тогда казалось, он особенно охотно работал в газетах, предназначенных для молодежи. С особым вниманием он читал подготовленные к печати материалы пионерской и комсомольской газет, многочисленные письма юных корреспондентов, консультировал стихи молодых начинающих поэтов, писал на них обзоры, просил организовать встречи с некоторыми из них, наиболее способными...

По характеру Леонид Мартынов был не очень разговорчив, немногословен, но с начинающими авторами он беседовал подолгу и охотно. И — серьезно, без снисхождения к возрасту (создавалось впечатление — словно видел он среди них самого себя, тоже рано вставшего на творческий путь!). Исправлял строки в их стихах, а иногда — чего греха таить — и целые строфы, спорил с ними, обосновывал каждое свое замечание. Юных авторов подкупал их взыскательный консультант...

Редакции молодежной и детской газет помещались в одном здании и были своеобразным, почти круглосуточным, очень гостеприимным клубом. У нас всегда бывало много народу. И не только молодых и совсем юных авторов, но и педагогов, работников детских внешкольных учреждений, знатных производственников, а также ученых омских институтов, охотно выступавших с научно-популярными публикациями в газетах, с краеведческими материалами. Готовили для газет статьи профессор Петр Людовикович Драверт — поэт и минералог, председатель Омской метеоритной комиссии, профессор Иннокентий Николаевич Шухов — знаток Обского севера, один из первых исследователей Мангазеи, автор многих статей для юных читателей. Часто бывали в редакциях молодежных газет и активно в них сотрудничали молодые омские поэты и прозаики — Иосиф Ливертовский, Леонид Шкавро, Виктор Утков, Сергей Залыгин. С далекого Севера присылал свои переводы с ненецкого поэт Иван Истомин, шли корреспонденции из Ханты-Мансийска, из Тобольска, из других мест тогда обширной нашей области. Большая заслуга в приобщении к участию в газетах молодежи области принадлежит бессменным нашим помощникам в те дни — Леониду Мартынову и штатному литературному консультанту газеты «Ленинские внучата», преподавателю Омского педагогического института Марку Юдалевичу...

«Клубная» обстановка наших редакций импонировала творческому настроению Леонида Мартынова. Думаю, что

именно поэтому он часто и подолгу бывал в редакции, иногда по нескольку раз в день. Он жил нашей редакционной жизнью, знал каждое наше начинание, следил за его развитием.

И здесь же, в редакции, часто писал свои стихи...

Мартынов не работал за столом. Он словно всегда был в походе, спешил куда-то, к чему-то новому... И на пути его настигало вдохновенье. Он вдруг выключался из наших споров и разговоров, умолкал, уединялся где-нибудь в углу, а чаще начинал шагать по комнате, уйдя в себя, и вполголоса произносил строку за строкой, целые строфы. Если же стихотворение удавалось, нравилось ему самому, он начинал напевать вполголоса новые строки и быстро покидал редакцию. Это означало — пошел записывать сложившееся стихотворение. Записывал дома... Но иногда, уйдя из редакции, Мартынов через некоторое время неожиданно возвращался. Это означало: потерял, забыл какую-то хорошую мысль, строку. Может быть, встретил кого-то, отвлекся и — забыл. Все мы знали его такую особенность, не мешали ему в эти часы, старались не отвлекать. Мартынова-журналиста откровенно одолевал Мартынов-поэт, и друзья радовались этому. Хотя мы и знали, что Мартынова-поэта не ждала тогда «легкая» жизнь. Да и не мечтал он о ней, он трудился, казалось, круглосуточно...

В эти годы — в конце 30-х — Мартынов наряду с журналистикой не оставлял и поэзии, он много писал в это время — стихи, поэмы, и мы, его друзья, нередко были первыми слушателями его поэтических произведений. И, как могли, помогали их публикации. Публикаций же, по сравнению с тем, что было написано, появлялось досадно мало — всего две небольшие книжки стихов и поэм, изданные в Омске до войны... А к этому времени он сложился и проявил себя как весьма своеобразный, оригинальный поэт, в творчестве которого раскрывался его энциклопедический кругозор, проявлялось прекрасное знание истории и настоящего Сибири, большая, до боли, любовь к своему суровому краю, забота о его будущем...

Мартынову-поэту не хватало в Омске профессионального общения. Начались его частые отъезды в другие города страны, чаще всего в Москву. Не короткие командировки журналиста, а неопределенные по срокам поиски творческой среды, возможностей поэтического роста, публикаций... Отъезды часто малоплодотворные, нередко тягостные...

Много было трудного, личной боли в этих поездках, многое отвлекало от творчества. Но поэт никогда не жаловался. Он работал, мужественно преодолевал непосильное, горькое и шел к своей цели...

Оставалась горечь от разухабистости и верхоглядства критики. Так, неожиданно для поэта и его друзей было встречено в штыки прекрасное стихотворение Мартынова «Наяды», написанное в 1939 году под впечатлением от воздвигнутого в Омске величественного по тому времени здания Нижне-Иртышского пароходства. Поэт говорит в стихотворении о шести иссохших, исчезнувших к нашему времени реках, он с горечью восклицает: «Шесть рек исчезли. Имена? Я перечислю... Вся страна пила их воду золотую... Слетались птицы на пиры... И обитали здесь бобры». И с надеждой грезит, взывая к пароходству,— может быть; теперь, с его помощью, иссохшие реки «воскреснут меж степей и леса?..». А критики усмотрели в этом стихотворении мистику!..

Началась война. В первые же ее дни были закрыты молодежная и детская газеты, резко сократило выпуск литературы местное издательство. Закрылся клуб журналистов и писателей, многие из них ушли в армию, на фронт. Сами собой прекратились наши творческие встречи. Помещения редакций заняли эвакуированные с запада семьи. И лишь в части своего помещения продолжала работать редакция газеты «Омская правда» и там же, в невиданной тесноте,— местное издательство...

Мартынов трудился как журналист по заданиям редакции единственной газеты. Он печатал в ней статьи, очерки, заметки и, конечно, стихи. Стихи оперативные, часто они шли прямо «из-под пера» в очередной номер газеты. Таковы «Товарищ, гражданин и брат!», «Мы встали за отечество!», «Все для победы над врагом!..» и другие. В октябре 1941 года издательство выпустило книжечку стихов поэта «За Родину!». Меньше чем через год —еще две: «Вперед, за наше Лукоморье!» и «Мы придем».

Часть стихов этих сборников, может быть, излишне декларативна, прямолинейна, но все стихи верно отражали настроение советского человека в то время, звали к победе. Поэт исполнял свой гражданский долг, оперативно откликаясь на события...

В декабре 1942 — январе 1943 годов в Омской области работала выездная редакция газеты «Комсомольская правда». Совместно с омскими журналистами и писателями

выездная редакция выпускала многотиражку «Хлеб — фронту!». Почти треть номеров многотиражки вышла со стихами и очерками Леонида Мартынова.

В годы войны Мартынов выезжал в Москву. Итогом этих поездок стала маленькая книга стихов «Лукоморье», выпущенная в 1945 году издательством «Советский писатель». Она вышла под редакцией П. Антокольского, увидевшего в периферийном госте незаурядный талант. Книга получила положительную оценку столичной прессы, и это буквально окрылило автора. В том же году расширенный вариант этой книги, дополненный, кроме того, новыми переводами, был подготовлен для Омского издательства и в начале 1946 года вышел из печати под названием «Эрцинский лес». Чуть раньше в Омске вышла книга прозы Мартынова, начатая еще до войны, «Повесть о Тобольском воеводстве». Обе эти книги мне посчастливилось редактировать...

Именно — посчастливилось!.. Работа с Мартыновым над его книгами — равно прозой или стихами — не только доставляла истинное удовольствие, но и обогащала меня...

Мартынов был чрезвычайно строг к слову, к музыке стиха. Суть замечаний он схватывал мгновенно и, если был не прав, то признавался в этом сразу. Бывало, только удовлетворенно захохочет — не прошло! И тут же переделывает и доволен — получилось лучше! Думаю, что он и сам чувствовал свои огрехи, просто не успевал их полностью осознать, нужен был небольшой внешний толчок...

Очень полезной для меня и интересной была работа над «Повестью о Тобольском воеводстве». Повесть эта — глубокое и многогранное исследование освоения Сибири русскими людьми и вместе с тем — яркое художественное произведение, которое читается «в один присест»! «Полезная книга!..», «Интереснейшая повесть!..» — последовали за ее выходом многочисленные читательские отзывы. «Надо же суметь так изложить дела давно минувших дней!..» Но отзывы — потом. Когда готовилась книга, у меня, редактора, были свои заботы: не только дать принципиальную оценку рукописи, но и, что называется, «не ударить в грязь лицом» перед ходячей энциклопедией — автором. Необходимо было проникнуть в самую суть описываемых событий, оценить правомерность его суждений о минувших событиях в Сибири с точки зрения общеисторической и одновременно с этим сберечь, а где следует и укрепить сюжетную канву, так важную для художественного произведения. А язык?.. Не отяготил ли автор его излишними уста-

ревшими речениями, не засорил ли архаизмами? Что следует убрать, что пояснить, и все это — без ущерба ткани повести, сохранив ее ритмический рисунок, которому Мартынов-поэт — придавал большое значение...

Все это заставляло меня, редактора, тщательно готовиться к каждой встрече с автором... Словом, задача была не из легких...

Впоследствии, при наших встречах, Леонид Николаевич не один раз вспоминал по-доброму, как мы вместе трудились... И еще одна деталь — «Эрцинский лес» мы составляли и редактировали чаще всего в движении (мы жили по соседству), по пути из дома в издательство я излагала свои замечания, а по пути из издательства домой — уточняли все исправления, новые строки. Скажу прямо: Мартынов для меня, редактора, был идеальным автором, хотя мы и нередко спорили, порой весьма горячо, но в итоге всегда приходили к согласию...

«Эрцинский лес» — книга, которую я могу характеризовать как возвышенный гимн поэта Родине, родному Лукоморью, победе над смертельным врагом,— принес, вопреки здравому смыслу, большие огорчения. Книга подверглась несправедливой и разносной критике. Разгромные рецензии на нее появились в Москве и в Омске. Они надолго выбили Мартынова из колеи, журналы и издательства перестали его печатать. А между тем, как было признано позднее, именно эти два сборника — «Лукоморье» и «Эрцинский лес» — дали первую блестящую аттестацию Мартынову как своеобразному, оригинальному, проникнутому духом современности советскому поэту. Почти все стихи из этих сборников впоследствии многократно перепечатывались в различных изданиях как лучшие стихи советской поэзии.

После войны Мартынов поселился в Москве. Мне приходилось не один раз бывать у Мартыновых и в тесной комнатушке в Сокольниках, и в квартире на Ломоносовском... Но это уже другая тема для воспоминаний...

1982

Сергей Залыгин

ПОЭТ

Леонид Мартынов мог быть только поэтом, а больше никем другим и никогда. Так задумала его природа, таким он и осуществился. Эту природность никто не смог бы нарушить, мне кажется, даже он сам.

Я знал Мартынова многие-многие годы, почти полвека, и больше всего меня удивляло в нем именно это обстоятельство, которого я не замечал ни в себе, ни во многих других писателях, если даже они и провели в литературе ничуть не меньший срок и приобрели вполне заслуженную известность и всеобщее признание.

Я, кажется, вообще не встречал людей со столь же определенно выраженным предназначением.

Можно было спросить Мартынова о Пушкине или Аристотеле — на ваши вопросы отвечал вам поэт, можно — об антибиотиках, о гипотезах появления человека на Земле и о том, хочет ли он сию минуту пообедать,— во всех, без исключения, словах и ответах различался поэт, и никто другой. И не то чтобы все его ответы были вычурными, стихотворными, нет, просто-напросто этот человек всегда был поглощен поэзией, всякую минуту, и этого нельзя было не почувствовать.

Он был настолько поэтом, что, скажем, уже каким-либо руководителем Союза писателей его и представить было совершенно невозможно, да он и сам, конечно, удивился бы страшно, если бы кто-то вдруг предложил занять ему ту или иную руководящую роль.

Служебный кабинет, а в кабинете Мартынов?! Нет, это невозможно! На каком-то деловом заседании и то представить его было трудно, и я до сих пор удивляюсь, как это Мартынов был членом приемной комиссии Московской писательской организации, да еще и примерным?

Такое впечатление сложилось у меня о Мартынове с первой встречи, а эта встреча произошла тоже в совершенно мартыновской манере.

Дело было в Омске, я был студентом и вот написал какой-то рассказик. Безо всякой периодичности, раз в два или три года в Омске издавался в то время альманах, и в издательстве мне сказали: рукописи альманаха находятся у Мартынова, пойдите и отдайте ему свой рассказ для прочтения.

На улице Красных Зорь я нашел вросший в землю, обшитый вагонкой домик, а в домике встретила меня старушка, в которой я тотчас узнал мать Мартынова. Потом я увидел старичка с бородкой клинышком и понял, что это его отец, потом — сравнительно молодого человека — его брата.

Все они показались мне похожими друг на друга и на Леонида Мартынова, которого, во всяком случае внешне, я знал к тому времени хорошо.

Старушка спросила меня — кто я? Я ответил.

— Да-да,— сказала старушка,— Леня ждет вас в огороде. Пройдите, пожалуйста, в огород.

Вход в дом был со двора, и, еще когда я в этот дом входил, я не заметил огорода, не заметил я его и теперь. Правда, двор перегораживали две тоненькие жердочки, а там, за ними, росла лебеда.

Уж я-то повидал на своем веку, слава богу, этой лебеды — и на колхозных полях, и на послевоенных барнаульских пустырях и пожарищах — лебеда там была царицей растительного мира, и мы, ребятишки, умели ее ценить — мы прокладывали в ее зарослях широкие тракты и тайные тропы — там мы были совершенно недосягаемы для взрослых, но таких джунглей, которые произрастали на мартыновском огороде, мне видывать не приходилось — стебли в два пальца толщиной, высота — метра два, а в глубине — ночь, темным-темно, хотя над головой и сияет яркое солнце.

Подумав, я все-таки решил в эти джунгли войти — перешагнул через жердочки и ступил на узкую тропинку... Темно, душно, и только впереди что-то такое светит, там, куда ведет узкая, хорошо утоптанная дорожка.

Я пошел на этот свет и оказался на круглой поляне, очерченной точно по кругу диаметром метров шесть-семь, лебеда здесь была притоптана, и по периметру довольно быстро и энергично двигался Мартынов в трусах, в бумаж-

ном колпаке, держа в одной руке лист бумаги — он что-то читал... Он читал стихи.

Он заметил мое появление, но сделал знак рукой, чтобы я обождал, не мешал ему.

Я обождал. Он сделал еще один-другой круг по периметру поляны, негромко нашептывая стихи, потом остановился против меня.

— Значит, вы Залыгин?— спросил он.

Я ответил утвердительно.

— Значит, это вы написали рассказ?

— Я...

— Главное лицо в этом рассказе — гидротехник? Да?..

— Да...

— Это почему же?

— Наверное, потому, что я учусь на гидротехническом факультете.

— Наверное, поэтому,— согласился он.— И это хорошо. Это — отлично, что вы знаете специальность своего героя. Но вот что плохо, вот что мне непонятно: почему от вашего героя не пахнет водорослями?

Невольно растерявшись, я сказал:

— Мне кажется, это необязательно...

— Да что же вы такое говорите?! Как же это может быть для вас, гидротехника, необязательным?! Вы только подумайте, что вы говорите?

— Я не совсем вас понимаю!— сказал я, не понимая своего собеседника ни на йоту.

— И очень плохо, что не понимаете! Слышите?! Это очень плохо, это никуда не годится, если вы, сам гидротехник, не понимаете, что от вас должно пахнуть водорослями.— Он даже потянул носом воздух и подтвердил:— Очень плохо! А все, наверное, потому, что вы еще молоды. Не поработали как следует и не знаете, как пахнет гидротехника. И знаете, что я вам скажу? Пока вы в самом себе не заметите запаха водорослей, вы никакой еще не гидротехник!

Больше ничего, ни слова, Мартынов мне о моем рассказе не сказал. И наверное, правильно сделал: рассказ был плохой, я никогда больше над ним не работал, забросил, а сейчас если что-нибудь и помню о нем, так не более того, что сказал о нем когда-то Мартынов.

Позже мы встречались с Мартыновым на заседаниях Омского литературного объединения. Нас было человек 10—15, что-то мы обсуждали, о чем-то спорили, я думаю,

что Мартынову, уже к тому времени очень опытному, известному поэту, было с нами, начинающими, и скучно, и грустно, и, как говорится, некому руку пожать, но все равно он наши «понедельники» посещал, наверное, потому, что между ним и нами, начинающими, был руководитель нашего объединения Виктор Утков, который умел вызвать обоюдный интерес, а кроме того, иногда к нам заглядывал и еще один настоящий и очень интересный поэт и ученый — Петр Людовикович Драверт, человек совершенно другого склада и таланта, чем Мартынов, и вот тогда-то уже всем нам становилось интересно: Мартынов и Драверт спорили, а мы — слушали.

Мартынов спорил скромно, как бы будучи погружен в себя, Драверт же, человек спонтанный, горячий, как будто полагал, что в нем одном, и ни в ком больше, заложена истина, и не терпел никаких возражений.

Поэтом он остался сравнительно малоизвестным, но зато вошел в науку как основоположник советской метеоритики. Он собрал большое количество метеоритов, а о том, как он их собирал, ходило в Омске множество легенд. В институте я прослушал у профессора Драверта несколько лекций по началам геологии, потом он целиком ушел в научную и экспедиционную работу, в которой мы, студенты, мало что понимали: подумаешь — метеориты? Да кому они нужны-то? Мы не предполагали, что уже грядет век космоса — Драверт ждал его со дня на день.

Ну, это отступление. А дальше дело было так: спустя несколько лет, года, должно быть, два, меня с Мартыновым свела общая работа в редакции областной газеты «Омская правда». В то время в штатном расписании редакции полагалось иметь двух так называемых корреспондентов-очеркистов — нетрудная и сравнительно неплохо оплачиваемая должность. Два очерка на свободную тему в месяц, остальное время свободное, постоянная зарплата плюс гонорар.

Одну такую должность занял Мартынов, другую — я.

На редакционных летучках меня всякий раз хвалили, его — ругали.

Я полагал в ту пору, что так и нужно, что я пишу очерки хорошо, а Мартынов — плохо. Правда, иногда и у меня закрадывались на этот счет некоторые сомнения, но я в самом себе не находил этим сомнениям серьезных доказательств, скорее меня смущал чисто формальный довод: Мартынов — известный поэт, еще в ранней юности писал

и очерки, они были изданы и нравились мне, но теперь получается так, что он писать не умеет, а я умею. Что-то неладно, не так. Но дальше этих сомнений я не шел.

Уже спустя много лет, задумав написать свою первую статью о творчестве Мартынова, я перелистал подшивку газеты чуть ли не двадцатилетней давности и понял все.

Боже мой, какие дежурные очерки писал я и какие необыкновенные — он! Уже по самому материалу необыкновенные, свойственные только ему и никому больше.

Вот он пишет о спасателе водной станции на Иртыше, который, сам не умея плавать, но хорошо управляя лодкой и пользуясь им самим изобретенной снастью, уже спас несколько человек.

«Плавать он не умеет, это правда,— писал Мартынов,— зато он сам несколько раз тонул, а его спасали, поэтому он очень хорошо знает, как это делается».

Или вот старик кузнец пишет Михаилу Ивановичу Калинину письмо, просит, чтобы ему дали квартиру, он всю жизнь прожил в землянках и по углам, но в письме своем кузнец этот пишет так: «Квартиру прошу определить мне поблизости от завода, а то без кузнечного стуку я лишаюсь сна».

Еще один мартыновский сюжет.

В Омске, который уже в ту пору насчитывал что-то около 350 тысяч жителей, все еще многие люди имели коров, и по утрам и вечерам в летнее время город чуть ли не в самом центре оглашался ревом стада, которое гнали пастухи на пастбище и обратно.

И Мартынов находит женщину, которая «главная по крупному рогатому скоту г. Омска», и пишет о ней очерк. Благо, что корреспонденту-очеркисту никто заданий не давал — он сам находил тему, дабы газета была более разнообразной и интересной. Вот Мартынов и выбирал... И находил.

И ругали его на редакционных летучках: и чего только он пишет? Где выкапывает? «Спасатель не умеет плавать, это же, товарищи, позор, а наш корреспондент делает такого человека чуть ли не положительным героем!»

А ведь Мартынов очень не любил, когда его ругали, переживал и маялся, я точно знаю.

Он в эти минуты сильно краснел, почти не отвечал на замечания и смотрел в потолок.

Потом спрашивал:

— Все?

— А вам мало, что ли?

— Значит, все... Я могу уйти? — Вставал и уходил. И всем присутствующим становилось как-то не по себе. Я не думаю, что уже в то время в редакции нашей газеты у него были какие-то противники и недоброжелатели, нет, это появилось много позже, а тогда мы все попросту его не понимали, нам был нужен очерк о «типичном» и совершенно понятном для читателя, критика его очерков к этому и сводилась: «Читатель не поймет!»

Мне было неловко на этих летучках и еще по одной причине: я-то знал, что для Мартынова и его жены Нины Анатольевны заработок корреспондента-очеркиста был основой их существования, в то время как для меня — только приработок, я все еще был студентом, получал стипендию, преподавал географию на вечернем рабфаке и очень хорошо зарабатывал на летней практике в каникулы — специалистов тогда было очень мало, и нас, студентов, приглашали на высокие инженерные должности.

Кроме того,— я это тоже знал — как раз в те годы Леонид Николаевич писал свои ставшие потом знаменитыми исторические поэмы «Тобольский летописец», «Домотканая Венера», «Сказка про атамана Василия Тюменца» и другие.

Писал, возвращаясь после «летучек» к себе домой на улицу Красных Зорь, в комнатушку, в которой они обитали с Ниной Анатольевной. Комнатушка была крохотной, там и стола-то письменного не было, а только какое-то колченогое приспособление, заменяющее стол.

Перед войной Мартынов и Утков довольно часто приезжали ко мне в Сибаку — играть в волейбол. Сибака — так назывался с легкой руки наркома просвещения А. В. Луначарского Омский сельхозинститут. («Да ведь это настоящая сельхозакадемия — такая же, как Тимирязевская в Москве!»— будто бы воскликнул нарком, побывав в омском институте.)

Я уже окончил к тому времени эту самую Сибаку, работал ассистентом на кафедре гидротехнических мелиораций, имел свою жилплощадь в «аспирантском» доме. Места кругом были прекрасные: березовые колки, опытные поля, засеянные самыми разными культурами, поблизости Иртыш с зелеными полосами прибрежного кустарника — вот сюда, за город, и любили приезжать ко мне мои городские знакомцы.

Играл в волейбол Мартынов неважно, зато — азартно и как-то глубокомысленно, серьезно.

Ну а потом мы встретились с Леонидом Николаевичем уже спустя несколько лет, где-то в конце сороковых — начале пятидесятых годов, в Москве, где я, приезжая из Сибири, навещал его квартиру.

Опять-таки — какая это была квартира?! Это был угол, отгороженный от коммунальной кухни, за перегородкой жили трое людей — Леонид Николаевич, Нина Анатольевна и ее мать, и один кот — старый, привезенный из Омска и без конца воющий не кошачьим, а глухим каким-то голосом.

Теперь все эти деревянные двухэтажные дома бурого цвета и как бы особого сокольнического покроя снесены, на их месте построены многоэтажные коробки, прежнее местоположение мартыновской квартиры и определить невозможно, но именно здесь-то Леонид Николаевич впал в очередную творческую горячку — писал, писал и писал...

А его все еще ругали, и как ругали!

Одна только статья Веры Инбер: «...видимо, Леониду Мартынову с нами не по пути... наши пути могут разойтись навсегда»— чего стоила! А почему, собственно, не по пути?— понять этого ни тогда, ни сейчас нельзя. Или нам была когда-то заказана лирика? Оптимистический взгляд в будущее? Наша собственная, по-новому и живо осознанная история? Никогда все это заказано нашей литературе не было, а все было, как мне кажется, прежде всего в стиле, в манере письма. Эта манера кому-то казалась неприемлемой, вычурной, и если уж ее не понимал известный поэт, то, само собой разумелось, читатель и совсем не должен был понять. Не понять так, чтобы пути поэта и его читателя должны «разойтись навсегда».

Однако не скажу, что Мартынова не понимал никто,— понимали. И — ценили. Достаточно вспомнить отзывы о нем Николая Асеева, Ильи Эренбурга, Юлиана Тувима, Назыма Хикмета.

Конечно, Мартынов писал так, что его мало было читать — его надо было еще и понимать, но ничего исключительного в этом факте для поэзии всех времен не было...

А еще его надо было и принимать как человека, если уж вы хотели общаться с ним.

Вот в очередной приезд из Сибири приходишь к нему

на 11-ю Сокольническую. Приходишь без всяких предупреждений — телефонов-то и в помине там не было.

Встречает как доброго знакомого.

Однажды мы весь вечер и всю ночь ходили с ним из Сокольников в гостиницу «Центральная», где я останавливался, и обратно — то он меня проводит, то я его...

Зато в следующий приезд он тебя будто бы и не замечает:

— А? Что? Приехали?.. Значит, приехали...

Но дело даже и не в этом, а в том, что еще и в те годы Мартынов вел себя как-то неуверенно и незащищенно в отношениях с литературной и редакционной средой.

Уверенность, определенная манера поведения пришли к нему позже, а в ту пору его, очень известного поэта, если не издавали, так он этому ничуть не удивлялся — ну и не надо, его дело — писать стихи, и только, а что касается изданий — в другой раз, когда-нибудь.

В 1964—1965 годы я болел, лежал в больницах в Москве и в Новосибирске, и вот там-то, выздоравливая, я решил принять участие в издании сборника его стихов в Западно-Сибирском книжном издательстве.

Я связался с Леонидом Николаевичем по телефону (теперь он жил в двухкомнатной квартире с телефоном на Ломоносовском проспекте) — очень мне хотелось обрадовать его приятной вестью, и вдруг я слышу:

— Да что вы там, Сергей, затеяли? Да зачем это нужно? Как так? С вашим предисловием?.. Да вы же, Сергей, инженер, вы обо мне и предисловие-то какое-нибудь инженерное напишете! Геометрическое. Треугольное. Или круглое: пи эр в квадрате, а больше ничего...

И сколько же было хлопот и неожиданностей с этим сборником: то одна телеграмма от Мартынова — снять такое-то стихотворение, то другая, то вдруг звонок ко мне:

— А какого цвета будет обложка?

— Оранжевого.

— Это как же понять — оранжевого?

— В издательстве нет другого коленкора.

— Да вы что, Сергей, с ума, что ли, сошли? Да у меня в жизни не было книг в оранжевом переплете!

— Ну и что же, что не было. А теперь — будет!

— Нет-нет! Раз не было — значит, и не должно быть!

Сборник все-таки вышел (в оранжевом переплете)...

Книг у Мартынова дома была бездна, и самых разных. Книги всюду — на стеллажах, на столах, под столами...

Самым же удивительным было для меня вот что: в своей огромной и на первый взгляд совершенно неустроенной библиотеке Леонид Николаевич ориентировался безупречно, где и что лежит он знал точно и редко что-нибудь искал дольше двух-трех минут, но уже и тогда сердился, выходил из себя.

— Значит, Сергей, вас интересует земство в Сибири?! А вот мы сейчас посмотрим, посмотрим — вот тут что-то такое должно быть!

И действительно, там где что-то должно было быть, там оно и было — Леонид Николаевич вытаскивает из третьего ряда полки книгу прямо-таки уникальную. И самоновейшие книги у него были с изложением современных теорий мироздания, с рассуждениями по поводу телепатии...

Все эти книги Мартынов не только имел — он их читал и помнил их содержание. Он был человеком очень чутким к наукам, понимая в них самую суть и очень доверяя этой сути. Единственно, к чему он относился с недоверием,— к научной фантастике. Он любил фантастику реальную.

Но надо было видеть его в те дни, когда был запущен первый спутник, когда в космос полетел Юрий Гагарин,— он воспринимал эти события так, словно они были делом его собственных рук. Тут он и похвастаться не стеснялся:

— Ага, ага, Сергей, я вам об этом еще ко-ог-да говорил! А вы, я помню, слушали меня без всякого внимания! Дескать, мало ли что Леонид Мартынов болтает! А я вот болтал, болтал, да и выболтал: человек в космосе! Фамилия русская — Гагарин!

Вообще Мартынов умел радоваться — весь так и засияет, сообщая что-нибудь приятное, выдающееся, что-то подтверждающее его давнюю мысль, догадку.

Когда же грустил — уходил в себя, в свои тревоги, иной раз, как я теперь понимаю, и не бог весть какие существенные.

Приходишь к нему, а он:

— Тише, тише, тише... А еще лучше, если зайдете ко мне когда-нибудь в другой раз.

— Да что случилось-то, Леонид Николаевич?!

— У Ниночки голова болит...

Выходит Нина Анатольевна, смеется:

— Брось ты, Леня, пожалуйста. Проходите, Сергей! Ничего у меня не болит.

А болезней Леонид Николаевич боялся, это правда, и мнительным был на этот счет человеком.

Сидишь с ним, разговариваешь, он вдруг спрашивает:

— А вы, Сергей, не заразный?

— Что это вы?! Ни с того ни с сего?

— Да так... Говорят, по Москве грипп ходит...

Что же касается Нины Анатольевны, она действительно была ему и другом и женой. Что бы он ни написал — она первая слушательница.

Придешь к Мартыновым послушать стихи, повидаться у них со старым другом Виктором Утковым — вот уж кто всегда и неизменно был самым близким для Мартынова человеком,— и тут снова небольшой такой семейный конфликт:

— Леня!— говорит Нина Анатольевна.— Прочитай Сергею свое вчерашнее стихотворение!

— Вчерашнее? Ни за что! Оно мне не удалось. Оно мне не нравится! Оно — дрянь!..

— Ну тогда вот это...

— Тоже дрянь!

Нина Анатольевна, сердитая, уходит на кухню или в другую комнату, а Леонид Николаевич тихо говорит мне:

— Она, конечно, все понимает, она умница, но все-таки я прочитаю вам не то, что она велит, а то, что сам хочу...

— Так вы прочитайте все! И то и другое!

— А вот это мысль! С чего же начнем-то?

Еще вспоминаю вот что: я писал о Мартынове довольно часто, но никогда в жизни он не сказал мне ни слова о том, как же он сам-то расценивает то, что я о нем писал. Самое большое — это вскоре после публикации моей статьи о нем позвонит ко мне домой и справится о здоровье... Значит, понравилось. А мне, особенно на первых порах, это было интересно, и я старался выведать кое-что у Нины Анатольевны. Но и там много не узнаешь:

— Кажется, Леня воспринял это неплохо. Во всяком случае — не сердился.

Вот как было... Это совсем не то, что иногда приходится слышать между нашим братом литератором: «Ты напиши, напиши обо мне, старик, а я уж в долгу не останусь, старик!»

Ну а потом похороны — сначала Нины Анатольевны, несколько времени спустя — Леонида Николаевича.

Обе могилы рядом, на Востряковском кладбище, где-то в его глубине. Место ничем не приметное.

Провожало Мартынова очень немного людей.

Как часто не умеем мы ни ценить человека, ни даже проводить его в последний путь.

Тут еще, как назло, начиналась гроза. Она разразилась, когда опускали гроб в могилу. Мы выходили с кладбища по главной аллее между очень богатыми мраморными памятниками, промокшие с ног до головы.

И вот тут-то, промокший и озябший, я впервые понял, что Мартынова больше нет. И никогда не будет. До той минуты эта реальность все казалась не совсем реальной.

Леонид Мартынов прожил сравнительно долгую жизнь, а жизнь творческую, поэтическую, так и совсем необычную: более пятидесяти лет он писал, печатался, издавал свои книги, но и это никак не оправдывало смерть поэта, далеко еще не увядшего, исполненного новыми и новыми замыслами.

Так как мне приходилось говорить о нем не раз, а нынче подумал вот что: я всегда говорил только о его стихах, но не о нем самом.

К его привычкам, к его внешности — к высокой его фигуре, которая становилась то старше, то моложе не столько в зависимости от возраста, сколько от его собственного настроения и окружающих его обстоятельств,— я обращаюсь впервые и впервые же замечаю, что в чем-то он соответствует довольно распространенным представлениям о том, что настоящий поэт должен быть хоть немного, а все-таки чудаком, что я нынче эти представления лишний раз подтверждаю.

Но тут же я чувствую, будто Леонид Мартынов обращается ко мне и даже не без некоторого упрека:

— Я — поэт!— говорит он.— А каким я был, какие имел привычки — не все ли вам равно?!

Действительно, это так, я согласен. Я не могу не быть не согласен с тем, что внешние черты Мартынова были только незначительной частью его поэтического смысла и содержания. Были как бы только приложением к нему — поэту.

1984

И. С. Коровкин

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ...

Впервые я встретился с Леонидом Николаевичем Мартыновым в 1938 году в редакции газеты «Омская правда», он беседовал со мной о моих стихах, присланных в газету. Потом я встречался с ним довольно часто.

В то время в Омске начинали свою литературную деятельность писатели Сергей Залыгин, Виктор Утков, Марк Юдалевич, а также поэты, погибшие на фронтах Великой Отечественной войны: Иосиф Ливертовский, Николай Копыльцов, Георгий Суворов. Здесь жил старейший поэт-ученый Петр Драверт. Активное участие в литературной жизни Омска и области принимали директор издательства Сергей Григорьевич Тихонов, которого все глубоко любили и уважали,— это был очень отзывчивый, скромный и образованный человек, поэты Константин Бежицкий и Сергей Федотов, профессор, автор рассказов для детей, И. Н. Шухов и другие... Были организованы литературные «четверги». Мартынов собирал и редактировал произведения молодых писателей для «Омского альманаха», заботился о собирании фольклора Западной Сибири... Особенно большое внимание уделял он зачинателям литературы народов Крайнего Севера — ханты, манси и ненцев. И в эти годы, как и всегда, он много писал и сам...

Леонид Мартынов был одним из организаторов Первой областной конференции писателей и журналистов.

В середине июня 1940 года я получил от него письмо:

Коровкин И. С. (1919—1977). Сельский учитель, собиратель фольклора, автор стихов, печатавшихся в изданиях Омска. Создал на общественных началах литературно-краеведческий музей в селе Больше-Могильное Омской области. Выпустил несколько книг с записями русского фольклора Западной Сибири. *(Прим. сост.)*

«Дорогой т. Коровкин! Областное совещание писателей предполагается провести в конце июня — начале июля. Надеюсь увидеть Вас. Вот тогда наконец подробно поговорим о Ваших стихах — Вы привезете их много. И покажете фольклор, собранный Вами.

«Полушалок» мне не особенно понравился. То маленькое стихотворение о приданом, которое вошло в альманах,— гораздо лучше. Альманах уже вышел из печати (контрольные номера), скоро Вам вышлют авторский экземпляр. Срочно пишите о том, как складываются Ваши планы на лето. Имейте в виду областное совещание.

Леонид Мартынов».

В письме речь шла о второй книге «Омского альманаха», где было напечатано мое стихотворение «Приданое».

Приехав в Омск, я вначале побывал у К. Я. Бежицкого (редактора альманаха), а 26 июня, вечером, пошел к Леониду Николаевичу Мартынову. Жил он на тихой улице Красных Зорь, недалеко от Казачьего базара, в старом одноэтажном доме.

Сильно волнуясь, я постучал в окно. Кто-то выглянул, я спросил, дома ли Леонид Николаевич.

— Вы не Коровкин, случаем?

— Коровкин...

— Заходите.

Это была жена Леонида Мартынова Нина Анатольевна. Я вошел в кухню, затем в маленькую продолговатую комнату, где был Леонид Николаевич. Он порывисто встал, поздоровался и сразу же сказал:

— Кататься на лодке?.. Пойдемте...

Шагая по тротуару, он говорит мне:

— У вас жизнь проходит мимо, как вода меж пальцев... Нам, литераторам, нужно собирать, изучать факты. Надо по-своему смотреть на жизнь, по-своему и описывать ее. У вас пока этого нет...

Лодки мы не нашли, вернулись и сели в садике.

— Вам выступать надо. С чтением своих стихов. Надо!.. Я отнесу их завтра Тихонову, в издательство. Надо их печатать, не одно, а пять-шесть... Посещайте библиотеки, время не должно пропадать зря...

15 июня 1940 года в семь часов вечера открылась Первая областная конференция писателей и журналистов. Вместе с гостями на ней присутствовало около 200 человек.

Перед началом работы Леонид Николаевич познакомил меня с гостем из Новосибирска — поэтом А. И. Смердовым, очень жалели, что не приехала мансийская поэтесса Мотя Вахрушева...

17 июля на конференции с творческим отчетом выступил Леонид Мартынов. Навалившись на кафедру, подняв голову, устремив взгляд прямо на публику (или куда-то в пространство), он медленно рассказывал о своей работе над поэмами. Я гляжу на его широкое, энергичное, загорелое лицо. Белая косоворотка нараспашку. Русые волосы спадают небольшими прядями на лоб. Редкие жесты рукой, но пальцы все время подвижны...

Затем с творческим отчетом выступил Виктор Утков. Выступили сказочник Е. М. Ключинский из деревни Ново-Александровки, ныне Омского района, исполнитель казахских песен К. Джюсупов из колхоза имени Кирова Ново-Никольского сельсовета Тюкалинского района, он пел и играл на домбре...

После заседания мы с Мартыновым взяли под руки слепца Джюсупова и довели его до гостиницы. По дороге Джюсупов рассказал нам, что ему 49 лет, что ослеп он, когда ему было около 20 лет. Почти 30 лет сочиняет песни. Сначала пел о горе казахского народа, потом стал воспевать свободную жизнь...

18 июля выбрали бюро литобъединения и уполномоченных по организации литературной работы в районах. Затем все сфотографировались... «Для истории...» — сказал кто-то.

О Джюсупове было немало разных толков. Одним нравились его выступления, другим — нет. Я написал в сельский Совет, к которому относился аул, где жил Джюсупов, и просил рассказать о певце и о его творчестве. Получил оттуда письмо, в котором всячески принижалось творчество акына. Это очень огорчило меня, и я написал обо всем этом Мартынову.

В августе пришел от него ответ:

«Дорогой Ваня, во всех этих размежевках о Джюсупове ничего страшного ни для него, ни для вас не вижу. Допустим, что Ваш корреспондент прав и Джюсупов поет не только свои песни, но и песни других акынов, и поет их, как говорят некоторые его слушатели, «неважно». Что же из этого следует?

1. Надо узнать, носителем каких, чьих именно песен является данный слепец.

2. Песни ли это каких-либо местных акынов, или песни других акынов казахских.

3. Песни эти необходимо записать и перевести, чтоб уж затем о них судить... Я же думаю, что поет он и свои песни, поет их не всегда мастерски, но поет как может.

Как бы то ни было, но акын этот существует и должен быть в поле нашего зрения. А критиковать, вообще говоря, легко. И самые непримиримые «критики» это те, кто сами ничего не делают.

Итак, не волнуйтесь, а, приехав в Тюкалы, постарайтесь изучить данное явление на месте. Мы Вам в этом поможем. Не надо восторгов и излишней «горячности», но необходимо серьезное изучение объекта.

Стихи Ваши, еще раз одобрив, передал в редакцию альманаха. Отбор материалов еще не закончен. Рассказы рвать не надо. Складывайте их куда-нибудь, а потом снова вернетесь к работе над ними.

Привет от Нины. Жду письма.

Леонид Мартынов».

До начала войны я еще несколько раз встречался с Леонидом Николаевичем, получал от него письма. Война разлучила нас...

1965

С. И. Жданов

НАШ ЗЕМЛЯК

Мне пришлось многие годы общаться с Леонидом Мартыновым, но мои воспоминания будут касаться 1940—1946 годов, периода, слабо освещенного в литературе о поэте. Я не полагаюсь только на память, пользуюсь заметками и статьями из омских газет, документами областной писательской организации, материалами личной переписки и дневниковыми записями.

В предвоенном Омске существовала группа литераторов, организованная в городское литобъединение. Произведения их часто публиковались в местных газетах, в журнале «Омская область», а с 1939 года в литературно-художественном сборнике, который начало выпускать Омское книжное издательство — «Омский альманах». В двух довоенных выпусках альманаха выступило около сорока литераторов. Деятельное участие в создании и выпуске альманаха принимал Л. Мартынов, в то время наиболее известный и опытный омский литератор. До войны он опубликовал в «Омском альманахе» свои поэмы — «Балладу о русском инженере», «Сказку про атамана Василия Тюменца, посла к Золотому царю», «Северную быль».

В июне 1940 года в Омске была проведена Первая областная конференция писателей и журналистов. В ней приняли участие кроме омичей и молодые литераторы из городов и сел области, представители разных национальностей, населяющих область,— ненцы, ханты, казахи, татары, немцы. Конференция обсудила задачи писателей и журналистов области и создала Областное литературное объединение, в состав бюро которого вошел и Леонид

Жданов С. И. (р. 1915). В 1942—1948 годах директор Омского книжного издательства (*Прим. сост.*)

Мартынов. Ответственным секретарем бюро избрали молодого литератора В. Уткова.

Л. Мартынову были поручены сектор поэзии и связь с Московской писательской организацией.

На одном из первых заседаний бюро он предложил создать «Альманах национальностей Омской области». В то время область простиралась от Урала до Енисея и от Ямала до Казахстана, ее населяло более десяти национальностей. Альманах обещал быть очень интересным и разнообразным. К сожалению, война помешала воплощению этого замысла.

Вскоре литературные консультации, организованные бюро, перешли в регулярные собрания молодых литераторов Омска, на которых обсуждались их произведения и различные текущие дела объединения. Так возникли «Литературные понедельники», которые заметно оживили культурную жизнь города. Мартынов принимал в них самое деятельное участие.

За год до областной конференции Л. Мартынов побывал в творческой командировке в Тобольске вместе с делегацией писателей Украины, приехавшей в старинный сибирский город, чтобы отметить 75-летие со дня рождения поэта и революционера Павла Грабовского, умершего в тобольской ссылке.

Впечатления, полученные в поездке, Мартынов воплотил в ряде произведений. Среди них в первую очередь следует назвать одну из лучших его поэм «Домотканую Венеру» и замечательную по обильному фактическому материалу и поэтическому языку «Повесть о Тобольском воеводстве». Выступая на «Литературных понедельниках», Мартынов нередко возвращался к впечатлениям тобольской поездки, рассказывал о своей работе над материалами о прошлом Сибири.

Планы, намеченные литературным объединением, не удалось полностью претворить в жизнь, началась война. Многие литераторы ушли в армию, на фронт. В Омске из состава объединения остались только Л. Мартынов и П. Драверт.

Однако вскоре из Москвы и Ленинграда приехала в Омск группа писателей. Среди них — бывший омич Ф. Березовский, литературоведы Б. Бухштаб и Н. Мордовченко, автор романа «Искры» писатель М. Соколов, поэты Б. Ковынев, Е. Рывина, А. Генкина, Марк Максимов (Липович). Вернулся с Севера, где руководил гидрографической

экспедицией, С. Залыгин. В Омске образовалась сильная группа литераторов и был создан группком писателей. Председателем группкома избрали Ф. Березовского, заместителями Л. Мартынова и меня, в то время работавшего директором областного издательства. Было решено возобновить выпуск «Омского альманаха». В его редакционную коллегию вместе с московскими писателями вошел и Л. Мартынов, который занялся формированием раздела поэзии в альманахе.

В третьей книге альманаха (1943) Мартынов печатает большое стихотворение «Лукоморье», своеобразное по форме, полное патриотических чувств произведение. В нем ведут перекличку Илья Муромец и Ермак Тимофеевич, Сибирь и Дон, южное Лукоморье перекликается с сибирским и беломорским: «...за дело русское бороться идут и деды и отцы, сибиряки и новгородцы, и вологжане и донцы!»

Поволжья решится судьба в Черноморье,
Сибири судьба — на Дону!
Спасайте же, братья, свое Лукоморье, родную
спасайте страну!

Поэтический образ Лукоморья, органически вошедший в творчество Мартынова еще в довоенное время, в эти суровые годы был взят на вооружение сражавшегося народа. Фронтовики присылали в Омск много писем, в которых они клялись защищать родное Лукоморье — Родину — от врага. Поэма Мартынова, его военные стихи, очерки часто использовались агитаторами и пропагандистами, партийным активом в своих выступлениях. Помню и я сам, выезжая по заданию обкома партии в колхозы и совхозы области, не один раз цитировал строки из поэм и стихов Мартынова, и они всегда горячо воспринимались слушателями. Они были боевым оружием, созданным поэтом...

В 1943—1944 годах московские и ленинградские писатели вернулись в родные места. Группком писателей распался. Вместо него при книжном издательстве снова было создано литературное объединение. Председателем его был избран Мартынов, заместителями Марк Максимов и я. Эти «четверги» всегда бывали интересными. Об одном из них хочется рассказать подробнее. Много уже миновало времени, но он встает в моей памяти ярко, словно был только вчера...

Председательствовал на этом «четверге» Петр Драверт,

старейший поэт Сибири, автор многих стихов, в которых он воспевал людей и природу Якутии, Прибайкалья, Алтая, Иртыша. Человек он был экспансивный, горячий, часто вступал в споры...

Мартынов на этом «четверге» читал свои переводы из Шекспира, Теннисона, Ронсара, Виллона и Рембо. Слушали его с большим вниманием. А когда началось обсуждение, то в нем самое деятельное участие принял председатель вечера. И вот, когда в разгар острых споров раздался телефонный звонок, Драверт, разгоряченный спором, схватил трубку и выпалил в нее:

— Здесь никого нет! — он имел в виду сотрудников редакции, в помещении которой проходило заседание.

Раздался дружный хохот. Страсти поубавились, но спор не затих. Драверт продолжал обвинять автора переводов в произвольном толковании отдельных слов, образов стихотворений и заявил, что переводить так невозможно! На это Мартынов быстро ответил:

— Писатель-переводчик и должен стремиться к невозможному!

Эта фраза словно уколола Драверта. Он вскочил со стула и начал горячо возражать Мартынову:

— Как это стремиться к невозможному? Невозможное — невозможно...— Он стал приводить примеры из астрономии, хотя звездное небо не имело никакого отношения к переводам Мартынова. Бородка его то и дело взвивалась вверх, волосы растрепались, руки в такт словам рубили воздух. Мартынов пытался вклиниться в его речь, но куда там!.. И в этот драматический момент дверь внезапно раскрылась и в ее проеме показалась высокая массивная фигура академика Бориса Михайловича Завадовского, человека веселого, остроумного. «Четвергисты» хорошо его знали, он неоднократно бывал на собраниях. Завадовский мгновенно оценил ситуацию и весело произнес:

— И вечный бой! Покой нам только снится!.. Дикси!— и сел в конце стола.

В споре наступил сбой, все заулыбались, и Мартынов наконец получил возможность сказать:

— Петр Людовикович, слова к невозможному надо взять в кавычки...

— Ага! — восторжествовал Драверт.— Все-таки я был прав! Вы признали свою ошибку!..

Чаще всего председательствовал на «четвергах» сам Мартынов. «Четверги» проходили каждую неделю и вызывали

в городе большой интерес. Их посещали представители интеллигенции города — преподаватели институтов, врачи, инженеры, учителя, студенты. Постоянными посетителями были рабочие машиностроительного завода, где активно работал литературный кружок. Мартынов, работая с молодыми литераторами, никогда не делал скидки на возраст и уровень знаний молодого поэта, всегда говорил о необходимости упорного труда над словом, требовал серьезного отношения к написанному. Своим опытом он охотно делился с молодыми литераторами. На одном из «четвергов», при обсуждении творчества начинающих поэтов, слушателей авиаучилища, Мартынов, подводя итоги, сказал:

— Стихотворение не окончено до тех пор, пока жив поэт...

Мне запомнились эти слова потому, что в них было выражено отношение к работе над стихом самого Мартынова, он не один раз возвращался к написанным ранее стихотворениям, работал над ними, совершенствовал их постоянно...

Несколько «четвергов» были посвящены творчеству самого Мартынова, обсуждению его стихов, переводов, напечатанных в «Омском альманахе», его поэтических сборников, выходивших тогда в Омске.

Творческий путь Мартынова в годы войны не был простым. Его поэтический талант, большой житейский опыт, энциклопедические знания помогали ему создавать сложные, порой насыщенные глубинными ассоциациями произведения, сразу и не всегда понятные многим. Впоследствии эти его стихи в большинстве своем получили признание, но в то время оценку его творчества нередко давали люди ограниченные, лишенные художественного чутья, понимания поэзии, легко оперирующие конъюнктурными соображениями. Это доставляло поэту немало огорчений. Но в Омске были и подлинные ценители творчества Леонида Мартынова.

Помню вечер поэзии, состоявшийся в большом зале Горпарткабинета в феврале 1946 года. Самого Мартынова на этом вечере не было, он улетел в Москву по срочному вызову Союза писателей. Вечер открывался вступительным словом, в котором давалась характеристика творчества каждого из поэтов, чьи произведения будут исполняться,— Л. Мартынова, В. Энгельгардта, М. Максимова, Н. Москалева и недавно умершего П. Драверта. О поэзии Мартынова в этом вступительном слове, стенограмма кото-

рого сохранилась, говорилось только в самых лестных выражениях. Отмечалось, что творчество поэта получило широкое признание, стихи его являют пример высокой поэтичности, лирической взволнованности, глубоких гражданских чувств, отмечалось, что в своих поэмах он изображает даровитых русских людей, подлинных патриотов Родины. Следует отметить, что почти одновременно с этим вечером в местной печати была опубликована рецензия одного омского графомана, озаглавленная «В дебрях Эрцинского леса», полная несправедливых оценок и злопыхательства. На вечере литературная общественность Омска ответила на это выступление высокой оценкой творчества Мартынова. Его стихи читал молодой поэт Леонид Шевчук. Каждое из прочитанных им стихотворений: «Нюрнбергский портной», «Правда», «Народ-победитель», «Дорога в Москву», «И по земле моей кочуя...» и другие — встречалось громом аплодисментов.

В Омск Леонид Мартынов уже не вернулся, навсегда оставив свой родной город, которому он посвятил немало прекрасных произведений...

В послевоенные годы мне по служебным делам часто приходилось бывать в Москве. Почти каждый приезд я встречался с Мартыновым у него в Сокольниках или, чаще всего, в Орликовом переулке в здании ОГИЗа. Помню, однажды, закончив дела в ОГИЗе, я собрался идти обедать в ресторан «Иртыш». Он находился на углу Охотного ряда (ныне проспект К. Маркса) и Рождественки (ныне ул. Жданова), в подвальчике. Сводчатые стены его были разрисованы видами реки, под которой надо было понимать Иртыш, и изображениями различных рыб. Теперь на этом месте стоит магазин «Детский мир». Знаменит был этот ресторан тем, что в нем всегда имелась в меню осетрина с хреном, и сибиряки любили бывать в нем...

В коридоре я встретил Леонида Николаевича, который заходил в ОГИЗ по своим делам, и мы пошли обедать вместе. Мартынов предложил пройтись пешком — он очень любил пешие прогулки,— и мы пошли по улице Кирова к ресторану.

Мартынов шагал размашисто и быстро, казалось, что, идя, он преодолевает сопротивление, подобно человеку, идущему против сильного ветра. Эта манера мне была хорошо знакома по Омску. И я приготовился к быстрой ходьбе...

Но Мартынов сначала сдерживал темп, а потом, забывшись, перешел на свой привычный шаг...

Мы стремительно шли по улице, обгоняя людей и разговаривая о новых работах Мартынова. Он читал мне стихи, а я на ходу комментировал услышанное. Мартынов то соглашался, то возражал. Он не был упрямым человеком, как его считали многие, и всегда прислушивался к критическим замечаниям. Так мы незаметно дошли до ресторана, и там разговор пошел об очередном выпуске «Омского альманаха». Я попросил его дать для альманаха что-либо из его произведений. Мартынов обещал подумать, но сразу же сказал, что стихи дать не сможет, а попытается написать что-либо в прозе. В эти годы он занимался переводами, его собственные стихи в печати не появлялись. Я согласился и на прозу, хотя рассчитывал на новые стихи Мартынова...

По возвращении в Омск я получил от Мартынова рукопись очерка «Иртыш течет в будущее», сдал его в альманах. Вскоре я ушел из издательства, очерк так и не появился в печати. А жаль!.. В нем Мартынов с удивительной прозорливостью рисовал будущее Омска — дворец-пристань в устье Оми, многоэтажные дома на берегу Иртыша, набережную...

После выхода книги стихов Леонида Мартынова в издательстве «Молодая гвардия» в 1955 году имя его стало все чаще и чаще появляться в печати. Мы, его земляки, с радостью следили за его успехами, за отзывами критики, за признанием его таланта в нашей стране и за рубежом. Это радовало нас и потому, что голоса омских недоброжелателей теперь замолкли.

Мне посчастливилось видеть его триумф в Москве. Было это 26 ноября 1967 года в Концертном зале имени Чайковского. Там состоялся творческий вечер поэта.

В зале было много молодежи, и это было понятно — Мартынова полюбили молодые читатели. Но было и немало людей среднего и старшего возраста и даже старых. Поэзия Мартынова пользовалась популярностью у людей всех возрастов. Да иначе и не могло быть — его стихи пронизаны идеями гуманизма, мира, адресованы как современникам, так и будущим поколениям...

Мастерски читал стихи Мартынова артист Борис Моргунов. Со сцены звучали многие стихи Мартынова, полу-

чившие всеобщее признание, вошедшие в сокровищницу советской поэзии,— «Царь природы», «Скоморох», «Подсолнух», «Эхо», «Еще черны и ус, и бровь...», «Грусть», «Любовь», «След» и много-много других стихотворений... Каждое из прочитанных стихотворений встречалось бурными аплодисментами... Это был подлинный триумф поэта, другого слова я не могу подобрать! И сейчас, много лет спустя после этого публичного чтения стихов Леонида Мартынова, меня не покидает ощущение радости оттого, что мне удалось быть свидетелем такого яркого признания таланта моего земляка, замечательного советского поэта Леонида Мартынова.

1984



СЕЙСМОГРАФ И ДВИГАТЕЛЬ ДУШ[1]

А ведь мы с Мартыновым ходили разными, казалось бы, непересекающимися путями, к тому же параллельно вьющимися горными дорогами, так что по всем правилам школьной геометрии не должны были встретиться никогда.

Но если что-нибудь было в нашей жизни неслучайным, так это наша встреча — поэтов, людей.

Все чаще возникавшие и все более грозно громоздившиеся скалы крутого склона теснее и теснее сдвигали наши дороги — и встреча стала неизбежной.

Произошла она так.

Зимой 1945 года после долгого, очень долгого отсутствия я снова пришел в гости к Николаю Асееву.

Этого сухощавого, словно трижды перетянутого нервами поэта я уважал. Немалую роль играл тут и Маяковский, вернее, их общая борьба за новаторство во всем, их долголетняя дружба.

Я смотрел на Асеева. Он смотрел на меня.

Смущенные всем, что знали, скрывали, не высказывали, мы молча пожали друг другу руки.

Затем, чтобы как можно скорее обойти все, что разумнее было обходить, Асеев невнятно, скороговоркой задал несколько вопросов, и мы оба почти с облегчением перевели разговор на поэзию...

Строгий в суждениях Асеев, видно все еще переключая свое волнение, возбужденно назвал имя поэта, которое я еще не слышал.

— Думаю, что он один из наших крупнейших поэтов,—

---

[1] Перевод с венгерского Агнессы Кун. Печатается в сокращении. Полностью опубликовано в качестве вступительной статьи к книге стихов Леонида Мартынова, изданной в Будапеште.

заявил Асеев, да так воинственно, будто именно меня вот уже сколько лет не может убедить в этом.

— А сколько же лет молодому человеку?

Асеев оскорбленно вскинул голову.

— Молодому человеку, говорите? Сорок лет! Поняли?! И выпустил он уже не одну книжку стихов... Да каких! Почему же тогда он столько лет не печатался? Это другой разговор! Самое главное, что книжка его пошла наконец в типографию. Называется она «Лукоморье». Весной выйдет... Прочтете и увидите, что он один из наших крупнейших поэтов...

Замолк. Потом, словно убеждая самого себя, добавил:

— А может быть, и самый большой.

...Когда тебе попадает в руки незнакомая, вернее сказать, настроенная на новую волну книга, тем более сборник стихов, поначалу ты всегда поражен. Приходится и душу настраивать на другую длину волны, которую к тому же обычно глушат привычные, ревнивые, перерастающие в грохот звуки. Но вот, преодолев муку первого восприятия, отогнав врывающихся ревнивцев, ты настроился на новый звук, и — увы! — бывает, что напрасно. Ты слышишь звук, но он остается чужим, прибор души не позволяет его принять.

Совсем иначе произошло с «Лукоморьем».

Душа — и не только моя — давно уже истосковалась по стихам, настроенным на более высокую частоту волн — эпохи. Переживания законных и беззаконных событий последних полутора десятков лет жаждали быть выраженными.

И вот я начал читать:

Замечали —
По городу ходит прохожий?
Вы встречали —
По городу ходит прохожий,
Вероятно, приезжий, на нас не похожий?
То вблизи он появится, то в отдаленье,
То в кафе, то в почтовом мелькнет отделенье.
Опускает он гривенник в щель автомата,
Крутит пальцем он шаткий кружок циферблата
И всегда об одном затевает беседу:
— Успокойтесь, утешьтесь — я скоро уеду!
Это я!
Тридцать три мне исполнилось года.

Я быстро высчитал: стихотворение было написано в том самом злополучном 1937 году.

Точно затемненный город в кровавом отблеске ракеты, передо мной мгновенно вырисовалась судьба поэта, который написал это стихотворение, а теперь отдал его читателям:

Проникал к вам в квартиры я с черного хода,
На потертых диванах я спал у знакомых,
Преклонивши главу на семейных альбомах.

. . . .

«Это гость,— вспоминали вы,— гость не незваный,
Но, с другой стороны, и не слишком желанный»...

. . . .

— Это гость,— поясняли вы мельком соседу
И попутно со мной затевали беседу:
— Вы надолго к нам снова?
— Я скоро уеду!

. . . .

— Напрасно торопитесь. Чаю попейте!
Отдохните да, кстати, сыграйте на флейте! —
Да! Имел я такую волшебную флейту...
Разучил же на ней лишь одну я из песен:
«В Лукоморье далеком чертог есть чудесен!»

. . . .

...Реки, рощи, равнины, печаль побережий
Разглядели? В тумане алеют предгорья.
Где-то там, за горами, волнуется море.
Горы, море... Но где же оно, Лукоморье?
«Где оно, Лукоморье, твое Лукоморье?»

И я вожу глазами по строкам. Дальше, дальше. Не листал, а дергал страницы. Каждое стихотворение было для меня эмоциональным потрясением. Кроме поразительной смелости эти стихи излучали, как излучают и по сей день, красоту, от которой дух захватывает.

...Строки стихов Мартынова перекликались друг с дружкой, лились, переливаясь, искрились. По-мужски стенали и даже в тревоге кричали с гордо поднятой головой. Я понял мир! Я понял свою эпоху! Но я есть я! Я есть, и я буду! И «я» не только «я», но и «ты». В подлинном «я» всегда заключено и «ты», и «вы», и «все» — без этого «я» только кукла в витрине. Похожа на человека, но безжизненна. Мне нет дела до нее!

Поэтому-то и я и другие мгновенно поняли стихи Мартынова, потому-то их накал стал всеобщим.

* * *

Месяцами ходил я под впечатлением «Лукоморья». Чувствовал, что эти стихи поселились во мне навечно, и мало того что не вносили за это платы, но я платил им данью

благодарности. «Спасибо!»— говорил я Мартынову, которого еще и в глаза не видал.

И спрашивал у всех, где ж он, этот Мартынов. Один отвечал: «Мартынов? Он живет в Сибири». Кое-кто утверждал, что в Вологде. Другие уверяли, что видели его в Москве, но где он обитает, никто из моих знакомых не знал.

Это было странно и не странно. Сам же он писал в «Прохожем»: «То вблизи он появится, то в отдаленье, то в кафе, то в почтовом мелькнет отделенье... И всегда об одном затевает беседу: «...Успокойтесь, утешьтесь — я скоро уеду!»

Однажды кто-то бросил о нем замечание, которое позволило мне понять строки стихотворения «Путешественник»: «Друзья меня провожали в страну телеграфных столбов», туда, где «Молчание» и «на горизонте толпятся немые столбы».

Да и как же мне было не понять! Ведь и я побывал в местах, где царило молчание и на горизонте толпились немые столбы!

...Впрочем, Мартынов тогда уже давно жил в Москве, только отстраняясь от литературной среды.

И писал стихи. Огнеупорные, вихреустойчивые. Они и были его товарищами, да еще та женщина, чье сердце он «открыл ключом».

...Я примирился с тем, что пока мне вряд ли удастся встретиться с поэтом Лукоморья.

...А между тем, пользуясь всеми средствами передвижения — плотами, телегами, поездами, самолетами,— плыло, ехало вместе с нами, летело над нами и несло нас время.

Прошло полтора года.

* * *

В декабре 1946 года, после нескольких часов переговоров с директором Гослитиздата, мы решили, что начнем знакомить советского читателя по-настоящему, на высоком уровне (в сущности, впервые по-настоящему) с венгерской классической поэзией. Первым пойдет в ряду Шандор Петёфи.

...После этого трое сели рядышком, ломая голову, кто же из русских поэтов (учитывая талант, культуру, заинтересованность и прочие обстоятельства) больше всего подойдет для перевода венгерских стихов. Эти трое были: Евгения

Федоровна Книпович, Агнесса Кун и автор этих строк.

После того как перебрали ряд имен — Пастернак, Тихонов, Маршак и другие,— Книпович, задумавшись, сказала вдруг:

— Мартынов! Он большой поэт, только...— И сделала такой жест рукой, который в те времена имел совершенно определенное значение.

Наступила мгновенная тишина, после которой Агнеш решительно сказала:

— Мартынов? Ну конечно, Мартынов! Только где его найдешь?

Четвертым к нам подключился телефон. Проводами-щупальцами, которые тянулись во все концы города, искал он Мартынова, но тщетно. И вдруг Книпович воскликнула:

— Да я спрошу сейчас у одной своей приятельницы!

Та продиктовала его адрес, который звучал довольно странно.

— 11-я Сокольническая, дом 11, квартира 11.

— Телефон есть у него?

— Телефон? У Мартынова?!

* * *

В Сокольники мы поехали на метро.

Окраина.

Снег по колено.

Это были еще послевоенные годы.

Мы искали улицу 11-ю Сокольническую. Кое-кто из встречных пытался нам объяснить. Туда-сюда. Налево-направо. Наконец нашли и улицу и дом, что было уже вовсе не просто, ибо на табличке номер давно почернел.

...Вот уже много лет, как у Мартынова хорошая квартира в одном из самых новых кварталов города, на Юго-Западе. Но когда я вспоминаю, перед глазами у меня до сих пор встает та квартира, та комнатушка на трижды 11, хотя сколько ни просил я позднее Мартынова, он ни за что не хотел поехать со мной туда, видно не желая «потрафлять» моей чувствительности.

...Двухэтажный деревянный дом. Сколько ему лет? Ого, сто пятьдесят? Кто знает? Сколок старой России.

Жалкий палисадник. Несколько деревцев, заснеженных декабрем. Хромые окна.

Чтобы подойти к двери, пришлось обойти дом.

Дощатое крылечко. Сени. На дверях мелком выведено «11».

Скрипучая дверь. В двух шагах от нее вторая.

Отворяем ее.

Облако пара наскакивает на нас, хочет вытолкнуть. За дверью напротив живет Мартынов.

Стучим.

Русская, очень русская женщина стоит в конце комнаты, как показалось тогда, далеко от нас. (Когда мы ходили туда уже часто, я все удивлялся тому первому впечатлению — «далеко от нас»,— ведь и вся-то комната была малюсенькой.)

Мы представились.

Женщина, стоявшая в темном халатике у окна, внимательно, как-то успокаивающе-внимательно посмотрела на нас и после некоторого раздумья медленно произнесла красивым низким голосом:

— Да, я знаю вас. Я жена Мартынова. Нина Анатольевна.

И, не сходя с места, без малейшей вежливой улыбки, но все же доверительно назвав мужа уменьшительным именем, добавила:

— Леня сегодня поздно вернется.

Мы огляделись. И, хотя мы и сами-то прошли огонь и воду, все-таки, пораженные, оглядывали «обстановку» поэта.

Жена Мартынова заметила наше смущение.

— Нет! Нет! — произнесла она еще спокойнее и так, будто мы уже тысячу лет были знакомы.— У нас теперь все в порядке. Лене повезло, он получил переводы. Да! — промолвила она с такой же решительно мягкой серьезностью, с какой представилась нам.

Мы записали наш адрес. Тот самый, незабвенный, на улице Фурманова.

Мартынова взяла записку, внимательно прочла ее и спросила, по какому делу мы пришли. Мы сказали. Она проводила нас в сени и там повторила то же самое, что объяснила уже в комнате: как пройти кратчайшим путем к Сокольническому метро.

И тщетно мы просили ее вернуться в комнату, ведь вышла она без пальто на мороз. Мартынова скрылась за дверью лишь после того, как убедилась, что мы взяли правильное направление.

* * *

На другой день, часов в двенадцать, из прихожей донеслось неуверенное дребезжание, как будто сам звонок колебался.

В дверях стоял высокий мужчина в потертой меховой тужурке.

— Мартынов!

Вошел. Остановился, не снимая зимней одежды. Ждал: что-то ему здесь предстоит?

Чуточку скосившись, осторожно, чтоб мы не заметили, произвел он «смотр местности».

Прихожая. Одна дверь, вторая, третья. Отдельная квартира.

«Кто они такие?»

Моя роль в советской литературе 30-х годов была ему, оказалось, известна, отлично знал он и о том, что случилось потом.

«Все это ладно. Ну а теперь-то что?»

Мы ввели его в большую комнату.

Быть может, крашенные задолго до войны, потрескавшиеся стены, а может, и ветшайшая мебель пришла на помощь,— во всяком случае, Мартынов, казалось, успокоился слегка.

Я, как и всегда, сразу взял быка за рога, сказал, что мы хотим от него, и так же без всякого перехода — что читал «Лукоморье». Показал ему книжку. Агнеш тут же наизусть стала приводить особенно понравившиеся ей строки.

Мартынов слушал с удивлением и, хотя улыбался, все-таки напряженно сидел на краешке стула, словно готовый в случае первого же неприятного слова подняться и уйти.

Самым странным показалось нам, что, когда мы хвалили его стихи, он сразу закрывал глаза. (Теперь-то я знаю уже: он хотел отделить похвалу от нас, сделать ее безличной. Защищался, чтобы не расположиться к нам, пока мы не прошли «испытательный срок».)

А когда открывал глаза, то во влажно-раскаленной глубине мальчишечьих глаз темнела недоверчивость человека, которого вынудили стать взрослым.

Мы прочли ему кое-какие подстрочные переводы моих стихов. Он слушал. И тут будто впервые смягчилось доверчивостью напряженное выражение его лица.

— Да их ни один журнал не напечатает,— сказал он.

И я, ожидая вежливый отказ, услышал вдруг: — Дайте я переведу.

Он взял рукописи подстрочников, прочел их, причем с поразившей меня быстротой. Только взглянет и уже бормочет: «Да... да...»— и следом идет вариант строки. Я решил про себя: это, мол, потому, что стихи коротенькие.

Позднее выяснилось, что и длинные стихи, более того, и поэмы он читает так же, листая, словно разом фотографируя их.

Только этим могу я объяснить, что Мартынов прочитывал в день две-три книжки, что он не только пробежал глазами всю эту массу книг, из которой можно было бы составить городскую библиотеку средней величины, но и сохранил их в кинофотоархиве памяти и в любое мгновение может вытащить их оттуда, рассказать о них.

...То много лет назад написанное стихотворение, которое вызвало на лице у Мартынова первые признаки доверчивости и которое он перевел мгновенно, звучит так:

Снежный вихрь — не видно света!
Я укроюсь!
А за снежною стеною — сердца
пламенная алость,
будто вишня на морозе между
хрупких снежных веток
удержалась!

* * *

Случилось это на третий день нашего знакомства. (Пусть никто не пугается, я не собираюсь рассказывать обо всех событиях более пяти тысяч дней, что мы провели вместе, но этот третий день, точно лейтмотив увертюры, определил и сопровождал потом всю нашу борьбу с то и дело наваливавшимися на нас глыбами трудных лет. «Спиной к спине», как писал об этом Мартынов, стояли мы друг к другу и, точно копья, бросали все новые и новые стихи, защищая от недостойных достоинство человека.)

Позднее, вспоминая кое о каких событиях тех лет, Мартынов гордо писал:

Ведь бывало и похуже.
А потом в итоге
Оставались только лужи
На большой дороге.

Надо отдать ему должное, что и в самые трудные минуты жизни в утешенье себе и нам Мартынов уверял, что: «Ничего, ничего, ручеек пересох, только в русле его серебрится песок...»— и не забывал повторять. что:

Когда ненастья черный веер
Разводит на море волну,
Моряк хватается за леер:
— Ну, ничего,
не утону.

Нам первым прочел он и стихотворение «Чистое небо», заглавие которого обошло полмира в виде названия кинофильма.

...Одним словом, случилось это на третий день. В «Литературной газете», в статье о вышедшей в Омске книге стихов Мартынова «Эрцинский лес», было написано, что если Мартынов пойдет и дальше по такому пути, то дорога его разойдется с дорогой советской поэзии.

Что это означало, вернее, каковы могли быть последствия подобного заявления в декабре 1946 года, заявления, не случайно высказанного на страницах печати, знает только тот, кто жил в ту пору.

Одно из стихотворений, вызвавшее «особое возмущение» автора статьи, звучит так (с тех пор оно не раз перепечатывалось):

И по земле моей кочуя,
Совсем немногого хочу я:

Хочу иметь такую душу,
Чтоб гибло все, что я разрушу;

Хочу иметь такую волю,
Чтоб жило все, чему позволю;

Сердце хочу иметь такое,
Чтоб никому не дать покоя;

Хочу иметь такое око,
Какое око у пророка.

Вот что хочу, хочу глубоко!

Помрачнев, читали мы статью.

Мартынов обещал прийти к двум часам дня и принести первый перевод Петёфи.

В два часа, без секунды опоздания (такая абсолютная

точность, антибогемность — одна из очень характерных черт Мартынова), задребезжал звонок.

Я отворил дверь.

Мартынов стоял на лестничной площадке, не переступая порога.

— Читали «Литературную газету»?

— Читал,— ответил я.— Ну и что?..

— После этого мы, конечно, не сможем работать вместе?

И, словно заранее зная, какую боль причинит ему ответ, он закрыл глаза.

Я рывком втащил его в переднюю. Закрыл обе двери и сказал:

— Только теперь-то и будем работать по-настоящему. Дурень вы!

Он не обиделся на последние слова.

Вместе с Агнеш помогли мы ему снять потертую меховую тужурку и, с двух сторон взяв под руки, повели в комнату.

— Эта статья будет не вашим позором,— сказала Агнеш.

— Знаю,— ответил Мартынов и вынул из кармана первое переведенное им стихотворение Петёфи.

Стоял. Глаза красные. Видно, всю ночь работал. И он не прочел, а словно бы прогудел все стихотворение:

От круч Карпат до нижнего Дуная
Бушует вихрь. И виден в вихре том
Мадьяр со спутанными волосами
Над окровавленным челом.

(Спустя много лет Мартынов рассказал, что, переводя это стихотворение, он думал обо мне. Я же и тогда, и позже, и каждый раз, когда слышу или читаю это стихотворение, вспоминаю его, Мартынова, который, стоя на пороге, говорит: «После этого мы, конечно, не сможем работать вместе?»)

В тот день проставили мы первую печать на грамоте нашей дружбы. Печать эту скрепил Шандор Петёфи.

* * *

«Но какой же я переводчик?» — спрашивает в одном сердитом стихотворении Мартынов. Конечно, не только переводчик. И в первую очередь не переводчик.

...Поэт шел из Сокольников пешком. Туда-обратно сем-

надцать километров. Но это хорошо! «Ноги заняты — голова работает как надо!»

И так под то убыстрявшийся, то замедлявшийся шаг готовилось стихотворение. Бывало и наоборот: ноги шагали под быстрый или медленный ритм стиха.

И только какое-нибудь уличное происшествие, витрина, любопытный прохожий или девушка заставляли поэта останавливаться, конечно если строчка или образ были готовы... А если нет?.. Он шел дальше... Но то же самое происшествие, витрина, прохожий, клочья людских дыханий на морозе, луна, по грудь ушедшая в нагое дерево,— все это когда-нибудь позже входило в его стихи, да так органически, что вытолкнуть их оттуда не удавалось ни бормочущим эстетам, ни круглым невеждам от поэзии.

Едва он входил к нам, едва закрывал дверь за собой, едва стряхивал снег с шапки, как тут же подносил своего новорожденного, созданного либо на улице, либо еще дома, уложенного на бумагу.

Мне почему-то кажется сейчас, будто он ходил к нам всегда зимой.

Признаюсь, что в те дни, когда то его, то меня сотрясали все новые и новые толчки землетрясения и Мартынов от волнения, бывало, даже не мог стоять в комнате на месте — его ноги и длинные руки ходили ходуном, точно паруса ветряной мельницы,— признаюсь, что в те дни меня не раз покидала добрая надежда.

И однажды в таком состоянии я прочел Мартынову свое стихотворение, одна строфа которого звучала так:

А на дворе все ширится, ярится зима,
Когти вонзает в меня и глумится к тому же:
«Больно?»
Теперь здесь я буду владыкой —
Весну пожру и лето съем!

И тут каким-то неожиданным поворотом волнение Мартынова вступило в единоборство с моим. Случалось и наоборот. Контрстихом пытался он прогнать мою безысходность. И обычно на другой же день, мрачно-счастливый, слушал я этого «беспощадного оптимиста», как окрестил его, который, будто «неопровержимое доказательство», приводил свое новое стихотворение:

Примерзло яблоко
К поверхности лотка,
В киосках не осталось ни цветка,

Объявлено открытие катка,
У лыжной базы — снега по колено;
Несутся снеговые облака.
В печи трещит еловое полено...

Все это значит, что весна близка!

Кому охота, пускай поспорит с Мартыновым — предчувствовал он или, так сказать, предзнал весну. По-моему, знал, потому и чувствовал заранее. Ведь

История есть достояние общее,
А не каких-нибудь отдельных лиц.

...Сколько же стихов покидало в те годы горн этого человека, все накаливавшего до чистопробной поэзии! Работал он чуть ли не день и ночь. Я думаю, так оно и было в буквальном смысле слова. Очнувшись от сна, выскакивал он из постели, в темноте набрасывал строки на бумагу:

Люди
В общем
Мало знают,
Но они прекрасно чуют,
Если где-то распинают
И кого-нибудь линчуют.
И тогда творцов насилья
Люди смешивают с пылью,
Сбрасывают их со счета.
Не по людям их работа!

Этот гордый поэт гордился своей сущностью человека, своей творческой силой, неистребимой жизненной силой людского коллектива.

С глубоким убеждением говорил он не раз (и только дураки смеялись над ним), что «Каждый человек умеет писать стихи, рисовать картины, сочинять музыку, короче говоря — преобразовывать мир — только захотеть надо!» И тут же лез в спор: «Что, не так, по-вашему?» И добавлял с детской мальчишеской самоуверенностью свою привычную и вовсе не тщеславием рожденную присказку: «Я ведь никогда не ошибаюсь! Я всегда прав!»

Как я сразу узнал его — да и до сих пор узнаю в том стихотворении, где он писал о самом себе, которого ни жена, ни друг не могли уговорить надеть шубу и в тридцатиградусный, даже железо добела кусавший русский мороз, хотя у него была уже на это возможность. Он-то ведь связал свою судьбу с бесшубным людом:

Вот так
Борец,
Почти поборот,
Оказывается наверху,

Один
Через морозный город
Я шел без шубы на меху.

Я и сейчас вижу, как он легкой, скользящей походкой идет по городу, по Москве, заходит к букинистам, где на него уже и внимания не обращают — так привыкли,— сам хватает добычу, платит и уносит под мышкой. Потому что он, Мартынов, должен пройти и через книги, должен узнать все важное, все существенное, а все несущественное он пропускает мимо себя, как телеграфный столб ветер.

«Пусть себе дует. Перестанет. Пока еще всегда переставал».

Точно радар, принимает он волны со всего света и прежде всего откликается на биение сердец в своей огромной Советской стране. Потому-то, когда тупонервные люди еще не чувствовали весны, он уже говорил:

Все-таки
Разрешилось,
Больше терпеть не могла,
Гнев положила на милость.
Слышите:
Градус тепла!

* * *

...В 1959 году, после почти четырех десятилетий жизни и переживаний, которых хватило бы на четыре столетия, мы возвращались из Москвы в Венгрию.

Неделями прощались: с городом, с окрестностями, лесами, небесами, улицами, домами и, конечно, с людьми.

Наступил самый трудный час.

Возбужденно-напряженные стояли мы на перроне Киевского вокзала возле готового к отбытию состава.

Столпившиеся друзья, товарищи — а их собралось очень, очень много,— все говорили нам что-нибудь на прощание, кто советом, кто шуткой стараясь скрыть чувства. Один лишь Мартынов молчал, будто ему и дела нет до нас. Кто-то спросил его: «Что с вами? Поначалу он ничего не ответил, потом, будто только что осознав, что тут творится, буркнул: «Уезжают».

Целую кучу писем к нам он написал тоже в стихах, правда не ломая их на традиционные стихотворные строчки. Да и к чему бы! Ведь и слова он тоже не ставил на котурны. В этих стихотворных письмах он беседовал так, будто сидел с нами за столом. И все-таки напряженность, ритм, поразительные образы, то и дело взрывающие друг друга рифмы, перебои мыслей и чувств превратили в стихи эти письма, в которых частенько ставились и давались ответы на самые будничные вопросы.

К чему бы ни прикоснулся этот поэт-Мидас — все у него превращалось в поэзию.

Как каждый подлинный поэт, Мартынов — существо нравственное.

Почти с грустью спрашивал он самого себя:

Какой ты след оставишь?
След,
Чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или
Незримый прочный след
В чужой душе на много лет?

Мартынов презирает столь распространенную и среди художников манию величия, но вместе с тем он без ложной скромности отдает себе отчет в собственной силе:

Мне кажется, что я воскрес.
Я жил. Я звался Геркулес.
Три тысячи пудов я весил.
С корнями вырывал я лес,
Рукой тянулся до небес,
Садясь, ломал я спинки кресел.
И умер я... И вот воскрес:
Нормальный рост, нормальный вес —
Я стал как все. Я добр, я весел,
Я не ломаю спинки кресел...
И все-таки я Геркулес.

Мартынов — поэт действия, а не примирения.

А мы
На солнце вызываем бури,
Протуберанцев колоссальный пляс.
И это в человеческой натуре —
Влиять на все, что окружает нас.

Это на первый взгляд нескромное, но в конечном счете научно подтвержденное убеждение есть ключ для понимания поэзии Мартынова. И если хорошенько задуматься, то смело можно начертать в виде девиза на челе нового искусства

XX века: Все влияет на нас, но и мы на все влияем.

Ни одно веселое слово не прозвучит в мире без того, чтобы атомы воздуха не донесли к нам хоть крошечку его веселья, и ни одна слезинка не выпадет, чтобы атмосфера не принесла к нам хоть капельку-догадку, что где-то плачет человек.

Мартынов слышит гул колес истории и поэтому не сомневается, что

Он и назад не возвратится —
Вчерашний день,
Но и в ничто не превратится
Вчерашний день,
Чтоб никогда мы не забыли,
Каким огнем
Горели дни, когда мы жили
Грядущим днем.

Мартынов никого, и прежде всего самого себя, не желает освобождать от ответственности. По его мнению, настоящий поэт только тот, кто не молчит, не бежит всего, не творит литературу по принципу «что прикажете», а носит свое сердце поверх рубахи.

Он, как и все настоящие поэты, сейсмограф и двигатель душ. Есть поэты, чьи стихи словно кирпичи, свалившиеся с товарной платформы: валяются врозь, не собираются в здание, поэтому утрачивают свое назначение. Становятся скучными. Их забывают.

Поэзия Мартынова — это здание.

* * *

Электричество, радио, самолеты, мчащиеся быстрее звука, искусственные луны, отталкивающие упрямое притяжение Земли, потрясающую страсть разлучающихся и обнимающихся атомов, щекочущие звезды лучи лазера — все это человек создал не для того, чтобы самому погибнуть, а для того, чтобы стать от них сильнее и свободнее.

Трудная это борьба, не правда ли, товарищ Мартынов?

Но разве было когда-нибудь легко человеку, поэту, у которого такое сердце, что на нем, словно на глобусе, умещаются не только люди своей страны, но и народы всего мира?

1967

Борис Слуцкий

О Л. Н. МАРТЫНОВЕ

Мартынов знает,
какая погода
Сегодня
в любом уголке земли:
Там, где дождя не дождутся по году,
Там, где моря на моря стекли.

Мартынов идет мрачнее тучи:
— ?
— Над всем Поволжьем опять —
ни тучи.
Или: — В Мехико-сити мороз.
Опять бродяга в парке замерз.

Подумаешь, что бродяга Гекубе?
Небо над нами — все голубей.
Рядом с нами бодро воркует
Россыпь общественных голубей.

Мартынов выщурит синие, честные,
Сверхреальные свои глаза
И шепчет немногие ему известные
Мексиканские словеса.

Тонко, но крепко, как ниткой суровой,
Он связан с этой зимой суровой,
С тучей, что на Поволжье плывет,
Со всем, что на этой земле живет.

Марина Чуковская

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Тридцать лет знала я Леонида Мартынова. Много ли это? И да и нет... Узнать за эти годы такого человека, как Мартынов, конечно, невозможно. Но вот штрихи к его портрету.

Ярко врезалось в память наше знакомство.

Весной 1950 года правительство Венгрии наградило орденами русских переводчиков стихов венгерских поэтов. Приглашены в посольство были и жены, и я пришла вместе с Николаем Корнеевичем. И там впервые увидела Мартынова. Он был высок, сухощав, голубоглаз, с густыми светлыми волосами, моложав. Мы держались вместе. А когда торжество кончилось, Гидаши предложили зайти к Тихоновым. Вышли поздно. Прелестный майский вечер. Оживленно болтая, пошли пешком. Прошли с улицы Воровского переулочками, пересекли у памятника Гоголю (тогда стоял еще старый отличный памятник) Гоголевский бульвар, спустились по улице Фрунзе, и вот мы у Тихоновых. Несмотря на позднее время, те не удивились нашему появлению. Гидаши и Мартыновы были дружны с Тихоновым и его женой, а мы знали их испокон веков еще по Ленинграду. Мы рассказали о приеме, о награждении, Тихонов стал читать стихи, и мы поздно ушли от них...

А Николай Корнеевич познакомился с Мартыновым раньше. Когда в 1946 году Агнесса Кун, жена Гидаша, подбирала переводчиков для венгерской антологии, Мартынов сказал ей: «Надо привлечь Николая Чуковского. Он отлично перевел «Улялюм» Эдгара По. С этого и пошло. И Мартынов мне сам рассказывал об этом. И действитель-

но, переводчики были сильны и переводы получились отличными.

После знакомства с Мартыновым я стала часто встречать его на Арбате, хотя жил он в Сокольниках. Неуемный книголюб, он ходил по арбатским букинистам — или до, или после визита к Гидашам, которых навещал ежедневно. Легко одетый даже зимой — он уверял, что никогда не мерзнет,— устремляясь вперед, он как бы летел по улице, не замечая никого и ничего. Встретимся — и он либо идет меня провожать, либо мы стоим и долго болтаем. О чем? Да решительно обо всем. Совсем необязательно о поэзии! Стал заходить к нам, еще ближе сошелся с Николаем Корнеевичем.

Нину Анатольевну, жену Мартынова, я еще не знала. Познакомилась с ней в 1955 году. Отмечалось пятидесятилетие Леонида Николаевича. Было чествование в Союзе писателей, и она пришла. Скромная женщина с добрым и гордым лицом. Об их быте рассказывали фантастические вещи. Жили они в Сокольниках, в неописуемой тесноте... И на юбилее Союз писателей выделил Мартынову квартиру — отдельную двухкомнатную квартиру со всеми удобствами, в какой им еще никогда не приходилось жить.

Когда они переехали, мы стали бывать друг у друга. Радушно, просто и хлебосольно принимала гостей Нина Анатольевна. Но гости, приходившие не по делу, отбирались очень придирчиво: близких друзей было немного. И глубоко в свою жизнь они не очень-то впускали — осторожно, исподволь. Деликатно, но с истинным участием относились они к друзьям, а если нужно было, шли на помощь, чем могли. Ниночка добрая, спокойно-мудрая. А у Мартынова, казалось мне, все кипит внутри, но внешне он держался собранно. Отношения его с женой были поразительны — он был предан ей безмерно, волновался из-за ничтожного недомогания, негодовал, если она обменивалась поцелуем с приятельницей — а вдруг у той насморк или грипп и Ниночка заразится?! Когда случалось ездить за границу, никогда не оставлял ее одну — всегда вызывался кто-нибудь из близких. А она всю жизнь посвятила ему (детей у них не было).

Обстановка в квартире у них была проще простого. Вернее — никакой обстановки, только самые необходимые вещи. И книги... Мартынов покупал все книги, которые считал

интересными для себя, выписывал множество газет и журналов, включая и журнал мод. Моды были для него элементом человеческого бытия. В стихотворении «Моды» он говорит:

Но нравятся мне современные моды:
Недаром об этом и грезил я с детства,
В голодные, голые, босые гóды,
Что люди блестяще сумеют одеться.

И прочитывал по возможности все. И все помнил. Память у него была редкостная.

Леонид Николаевич поднимался рано, выпивал чашку крепкого чаю — и за работу. Работал до 12 — и после легкого обеда они шли гулять. Или он шел один.

Летом, поклонники Коктебеля, мы с Николаем Корнеевичем всегда уезжали туда. И упорно уговаривали Мартыновых поехать тоже. Наконец — уговорили. И вот Мартынов на берегу моря. Среди камней, гор, скал. Днем дотемна бродил он по пляжу под солнцем в поисках удивительных сокровищ. Камни собирал крупные, в которых ему виделось какое-то изображение. Не гоняясь за качеством, ценимым коктебельцами,— всяческие сердолики и халцедоны были ему совершенно безразличны. Так и вижу его — ветром растрепаны светлые густые волосы, загорелый, в шортах, сильные тонкие ноги в сандалиях, распахнута рубашка... И, щурясь близоруко, ищет и ищет, наклонив голову, камни, которые при его взрывчатой пылкой фантазии принимают самые причудливые и необычные очертания.

В молодости он колебался — не стать ли художником? О том, как он приехал в Москву из Омска поступать во ВХУТЕМАС, рассказано в новелле «Маски по-вхутемасски». Не раз показывал мне альбом с акварелями и рисунками, очень необычными, сбереженный с давних лет.

Да разве только в камнях видел он фантастические очертания! Помню, как однажды он у нас заметил кухонную дощечку, от долгого употребления ножом выщербленную в серединке. «Да это мадонна! — вскричал он, держа доску на расстоянии и любуясь ею.— Кухонная мадонна! — разве вы не видите?» Раз как-то, гуляя с Николаем Корнеевичем по Коктебелю, Мартынов сказал: «Вы вот говорите, что у меня сильное воображение? Да, конечно. Вы вот видите фонарь, а я — нос и два глаза».

Как-то я уговорила его пойти в горы. Он долго уклонялся, ссылаясь на то, что Ниночка останется одна. Но раз согласился. Легко, словно птица, взлетал он на любую гору, и видно было, что подобная прогулка не доставляет ему никакого усилия. Усилия не доставляла, но и не доставляла того удовольствия, как нам, его спутникам. Что ж, исхожено в молодости было немало и такими ли проторенными туристскими тропами!

Коктебель Мартыновым понравился, и три лета подряд они ездили туда. Но больше в горы я его не заманивала.

В то время он был здоров и силен. Помню, как-то мы уезжали из Коктебеля раньше Мартыновых. Леонид Николаевич пришел проводить нас, схватил, смеясь, увесистый чемодан и, жонглируя им словно авоськой, понес к автобусу...

В Коктебель они перестали ездить после скоропостижной смерти Николая Корнеевича. «Все,— сказала Ниночка.— Теперь никогда больше в Коктебель не поедем...»

Экспансивно и жарко своих чувств они не выражали. Но когда умер мой муж, на другой день в «Литературной газете» появился некролог, написанный Мартыновым. На другой день... Даже в такую минуту я подумала: не ночью ли он писал его?.. А когда я вскоре пошла на кладбище и в полном душевном смятении вернулась домой, Леонид Николаевич уже ждал меня. Застенчиво, всей душой сочувствуя моему горю, он хотел утешить и ободрить меня как мог. Я не ожидала... Помню, все время наталкивал меня на работу, убеждая, что только в работе спасенье, что надо писать обо всем, что я помню. «Как вам не стыдно! — горячился он.— С детьми сидеть может всякий, а вот кроме вас, чему вы были свидетельницей, никто не напишет! Садитесь и пишите!!»

Забудешь ли об этом...

Еще крепче подружились мы, когда я осталась одна. И я ходила к ним, и они нередко приходили ко мне. Я любила наши встречи. Придешь, сядешь, и Леонид Николаевич сядет напротив. И, сощурив глаза, несколько минут глядит пронзительно, словно изучает тебя. Даже как-то неловко иной раз...

Все было интересно. Он читал новые стихи, по мере на-

писания читал одну за другой новеллы, составившие потом сборник «Воздушные фрегаты», взяв с меня чуть ли не клятвенное обещание, что я никому-никому не скажу о них, пока не напечатают,— верил в «сглаз». Я слушала повествование о далекой, неведомой мне Сибири, о писателях Сибири, о сибиряках, о людях, населяющих далекий Казахстан,— и молодость Мартынова, его неуемный интерес к миру, к стране, к людям живо вставали передо мной...

«Писать нужно правду, только правду! Ничего нет хуже полуправды»,— говорил он.

И слушателем был прекрасным. Вдумчиво и внимательно слушал, что рассказывали.

Меня удивляло, что, рассказывая или слушая, он закрывал глаза. Дремлет, что ли? Или не может скрыть своей скуки? И я как-то спросила его — почему? «Да просто, закрыв глаза, я лучше представляю себе то, что слушаю или о чем рассказываю,— вот и все...» В новелле «Аксакал с Кокчетау» он пишет: «...И, зажмурив глаза, восстановил в воображении не что иное, как книгу с гербом Акмолинской области...»

А ко мне, помню, Мартыновы приходили ровно в два — были очень точны во времени — и оставались частенько часов до десяти. И никак было не наговориться, хотя отнюдь не во всем наши взгляды совпадали. Никого у меня при наших встречах не бывало. Я знала их скованность в присутствии малознакомых людей. Что — знала! Вот у Мартынова в стихах:

Нелюдимая моя,
Ты любимая моя!

С нежностью, а не с укором за нелюдимость обращается он к любимой. И я помнила об этом. Почти всегда, когда я приходила к ним, вызывалось такси, и они оба провожали меня до дома, невзирая на мои жаркие уверения, что я привыкла ходить одна, что мне так просто доехать на метро, что поздний час меня нисколько не смущает. Нет. Они уверяли, что хотят прокатиться. А Леонид Николаевич еще и провожал до самых дверей квартиры. Если почему-либо поездка не получалась, я давала слово, что позвоню, чуть приду домой. Это уж было, когда они, Ниночка особенно, начали прихварывать.

Лето стали проводить в деревне. Я в Степановское приезжала в точно назначенное время, стараясь не опоздать и не явиться раньше указанного часа. Меня уже ждали. Леонид

Николаевич нетерпеливо переминался с ноги на ногу: ну скоро ли кончатся «дамские» разговоры и мы уйдем в лес? На руке — корзина для грибов, на ногах — резиновые сапоги. Идем быстро, уходим далеко. Дорогой — разговоры обо всем: и о литературе, и об истории, о космосе — на уровне моих знаний. Но главным образом Мартынов рассказывает о людях, с которыми сталкивала его жизнь. Писал же он в новелле «Аллея причуд»: «...надо вносить в рассказы о себе как можно больше ясности, человеколюбия, внимания к окружавшим тебя людям, так или иначе помогавшим формироваться твоей личности. А особенно надо быть внимательным к людям забытым, непрославившимся, канувшим в Лету...» Не замечательные ли слова?

Лес в Степановском хорош. Сухой, есть и березняк, и густой еловый. И грибы попадаются,— правда, неказистые, сыроежки да лисички. Но Леонид Николаевич ими не брезгует, все кладет в корзину! В лесу огромные песчаные холмы да ямы, и Мартынов с жаром начинает доказывать, что это не остатки войны, а становище — тут жили древние вятичи. И вот — раскопки. Кто знает!.. Об этом — стихотворение «Вятичи» и новелла «Курган среди асфальта».

Набродившись по лесу, выходим к реке. Обрывистый высокий берег, лениво текущая река в зеленых берегах. Красотища, да еще какая!.. Я вижу, что Леонид Николаевич любуется, но молчит.

Провожают меня вечером до автобуса, беспокоятся, как доеду, не соберется ли дождь, не вымокну ли, не возьму ли зонтика у них. Заботу ощущаю всегда. Тогда они были еще здоровы, болезни, так беспощадно расправившиеся с ними, только исподволь подкрадывались.

Всегда меня удивляло: как в нем уживается — застенчивость, смущение, что ли,— при непреклонной уверенности в своей работе, в правильности выбранного пути. Он не выносил публичных выступлений, никогда не читал «на публику» своих стихов. Это он-то!.. «...росшему в буйной атмосфере 20-х годов, участнику буйной ватаги футуристов...» А в двадцатом году — то есть пятнадцати лет — стал футуристом и сам называет выступления своих друзей «хулиганские выступления». Писать об этом нечего, все подробно написано в его новеллах. Я вспоминаю лишь о годах, когда его знала. За тридцать лет я ни разу не видела его в большом обществе. Только среди узкого круга друзей он чувствовал себя непринужденно. Несомненно, в молодос-

ти — непоседливой, бурной и даже вызывающей — было иначе.

Помню, как в 1973 году был большой вечер в ЦДЛ, посвященный Петёфи. Приехали Гидаши из Венгрии, присутствовали немногие еще оставшиеся в живых переводчики. Мартынов должен был выступить. Как он волновался! Больно было смотреть на него. Сгорбившись, вышел на эстраду, говорил невнятно, тихим голосом, хотя его встретили градом аплодисментов. После вечера я пошла проводить его до метро. «Скорей, скорей звоните Ниночке, скажите, что все сошло благополучно!»— нетерпеливо повторял он, пока мы шли. Ниночка — половина его души — волновалась дома не меньше его самого.

Шли годы,— не шли, а летели... И стали они прихварывать. Прочно засели дома, совсем прекратили хождение по гостям. Звоню я как-то, чтобы узнать, как здоровье,— и вдруг Галина Алексеевна, врач, лечившая всю семью, верный друг их, говорит: «Плохо. У Леонида Николаевича инсульт...» И его, несмотря на его протесты, кладут в больницу...

Он пролежал около двух месяцев. О Ниночкином волнении и говорить нечего... А когда вернулся домой, я едва не вскрикнула, увидав его,— куда девались его сухощавость, легкость! Он пополнел. И едва ходил. Он, привыкший шагать и шагать по земле всю прежнюю свою жизнь! Для него это было тяжким испытанием, но он мужественно смирился, не жалуясь. Сколько мог — столько ходил. Но работал без устали по-прежнему. На лето уехали в Степановское.

А там начала хворать Ниночка. Но мог ли кто-нибудь предвидеть, что конец так близок! Она все слабела, слабела... Но Леонид Николаевич гнал от себя страшные мысли. Правда казалась жестокой, незаслуженной, несправедливой... Недомогал и он. Сердце. Помню, раз я пришла — оба, как две большие куклы, вытянувшись, лежали на тахте. Обоим был прописан постельный режим. Впрочем, у Ниночки уже не было и сил вставать. Никаких жалоб — лежать так лежать. Так хотелось их хоть немного развлечь! Помню, я принесла с собой записанный мною в 1956 году рассказ о приезде Давида Бурлюка на дачу Всеволода Иванова в Переделкино и как любопытно и необычно проходил этот визит. Уж не знаю, развлекла ли...

И Ниночка умерла. Я прибежала. Растерянный, потрясенный, Мартынов стоял в прихожей. «Мог ли я предвидеть?» — в полном смятении повторял он.

Мы пошли на почту отправлять нужные телеграммы. Он медленно брел, опираясь на палку. «Увидел ее, увидела она меня — и все... Поняли, что друг без друга нам не жить... И так 47 лет...»

Утрата и горе его были невыразимы. Он не плакал, говорил о посторонних вещах, он даже подарил мне книгу переводов своих стихов на английский язык. Но горе его было таким безмерным, что казалось, я физически ощущала его.

...Хотя мне кажется, что сейчас
Это я больше умер, чем ты умерла,—

сказано в стихотворении на смерть Ниночки.

И на похороны он не пошел. И к поминальному столу не вышел.

Друзья чередовались, чтобы не оставлять его в одиночестве. Я приходила часто, мы с Галиной Алексеевной готовили, редактор нескольких его книг В. Сякин на время переехал к нему.

Пять стихотворений написал Мартынов на смерть Ниночки. Прочел мне.

— Дайте мне переписать их! — взмолилась я.

— Нет, пока не будут напечатаны,— твердо сказал он.

Но я слукавила. В. Сякин перепечатал их для меня. И, вчитываясь в них, я все острее и острее понимала, как велико его горе. А стихотворение про мотылька соответствует истине: на другой день после смерти Ниночки в окно залетел мотылек. И вот — прелестное, изящное,— и такое горестное стихотворение:

Прилетел в окошко мотылек
И у рук моих доверчиво прилег.

Прилетела вслед за ним пчела,
Может быть, Тобой она была.

И покуда сам я не исчез,
Я не трону никаких живых существ!

А ручьи?
Вы воплощенья чьи?
        А цветы?
        Ведь это тоже Ты!

Мучила его неотвязная потребность увековечить Ниночкину память, издать сборник стихов, написанных о ней, начиная с «Подсолнуха», где почти точно воспроизведена их первая встреча.

«Я долго жить не буду,— твердил он,— а жить очень хочу... Еще столько нужно сделать». Тяжелая и опасная болезнь вынуждала его не покидать постели. В больницу — ни за что! «Лучше я умру»,— повторял он. Ухаживала за ним Галина Алексеевна; когда она была занята на работе, приходилось нередко мне сидеть у его постели. Ежедневно приходил или звонил Виктор Григорьевич Утков.

Зимний день. Леонид Николаевич лежит на тахте. Рядом на письменном столе всегда букетик живых цветов или веточки багульника с нежными лиловыми цветочками без листьев. В комнате прохладно. Рано темнеет, и Леонид Николаевич поднимает руку, чтобы зажечь ночничок у себя над головой. Верхний свет слепит глаза. Мы беседуем неторопливо и вполголоса. Любит говорить он об ученых, приоткрывших тайны вселенной,— о Вернадском, о Циолковском, труды которых знает хорошо.

— Леонид Николаевич! Да ведь я-то этого не знаю! Я не читала... Я ведь невежда,— взмолюсь я, бывало.

— Ах, не читали, не знаете? — саркастически кривя губы, скажет он. Но не отрицает, что я и впрямь — невежда.— Не знаете? Так вот, об этом написано в этой книге. Вот, дайте-ка мне ее. Вот из этой стопки, под книжкой в черном переплете и над книжкой в зеленом...

И начинает рассказывать, развивая сложную мысль ученого. Часто напоминал, что 1980 год — год Неспокойного Солнца, что ученые давно готовились к нему. Рассказывая о далеких временах, о людях давно умерших, обращался к своему стихотворению «Второе бытие»:

Я к жизни возвратил немало мертвецов,
И встретиться помог я им, живые, с вами.
Затем, чтоб наконец и о земле отцов
Хотя бы несколькими перекинуться словами.

Но торопитесь же! Подозреваю я:
О первом бытии своем, негладком часто,
Спешат они забыть, второго бытия
Прекраснодушные энтузиасты!

Как-то стал вспоминать поэта Георгия Маслова, которого знал в 20-е годы, будучи еще подростком, и о котором написал в новелле «Пушкинист и футурист». Я сказала,

что хорошо знала его жену писательницу Елену Тагер.

— А, так вот о ней стихотворение «Вальс»! — И он по памяти прочел стихотворение Маслова, посвященное какой-то неизвестной Елене: — «Помнишь, Лена, первый вальс на бале, мы кружились до потери сил, и архивны юноши сказали, что тебя я, верно, покорил. Но бокалы до края напенив, увели меня с собой друзья, Александр Иванович Тургенев, улыбаясь, заменил меня...» А я и не знал!

И я рассказала, как, приехав в Ленинград в 1948 году, я зашла к нашей старой знакомой писательнице Софье Аньеловне Богданович. Жила она в писательском доме на канале Грибоедова. И что же? Первое, что я увидела, войдя в переднюю,— был портрет молодого Маслова, белокурого, голубоглазого, с открытым юношеским лицом, в студенческом мундире с красными отворотами. Портрет этот я неоднократно видела на квартире у Е. М. Тагер.

— Да откуда же у вас портрет Маслова? — воскликнула я.

— Так это Маслов! — с удивлением отвечала хозяйка.— А кого я не спрашивала, никто не знает, кто это. В этой квартире жила семья Тагер во время блокады, но мать и тетка ее умерли, а самой Тагер и ее дочери не было в Ленинграде, когда мы получили квартиру...

Я принесла Мартынову сохранившуюся в нашем архиве фотографию Тагер. Он долго и внимательно рассматривал ее.

— Так вот она была какая!.. Елена Тагер... Та Лена, с которой Маслов танцевал вальс... Да, интересно!.. А портрет надо бы передать в Пушкинский дом. Будете в Ленинграде — не забудьте.

А потом дремлет — устал. И я выскальзываю на кухню, чтобы приготовить еду,— отпускать от себя и оставаться один он не любит.

И вдруг мы чуть не поссорились.

Для зажигания газа у них была зажигалка, очень неудобная,— у Леонида Николаевича была странная идиосинкразия к спичкам. А я забыла об этом. И, мучаясь с несчастной зажигалкой, принесла из дома спички. Ничего не подозревая, я положила их на кухне. А Мартынов увидел. Боже, как он орал на меня!

— Вы что, не знаете, что ли, что я не переношу спичек? Так вот вы читаете мои книги! Вот как вы прочли «Воздушные фрегаты»! Там все сказано — черным по белому! И зачем вам дарить книги, если вы так невнимательны!

И еще, и еще, и конца не было его гневу. Когда наконец крик прекратился, я просто сказала:

— Да, я забыла, что об этом в «Воздушных фрегатах». В этом только моя вина — забыла... И я очень не люблю, когда на меня кричат понапрасну...

И замолчала. Что было делать? Обидевшись, уйти и оставить его, больного, одного? Возможно ли это?! Нужно переждать, пока уляжется моя обида, а там авось все пойдет по-старому.

Но минут через десять он встал с постели и приплелся на кухню.

— Давайте мириться...

И так был трогателен в своем раскаянии, что уж какая тут обида! Такие взрывы необузданного гнева случались с ним, и тогда он кричал на всех, и на Ниночку даже.

Часто он вытаскивал потрепанную книжечку с вклеенными страницами — антологию поэтов, с которой не расставался с юных лет. Кажется, это было киевское издание 1912 года. И читал оттуда стихи. Многие поэты, представленные там, давным-давно позабыты... Помню, он любил стихи Эренбурга о Франции и часто читал их. Об Эренбурге он говорил с любовью и уважением.

Ценил Есенина, особенно «Ключи Марии».

— Ведь они — пророческие... Там предвидение освоения космоса. Есенин не только лирически, но и космически мыслил,— утверждал он.

Помню, как он говорил, что ему нравится «Путешествие дилетантов» Б. Окуджавы, и постоянно корил себя, что вот хотел написать автору, да так и не написал...

— Мне нужно жить,— повторял он часто.— Я столько не сделал! Я еще не написал о Владимире Германовиче Лидине, а написать о том, как он приехал в Омск в начале революции, необходимо!

О Лидине он написать так и не успел, хотя читал мне начало новеллы.

Всегда непреклонно отстаивал свою работу — стихи ли, переводы, прозу.

Часто слышала от него, что хорошие поэты умеют писать и хорошую прозу, а вот прозаики стихи — нет!

Он проболел всю зиму. То ему становилось несколько лучше, то снова наступало ухудшение. Галина Алексеевна не покидала его, уйдя на пенсию и ухаживая за ним.

И только начала как-то налаживаться жизнь. Только он начал понемногу выходить.

Я уехала в Коктебель и не была на его 75-летнем юбилее. Он просил привезти ему камни из Коктебеля. И я очень радовалась, что нашла окаменелости ежей. Вот что, несомненно, понравится Леониду Николаевичу!

И в тот день, когда я вернулась вечером в Москву, Леонид Николаевич и Галина Алексеевна уехали в Степановское. Я так и не увидела больше Леонида Николаевича...

Он умер 21 июня... Было так же душно и жарко, как и 20 августа в минувшем году, когда скончалась Ниночка...

Пышных похорон не было... Были писатели, были поэты, говорили речи... И «огромный поэт», и «поэт века», и даже «гениальный» слышалось не раз...

Хоронили его рядом с Ниночкой. Когда приехали на кладбище, разразилась гроза.

Природа буйствовала...

Еще в 1973 году написал он стихотворение «На смерть Пикассо»:

Не солнечными ли протуберанцами,
А также не в связи ли с ними,
Весной пожарами лесными,
Возникшими на юге Франции,
Отмечен смертный час Пикассо?

Оплакать Лермонтова гибель
В горах Кавказа
Хлынул ливень.
И полным солнечным затменьем
Была смерть Горького отмечена...

Чем это было? Совпаденьем?
Тогда число их бесконечно!
Но надо подлинно возвыситься,
Чтоб на печаль бы отвечали
Не только вздохи летописца!..

Не так ли случилось и в июне 1980-го — високосного года, года Неспокойного Солнца, когда умер поэт Леонид Мартынов?

Июль — август 1980

Виктор Гончаров

«ИЩИТЕ, И ВЫ ТОЖЕ НАЙДЕТЕ!»

(В гостях у Леонида Мартынова)

— Приезжайте ко мне. Вы знаете, что я нашел? Настоящего идола! Две каменюги...

— Отлично,— сказал я в трубку,— мы приедем к вам завтра.

— Кто это мы? Никаких мы! Приезжайте один. Я себя чувствую не совсем важно...

— Жаль,— сказал я,— ну хорошо. Приеду один.

Я шел проселочной дорогой мимо коровников и узнал его сразу еще издали. Он стоял у самого первого домика своей деревеньки и махал мне рукой.

В первый раз я увидел Мартынова в 1946 году, тогда он только что приехал в Москву после своего долгого отсутствия. А стихи Мартынова я читал и любил еще раньше. Особенно мне нравилось «Лукоморье». А увидел я его в клубе ВТО. Он читал стихи с трибуны и удивил меня тогда своим мохнатым, взбудораженным видом и странным косноязычием. Тогда он очень был похож на своего лирического героя, который так упорно и настойчиво успокаивал всех своих столичных знакомых: «Не волнуйтесь, не бойтесь, я скоро уеду!»

«Так вот он какой, этот Леонид Мартынов»,— подумал я, пока еще далекий от мысли, что когда-нибудь мы познакомимся и даже станем друзьями.

— Ну как моя глухомань? Сразу нашли? С погодой нам с вами не повезло сегодня... Ну ничего, пойдемте, пойдемте в мои хоромы. Мы вас уже давно ожидаем.

Погода действительно портилась, небо не обещало ничего доброго. Но встреча с хорошим человеком для меня в любую погоду радость, а мы с Леонидом Николаевичем уже давненько не виделись. Кроме того, мне не терпелось по-

скорее посмотреть его каменную находку — знаменитого идола.

Я люблю камни Мартынова. В Москве, дома, они у него занимают самое видное и почетное место. Камнями он увлечен по-настоящему — искатель самоотверженный, и видит он в каждом этом камне своем то, чего не может разглядеть никто, кроме Мартынова. И только после того, как он растолкует вам, что именно заложено, по его мнению, в этой находке, вы вдруг прозреваете и начинаете видеть булыгу глазами восторженного поэта. Она перестает быть обыкновенным камнем, а становится неопровержимостью того, что природа — удивительный выдумщик и что жизнь миллионы лет тому назад была такой же сложной и ничуть не глупей, чем сейчас. А даже, может быть, и интересней была жизнь эта, потому что природа находилась в состоянии творчества. Сейчас мы видим ее уже образовавшейся, как бы успокоенной, а тогда она была в сплошном вдохновении, возбужденной до самых прекрасных порывов.

Камни, которые находит Мартынов,— это следы вдохновения. Он радуется им, как ребенок, оттого, что ощущает себя открывателем такой вечной древности, перед которой мы все с вами неразумные дети. Этот восторг у него перекочевывает и в стихи.

...Мы прошли небольшим садиком и вошли в дом.

Радушная Нина Анатольевна встретила меня законным упреком:

— В такую погоду в одной рубашке! Разве так можно! Вот плащ,— сказала она и подала мне современную шуршащую прозрачность с рукавами и пуговицами.— Конечно же это не от холода, но от ветра уж точно.

Тропинкой, виляющей между густой и высокой в этом году пшеницы, мы миновали коровники и вышли к опушке леса.

— Это самое каменное место,— сказал Мартынов.

Но я, привыкший собирать камни у моря или на берегу рек, пока ничего не видел.

Мы двигались вдоль опушки, Мартынов шел быстро, широко размахивая руками. Наконец я увидел камень, прислоненный к сосне.

— Ага! Видишь, стоит, а я боялся, как бы его не унес кто-нибудь!

«Кому нужна,— подумал я,— такая дурында?» А Мартынов уже полез в кусты и наконец выволок оттуда еще один камень.

— Вот оно, мое чудо,— сказал он и ловко пристроил этот камень поверх того, к сосне прислоненного.

И вдруг я увидел настоящего идола — и нос, и глаза, и туловище...

— Они лежали в лесу, недалеко друг от друга, а я увидел, что это единое произведение. Не правда ли, такому чуду и помолиться не грех! Все может быть. Пока я его приволок вот сюда. А чтобы ни у кого соблазна не вызывать, голову прячу отдельно в кустах.

Я было предложил Леониду Николаевичу свою помощь:

— Давайте перетащим его на дачу!

— Нет, это я сам, это потом, сейчас у нас иной путь.

Он нагнулся, схватил голову и бросил ее в кусты. Идол опять превратился в обыкновенный камень.

Мы пошли дальше. Теперь уже лесом. Лес был сухой, усыпанный прошлогодней хвоей. Неинтересный лес.

— Самое скучное место,— как бы прочитав мои мысли, сказал Мартынов,— зато какой воздух! А вот и сыроежка, маленькая, да наша! — И он торжественно поднял ее над головой, а потом положил в сумку.

Наконец мы вошли в настоящий лиственный лес. Начали появляться и грузди, и другие грибы, но Мартынов, кроме сыроежек и лисичек, ничего признавать не хотел.

— Это не надо. С этими грибами возни много. Вот если бы боровик... Но их здесь почти нет в этом году.

Мы миновали просеку, потом какую-то канаву, свернули вправо и вышли к буграм.

— А это — французские могилы! Именно так эти бугры называют местные жители. Я же думаю: а вдруг это захоронение вятичей? В общем, эти бугры будоражат воображение. Здесь какие-то самодеятельные археологи даже раскопки вели.

Действительно, один из курганов был разрыт. Я заглянул внутрь. Раскопки велись самым диким и варварским способом. Копатели эти дорылись до уровня естественной почвы и, как видно, разочаровались.

— Конечно же,— сказал мне Мартынов,— если даже это были и вятичи, то все равно вначале копалась глубокая яма, а у этих искателей хватило терпения разрыть курган. А до захоронения нужно копать и копать еще столько же, если не больше... Смотрите, какой гриб я нашел! — крикнул Мартынов. Но я не успел даже увидеть, что это за гриб.— Нет, он весь сухой и червивый,— добавил Ле-

онид Николаевич. И вдруг, нарочито грассируя, запел в нос французскую «Марсельезу».

Здесь, в лесу, у французских могил, она звучала торжественно, маршево и трагично.

— А это вот — наши окопы.

Окопы были обращены в сторону Истры. Оттуда наши войска ожидали немцев.

К реке мы спускаться не стали, потому что спуск был слишком крутой. Всюду, всюду в этом лесу извивались следы бывших окопов...

Время уже было обеденное, и мы решили идти домой. И вдруг почти у самой тропинки, под кустом, в траве я увидел мощную шляпку боровика.

— Вот кому повезло, вот кому повезло! — закричал Леонид Николаевич.— Я ведь тоже должен найти,— сказал он с убежденностью двенадцатилетнего мальчика.

И, к моему удивлению, тут же, только по другую сторону тропинки, нашел чуть поменьше, но тоже большой белый гриб.

Как мало настоящему человеку нужно для радости! Мартынов сиял и радовался. На него нахлынуло вдохновение философа, и мы всю обратную дорогу говорили о самых высоких материях. И мне этот разговор причинял очень много боли. Потому что какую бы новую теорию, касающуюся космоса или человечества, я ни выдвигал, он тут же кричал:

— Это уже было, это уже было! — И называл фамилию какого-нибудь русского или французского ученого, и начинал рассказывать то, о чем я уже думал когда-то, до этого, и воображал себя носителем новых открытий.

В конце концов Мартынов заметил мое огорчение и сказал:

— Ну ладно, я вас успокою. Есть и у вас кое-что интересное. Ну, например, то, что вы делите людей на ореолоносителей и ореолопожирателей. Это мне интересно.— И он начал докапываться до самой сути этой моей «теории». И я был счастлив тем, что он ее не опровергал.

До самого выхода из леса мы играли с ним в эту придуманную мной сказку. А потом вдруг нам навстречу попалась компания отдыхающих. Очевидно, они шли за грибами. Мартынов кинулся к ним и закричал:

— Смотрите, завидуйте, какие грибы мы нашли! Этот вот — он, этот вот — я. Идите, идите скорее, и вы тоже

найдете! Особенно вот она,— и он погладил по голове маленькую, лет шести, девочку.

— Это что, знакомые ваши? — спросил я его, когда мы разминулись с компанией.

— Ничего подобного,— сказал он мне и пожал плечами. И вдруг тут же увидел в глубине леса еще каких-то людей. Мужчину и женщину. И побежал к ним, и я услышал из-за деревьев: — Нет, вы лучше не ищите, вы не умеете, вы ничего не найдете. Это потому, что все, что было, мы с ним собрали. Во какие красавцы! А впрочем, ищите. Человек не должен терять надежды.

Когда мы уже вышли из лесу, я у него спросил:

— А это кто, с кем вы там разговаривали?

— А откуда я знаю. Просто хорошие люди. Хороших людей я вижу сквозь стены, а деревья мне нипочем. А вот от присутствия плохих, если даже я их не вижу, мне все равно становится больно.

С Мартыновым легко играть в сказку.

Бог мой, как не хватает «серьезным людям» мартыновской несерьезности, где всему хорошему вольготно и радостно, где сказка может расти так, как ей хочется.

— Ой, больно мне! — закричал вдруг Мартынов и показал рукой, где ему больно. Это было где-то над головой, в пространстве.— Там, за кустами,— сказал он,— сидят ореолопожиратели.

Видно нам пока ничего не было, но пьяные голоса были слышны откуда-то оттуда, с опушки леса. И вдруг из-за кустов появилась пожилая женщина. Она несла две тяжелые авоськи.

— Совести нет,— крикнула она не оборачиваясь,— мать руки рвет, а они, два таких лба, даже не подымутся. От водки оторваться боятся.

В ответ на ее слова кто-то заржал.

Настроение наше испортилось моментально. Ореолы погасли. Всю остальную дорогу мы шли молча.

...У Мартынова недавно вышла новая книга «Людские имена», и он написал мне: «Виктору — на память об идоле и двух белых грибах».

Да, чуть не забыл сказать — два этих гриба оказались червивыми. Мы их выбросили. Но радость от находки осталась и живет по сей день.

* * *

Я открыл подаренную мне книгу «Людские имена» и столкнулся с хозяином этой книги. Хорошо, когда портрет изображает, а не фиксирует, потому что фотография уже давно стала искусством, и никакого спора по этому поводу быть не может. В данном случае мы имеем дело с настоящим изображением. Приятно видеть это изрезанное морщинами лицо задумавшегося человека. Уже давно пора поощрять удачные фотопортреты в книгах, обозначив имя того, кому принадлежит эта работа.

Я рассматриваю, нет, я читаю портрет. И мне интересно узнать, куда смотрят, что видят, на чем сосредоточились глаза поэта. Автор перед читателем — без позы, такой, какой он есть в жизни. Я ловлю совпадение внутреннего и внешнего.

Мартынов-поэт — собиратель камней, которые лежат у дороги, на которые никто не обращает внимания. А он поднял камень, очистил, отмыл его и положил на видное место. Вот вам и «обыкновенный» камень. Совсем он и не обыкновенный! Во-первых, потому, что это окаменелость, которую вы не заметили. Смотрите, этот камень — берцовая кость какого-то доисторического животного. Это торс королевы! А это вот тоже не просто камень, а красное коралловое образование. А где я их нашел? У вас под ногами!

И стихи Мартынова точно такие. Камни, необтесанные булыги — ваши повседневные переживания. Но вдруг вы поднимаете это свое переживание, смахиваете с него пыль суеты сует, обмываете его в роднике вечности — и вдруг видите, что вы сами причастны к чуду чудес, что вы сами жизнь, вы сами можете сверкать гранями сверхдрагоценного камня!

Вот произошла обыкновенная ссора между супругами. Обыденщина. Это так часто встречается, так надоело. Но посмотрите, во что поэт превратил серое яблоко разногласий:

Когда
Казалось,
Что от гнева
Мы спор добром не разрешим,
В меня швырнула ты, как Ева,
Прекрасным яблоком большим.

Так сделала ты не из мести,
А по-хорошему гневясь,

И мы расхохотались, вместе
На это яблоко дивясь,
Смеясь, что ты не разрыдалась,
А тем, что было под рукой —
Сладчайшим яблоком,— кидалась
И возвратила нам покой.

Обыкновенное яблоко превращается в яблоко раздора, и вдруг на лету оно становится мифическим яблоком любви, и уже в наших руках оно смотрится яблоком глубокого понимания друг друга. Назревающая трагедия превращается в шутку, достойную удивления. Безо всякого назидания поэт учит нас житейской мудрости. Умейте смотреть глубже — вот о чем говорит эта книга.

Освобожденное от туч,
Все небо розово и звездно.
Я увидал зеленый луч.
Ищи и ты. Еще не поздно!

В книге много стихотворений о подмосковной деревне. Когда Леонид Николаевич дарил мне эту книгу, он раскрыл ее и сказал: «Вот здесь, вот здесь посмотри, вот эти стихотворения». Значит, поэт явно выделял из всей книги почему-то именно эти стихи. Потом я понял почему. Оказывается, он хотел подчеркнуть этим свою связь с землей. Ему хотелось обратить внимание, что у его поэтической речки есть свой серебряный ключик, тот самый сказочный ключик, из которого она начинается. Пытаясь восстановить свою родословную, поэт рассказывает нам, что род его, наверное, ведется от самого Ильи Муромца. Вот почему он обязан смотреть на наше сегодня глазами удивленного прошлого. Глядючи на месяц, Мартынов рисует его тем же бледным есенинским отроком, каким мы его привыкли воспринимать, и вдруг он преображается у него, этот отрок, и мы видим месяц в скафандре из собственного сияния. Сегодня все смотрится по-иному. Но поэт не скорбит о прошлом. Он просто удивлен таким быстрым вторжением будущего в наше настоящее:

И над деревней спутники летают,
И «Каравеллы» плавают в ночи...

И это уже не мечта и не фантазия — это быль. Но не теряется сказка. Не теряется и:

...Девочки с умом предпочитают
Спать, точно в русских сказках, на печи.

Многомиллионолетнее прошлое вдруг врывается в сегодняшний день, а мы его даже не хотим признать за миллионолетнее прошлое, а обращаемся с ним как с сегодняшним. Вот два между собой как будто бы не связанных факта. В руках камень, окаменевший коралл. А вот буровые скважины. По ним идет из недр земли минеральная вода — «рассол, не замерзающий зимой». Его используют «для солки шкур на мясокомбинатах». И вдруг поэт делает открытие:

...Здесь, в недрах недр, не высох, не иссяк,
А только дремлет Океан-изгнанник.

Да, теперь мы знаем, что Москва и Подмосковье выросли над океаном.

— Папа, налей нам вина-невина,— просила меня моя младшая дочь, сидя за взрослым столом.

И я наливал в рюмочки своим детям вино-невино — лимонад. Для них это был напиток покрепче водки, потому что он пенится, пузырится, стреляет в нос.

Мартыновская поэзия не пенится и не пузырится. Мартыновская поэзия — крепкий, мудрый напиток. Это целая наука превращения обыденной жизни в сказку. В этой новой книге Мартынов выступает в роли мага, который умеет «обращать дома в терема» и в «заклинанья чистый бумажный лист».

Мне интересно читать новую книгу Мартынова, потому что я, читая его, учусь связывать прошлое с сегодняшним, а сегодняшнее — с тем, что будет потом, учусь видеть поэзию в прозе.

Меня всегда удивляла мартыновская строка. Иногда она так близка к прозе своей тяжеловесностью, своей неуклюжестью, и тем удивительней мне наблюдать всякий раз ее легкий и грациозный взлет, ее спортивную невесомость. Любое стихотворение в этой небольшой книге может служить поводом для глубокого и вдумчивого разговора и о поэзии, и о жизни. Поэт, а вместе с ним и мы глубоко верим в действенную силу искусства, потому что искусство все может:

И не пожимайте недоуменно плечами,
Вы, художник, без дела стоящий в подъезде!

1969

ПРОЩАНИЕ

Ни кликуш,
Ни милиции,
Ни духового оркестра.
Его хоронили
По третьему разряду
На самом далеком кладбище.
Небо тихое, чистое, протертое солнцем.
Он был настолько не мертвым,
Что, казалось, слышал,
Как и что и кто о нем говорит.
Последняя речь была
Особенно многословной,
С нее, с речи этой, и началось.
Обреченный на безразличие ко всему,
Он улыбнулся.
Почему-то улыбка мертвого человека
Не испугала
Никого из присутствующих.
Наверное, она показалась
Последним сокращением мускулов.
Мы привыкли упрощать
Нам не понятное.
В ту же секунду
По верхушкам деревьев
Пробежал ветер.
Стало резко темнеть.
С первым ударом земли
О гробовые доски
Полыхнула беззвучная молния.
Это было неестественно, но красиво.
Гаркнул гром.
Водой рухнуло наземь небо.
Потом опять молния,
Гром.
И, наконец, третья молния,
Третий разряд...
Гром его был рокочущим.
Когда над могилой появился холмик земли,
Снова стало светло и солнечно.
Защебетало, запело, захлопало крыльями
Пернатое царство.
Любого из нас нужно было выжимать и высушивать.

На земле,
На дорожках,
На каменных плитах
Лежали свежеобломанные ветви деревьев.
Ушел большой,
Настоящий,
Русский поэт.
Это он сказал людям:
«Но я-то знал, что так нельзя
Жить, извиваясь и скользя...»
Не надо, не плачьте,
Пусть будет пухом ему земля.
А небо,
Вы видели сами,
Приняло его
Грозно и радостно.

Ким Ляско

СОКОЛЬНИЧЕСКИЙ ОТШЕЛЬНИК

ИЗ СМИРЕНЬЯ НЕ ПИШУТСЯ
СТИХОТВОРЕНЬЯ...

Л. Мартынов

1

Многие годы поэт собирал книги и камни. Книги питали его ум, камни будили воображение. Эти осколки и обломки минувших геологических эпох он подбирал на берегу моря или на дороге во время прогулок в окрестностях подмосковного села Степановское, где в последние годы обычно проводил лето. Когда кто-нибудь его навещал, он не упускал случая показать новые приобретения и находки. В обыкновенных грубых булыжниках, мимо которых, ручаюсь, прошли бы тысячи людей, вовсе не лишенных фантазии, он видел живые трепетные существа, готовые взмахнуть крылами и взлететь или же, поднявши хобот, протрубить о радости жизни на земле.

Природа наделила этого человека редкостным даром: в хрусталики его глаз она вживила микроэлемент поэзии, и когда он смотрел на мир и людей, то видел все чудесно преображенным: сказки становились былью, сны превращались в явь. Сибирский самородок-самоцвет, Леонид Мартынов, не получивший даже законченного среднего образования, путем не знающего перерывов труда, постоянного поглощения огромного количества книг и напряженного размышления над прочитанным стал одним из образованнейших людей своего поколения.

Решившись засесть за воспоминания о встречах с Леонидом Мартыновым, я неизбежно должен был самому себе объяснить, почему стихи именно этого поэта произвели на меня такое впечатление, что я и теперь, много лет спустя после первого знакомства, испытываю удивительное чувство: я открыл неведомый мир. Но не книги иссле-

дований и воспоминаний о нем, не стихи, посвященные ему, а, как это и должно было случиться, понять сокровенную суть поэта помог его автопортрет. О, автопортрет — это не только один из способов самовыражения! Художник может предстать перед нами в парадном одеянии и при всех регалиях, а то и в самом будничном виде, но всегда в характерном ракурсе и с остро схваченной сутью своего «я». Таким, каким он хочет, чтобы его увидели и поняли зрители.

«Про меня иногда пишут, что я философ, мыслитель, чуть ли не учитель жизни. Так напечатали, например, однажды в молодежном журнале «Смена». Я не одобряю таких писаний. Я отмахиваюсь от этого. «Бросьте толкать меня на такое самозванство!» — говорю я».

Смотрите, какими резкими мазками набрасывает он свой автопортрет в книге автобиографических новелл «Черты сходства» (1982), вышедшей в «Современнике» и продолжающей повествование поэта о себе и своей жизни, начатое в «Воздушных фрегатах».

Каким же видится он самому себе?

«А я — это я и никто больше, чем лирический поэт Леонид Мартынов, обладающий лишь своими собственными, отнюдь не философическими предками и лишь своей большой или малой неповторимостью».

Печать неповторимости, незаурядного мастера, постигшего чуть ли не все известные и неизвестные секреты своего ремесла,— сверкает на его стихах и поэмах. Вам нужны доказательства? Откройте любую из написанных им книг, и вы найдете их в избытке. Их названия звучат так же свежо и оригинально, как оригинален, всегда нов и неожидан был тот, кто их написал: «Лукоморье», «Голос природы», «Людские имена», «Первородство», «Во-первых, во-вторых и в-третьих», «Воздушные фрегаты», «Земная ноша», «Гиперболы», «Узел бурь»... У меня с ними давняя дружба. Увидевшие свет в разные годы и в разных издательствах, книги эти имеют одну очень дорогую для меня особенность: их подарил мне автор — Леонид Николаевич Мартынов. Немало их накопилось за двадцать четыре года нашего знакомства. И каждая не только знак доброго внимания, нет, тут нечто большее. Несколько написанных четким почерком слов — отпечаток движения души или мысли поэта, кардиограмма его настроения в тот момент неторопливой беседы, а то и нередко возникавших споров, до чего Леонид Николаевич

был большой охотник и нередко сам же их провоцировал едкими репликами и колкими эпитетами в адрес собеседника.

У него ко мне, студенту факультета журналистики МГУ, было какое-то ревниво-пристрастное отношение.

— «И жить торопится, и чувствовать спешит». Кто это написал? — строго спросил он меня однажды, входя с книгой в комнату, где мы беседовали с Ниной Анатольевной.

— Вяземский.

— Так,— удовлетворенно констатировал он. Но тут же вкрадчиво осведомился: — А позвольте вас спросить: как звали Вяземского?

— Петр Андреевич. Строчку из его стихотворения «Первый снег» Пушкин взял к главе первой «Евгения Онегина» как эпиграф.

— Смотрите-ка,— с деланным удивлением обратился он к жене.— Знает!.. Значит, чему-то их там в университете все-таки учат!..

Как много значил для меня этот всегда новый, всегда неожиданный человек, как много дал он мне! И не только своими прекрасными стихами, но и собственным примером служения истине, призванию. Он стал для меня, выросшего без отца, духовным наставником, строгим и справедливым учителем не только в области стихотворчества, где его авторитет стоял на недосягаемой высоте, но и в жизни, которая никогда его не баловала. Вероятно, было бы неуважением к его памяти, если б я приукрасил рассказ о том, как и при каких обстоятельствах впервые познакомился с Леонидом Мартыновым.

2

Итак, мне необходимо вернуться в пятидесятые годы, в пору моей молодости и первых, еще робких шагов на литературном поприще. Ну, «поприще» — это, конечно, слишком сильно сказано, а если попроще, то, подобно другим начинающим поэтам и прозаикам, я, работая стеклодувом-станочником на Московском электроламповом заводе и учась в вечерней школе рабочей молодежи, одновременно посещал литературное объединение при газете «Московский комсомолец». В те годы эта молодежная газета размещалась на Чистых прудах, и очень часто вековые мудрые деревья в этой части Москвы, особенно любимой старожилами,

были свидетелями горячих дискуссий о традициях и новаторстве, об истинном и ложном понимании поэзии, о том, кого вообще можно считать поэтом и кого графоманом, да мало ли какие еще вспыхивали споры, когда рассаживалась по скамьям, выплеснувшись на скупо освещенный сквер из тесноты редакционных помещений, шумная ватага молодых стихотворцев! Тогда литобъединения и литкружки появились повсеместно, как грибы после благодатного обильного теплого дождя. И не было, пожалуй, в ту пору такой редакции городской, многотиражной ли газеты, вокруг которой не группировались бы самодеятельные поэты и прозаики, критики и фельетонисты, как не было и такого уважающего себя периодического издания, которое скупилось бы отводить свои полосы всякого рода «Литературным страницам» с образчиками поэтического и прозаического творчества рабочих и служащих, предваряемым напутственным словом маститого литератора.

Как-то раз поэт-фронтовик Марк Максимов, тогдашний руководитель поэтической секции нашего литобъединения, человек очень красивый, мягкий и сдержанный, привел на заседание Степана Петровича Щипачева. Аудитория сразу притихла. Всем хотелось услышать стихи в собственном чтении маститого поэта, в чьем творчестве особенно последовательно и особенно настойчиво, как у немногих в ту пору, звучала тема любви. Степан Петрович, высокий, стройный, белоголовый, в черном костюме с выглядывавшим из верхнего кармашка пиджака краешком белоснежного платка, был удивительно элегантен и как-то очень соответствовал лирическим стихам, которые в тот вечер читал. Потом отвечал на вопросы. Кто-то спросил его, что он думает о новых тенденциях в советской поэзии последнего времени. Щипачев сказал, что его радует появление в нашей поэзии целой плеяды молодых талантливых стихотворцев, приветствует он и выход в свет значительных книг поэтов старшего поколения. Тут он и назвал имя Леонида Мартынова. Впрочем, добавил он, вряд ли кому из присутствующих оно известно, хотя поэт далеко не молод, недавно отметил свое пятидесятилетие, только что после долгого вынужденного перерыва выпустил небольшую, но весьма примечательную книжечку стихов, которую он, Щипачев, от души рекомендует прочесть. Посыпались дополнительные вопросы, и Степан Петрович сказал: «Мартынов — поэт оригинальный во всем, у него и адрес-то не-

обычный. Представьте себе, живет в Сокольниках на Одиннадцатой Сокольнической улице, в доме номер одиннадцать и в квартире одиннадцать! «Почему-то этот странно звучащий адрес, с соответствующим антуражем преподнесенный Степаном Щипачевым, застрял только в моей голове, ибо ведь никому потом, кроме меня, не пришла на ум идея пойти по этому удивительному адресу. И вот, загипнотизированный числом одиннадцать, некий молодой человек, отдаленно похожий на пишущего эти строки, только что сдавший экзамены за десятый класс, ослепленный солнцем и опьяненный ароматами июньского дня, внезапно принимает решение: ехать к Леониду Мартынову.

Как я теперь понимаю, то была авантюра чистой воды. Но пусть в меня бросит камень тот, кто не совершал в молодости опрометчивых поступков! Увы, если б мы были благоразумны и осмотрительны в начале нашего пути, нам нечего было бы вспомнить в наши почтенные годы!.. Как бы то ни было, а папка с аккуратно перепечатанными на машинке стихотворными опытами лежала на коленях, когда я, поглядывая в окно трамвая, ехал к Сокольникам. Ехал и перебирал в памяти все, что знал о поэте.

3

Когда я мог впервые услышать о нем? Читая регулярно то, что появлялось о литературе и искусстве в прессе, вероятно, в 1954 году, когда на страницах «Литературной газеты» разгорелась дискуссия перед Вторым Всесоюзным съездом писателей, за которой мы тогда внимательно следили. Роль кострового взял на себя Илья Сельвинский, один из зачинателей советской поэзии, упоминаемый Эдуардом Багрицким в знаменитой формуле-триаде: «Тихонов, Сельвинский, Пастернак»... В своей статье «Наболевший вопрос» он раздул пламя спора. Современную нашу поэзию он уподобил богатейшему оркестру, обладающему всеми голосами, какими только располагает музыкальная культура. Перечисляя по именам «оркестрантов», которые, повинуясь палочке капельмейстера, исполняют свои партии, Сельвинский писал: «...вот Леонид Мартынов — человек, постигший тайну скрипичного волшебства. Мы, поэты, очень любим его чудесную «Кружевницу», его тонкое стихотворение «След», незаурядные русские пейзажи. После таких стихов чувствуешь себя благороднее, возвышеннее, счаст-

ливее. Хочется быть лучше и чище, потому что приобщился к какой-то большой духовной красоте. К сожалению, широкий читатель знает главным образом переводы Мартынова, о собственных же его стихах имеет слабое представление»[1].

Сельвинский ратовал за то, чтобы критики и издатели уделяли равное внимание всем поэтам, представляющим, по его мнению, разные направления в нашей поэзии: «Поэтический мир каждого поэта — это особая страна со своим климатом, пейзажем, людьми, зверями, птицами, со своими шумами и ароматами. Нужно предоставить читателю возможность путешествовать по этим странам, а для этого надо, чтобы критика умела ввести читателя в глубь поэтического мира, раскрыть все его сокровища. Где еще в мире есть такая поэзия?»[2]

Как было не отозваться всем сердцем на страстный призыв к путешествию, к познанию огромного континента поэзии! И вот уже незнакомое доселе имя поэта берется на заметку и делаются энергичные попытки найти его книги. Оказалось, ни в библиотеках, ни у знакомых, людей по части поэзии просвещенных, их нет. Есть книги стихов Николая Асеева, Семена Кирсанова, Александра Яшина, Николая Заболоцкого, Аветика Исаакяна, Самеда Вургуна, Эдуардаса Межелайтиса, других поэтов, упомянутых Сельвинским, а Леонида Мартынова нет!..

Все это казалось странным и порождало недоумение. Как же так? Живет в наше время поэт, которого самые авторитетные люди, его же соратники по поэтическому цеху, высоко ценят, известен он и как переводчик, а стихов его в печати не найти... Только потом в книге И. Г. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» удалось найти объяснение этому странному явлению. «В то время ко мне часто приходил Мартынов. Он разговаривал мало и в жизни бывал незрячим, скажу даже — косноязычным. Порой он не замечал людей. Однажды я его познакомил с Пабло Нерудой. Мартынова чилийский поэт изумил как явление природы, а ливни, засуха, таяние снегов, ветер всегда его изумляли. Он написал стихи о Неруде и показал его таким, каким он изображался в газетных статьях — богатырем, мифическим Баяном. А Неруда понял Мартынова: «Настоящий поэт — перед его глазами второй мир — искусства...» Мартынова

---

[1] Сельвинский И. Наболевший вопрос.— В сб.: Разговор перед съездом. М., 1954, с. 256—257.

[2] Там же.

после 1946 года не печатали. Он продолжал писать стихи, вынимая из карманов смятые листочки, читал мне, и каждый раз я дивился его поэтической силе: метеорология становилась эпопеей. А он рассеянно пил чай и отвечал невпопад на вопросы. То были годы расцвета его творчества. В 1955 году Мартынову исполнилось пятьдесят лет. Молодые поэты добились устройства его вечера в Доме литераторов и читали его стихи. Из старых писателей был, кажется, только я. Потом выступали представители литературных кружков московских заводов, железнодорожники. Все они говорили, что переписанные стихи Мартынова помогли им понять современную поэзию. Судьба поэта изменилась: несколько месяцев спустя вышла его книга»[1].

Повторяю: лишь спустя годы открылась мне полная крутых изломов судьба поэта, а в то время, когда на глаза попадались строки с упоминанием имени Леонида Мартынова, то непременно с какими-то намеками и недоговоренностями или оговорками.

Увы, как из песни слова не выкинешь, так и из истории советской литературы не вытравишь печальные приметы удивительной эстетической глухоты и слепоты, а может, и чего-нибудь похуже.

Да, нелегко, ох как нелегко было разобраться в чересполосице оценок и разноголосице мнений! Сегодняшнему читателю многое может показаться странным и даже фантастическим. Ведь на полках библиотеки сегодня преспокойно стоят рядом Александр Блок и Сергей Есенин, Марина Цветаева и Борис Пастернак, Николай Заболоцкий и Леонид Мартынов, Александр Твардовский и Анна Ахматова... Кто бы мог предвидеть такое соседство каких-нибудь тридцать лет назад?!

...Расспросив прохожих, нашел улицу и дом. Мне-то казалось, что автор знаменитого стихотворения «Замечали — по городу ходит прохожий?..» сам обязательно должен жить в старом большом московском доме, в огромной коммуналке...

Передо мной был не дом, тем более не здание, а, как бы сейчас сказали стыдливо, «строение», двухэтажное, деревянное, временно построенное и готовое рассыпаться при резком порыве ветра. Я грустно усмехнулся, когда хорошо

---

[1] Эренбург И. Люди, годы, жизнь. Кн. 5-я и 6-я. М., 1966, с. 610—611.

знакомым запахом сырости и керосина дохнуло на меня из окрытых по случаю дневной духоты сеней.

На пороге возникла небольшого роста женщина с широким лицом и внимательными глазами.

— Вы к кому?

— Мне нужен поэт Леонид Мартынов!

— Леня, к тебе! — бросила она через плечо, пыхнула папиросой и пропустила меня вперед.

Я оказался в небольшой комнате. Мне навстречу с железной кровати, покрытой чем-то серым, поднялся высокий человек. Он крепко пожал мою руку и пригласил сесть на стул, стоявший в простенке. Сам сел на кровать, рядом с ним опустилась женщина, как мне показалось, недовольная моим приходом и ждущая только повода, чтобы выставить меня за дверь.

Мне предложили «Беломор», я отказался, сказав, что предпочитаю свои сигареты «Памир». Хотел было зажечь спичку, женщина, опередив меня, протянула мне зажигалку:

— Мы прикуриваем только так.

И это замечание тоже мне не понравилось. Всем своим поведением она словно давала понять, что полновластная хозяйка в доме она.

Леонид Николаевич быстро, чересчур быстро, как мне показалось, посмотрел на стихи, которые я не без внутреннего колебания выложил на стол. Откинулся, закрыв глаза, помолчал, потом снова их открыл,— а глаза у него вблизи удивительно чистые и голубые, какими бывают озера высоко в горах,— изрек приговор:

— Что я могу вам сказать? К сожалению, ничего утешительного. Все, что, сударь мой, собирались поведать миру, давно уже сказано другими, а то, что знаете только вы,— сделал он ударение на слове «вы»,— осталось при вас. Ибо то, что заключено в тех строках,— кивок в сторону рукописи,— никоим образом вас, как поэта, не характеризует.

Я молча слушал, не делая никаких попыток оправдаться. Опыта общения с поэтами у меня не было. Интуитивно ощущал: надо слушать и молчать. Прикрыв тяжелыми веками глаза,— словно окна закрылись ставнями,— он стал говорить о своем понимании поэзии. В потоке слов, все убыстрявшемся и постепенно переходившем в какое-то колдовское бормотание, тщетно пытался я уловить смысл, он ускользал от меня, до моего сознания доходили лишь отдельные фразы, знакомые имена поэтов прошлого

и настоящего, названия их книг, строчки их стихотворений...

— Вы понимаете, о чем речь?

Опять он распахнул свои глазищи. Вряд ли в тот миг я понимал умом его, одного из сложнейших поэтов двадцатого века, но сердцем — понял. И тут, как это бывало потом не раз, мне на помощь пришла Нина Анатольевна.

— Ну что ты обрушился на парня! — сердито бросила она мужу.— Он рабочий, учится в школе, у него семья, да еще ухитряется писать стихи! Его хвалить надо за такое, а не ругать!

— А я и не ругаю,— мягко парировал Леонид Николаевич.— Я говорю: то, что он хотел поведать мне, тебе, Ниночка, всем нам, все это осталось при нем. В том-то и штука, чтобы суметь высказать свое. А вот как этого добиться, не знаю не только я,— этого не знает никто на свете!..

Нина Анатольевна досадливо махнула рукой. Спросила, был ли я на вечере в ЦДЛ, на чествовании Леонида Николаевича. Узнав, что не был, рассказала, как он проходил. «Замечательно все было! Мы очень, очень довольны».

— Постойте! Вы идете к метро? — спросил он немного погодя.— Мы выйдем вместе.

Стал он собираться в дорогу. Нина Анатольевна заботливо осмотрела его, расправила ворот рубашки.

Вышли из дому, он оглянулся и сделал приветственный жест в сторону окна. Нина Анатольевна молча смотрела ему вслед. Этот обряд прощания повторялся каждый раз, когда Леонид Николаевич даже на короткое время расставался с женой. И где-то в центре, выходя из поезда метро, он вдруг сказал:

— Приходите! Мы с Ниночкой будем вам рады...

4

Надо ли говорить, что я, конечно, не преминул воспользоваться этим приглашением. Приходил и приносил новые стихи. Леонид Николаевич, как и при первом моем визите, быстро их просматривал, откладывал и тут же как будто забывал про них, переключая разговор на другие темы. Означало ли это, что он их не одобрял? Нет, тут, мне кажется, была своя тактика, своя, если хотите, метода воспитания. Леонид Николаевич предпочитал действовать не

прямо, не в лоб, а исподволь, обиняком. Бывало, я сидел у него, и он показывал мне настоящие раритеты, которые удалось приобрести у букинистов. К нему приходили иногда поэты. Он говорил им, имея в виду меня:

— Что мне с ним делать? Упорно прячется за чужие строчки! — И уже прямо обращаясь ко мне: — Да вы, сударь мой, стесняетесь самого себя!..

Для него, поэта, с мальчишеских лет говорившего в стихах своим неповторимым голосом, не было большего греха, чем перепевы чужой манеры. Но зато своим быстрым и зорким взглядом умел выхватить и нечто, на его взгляд, достойное внимания.

...Держу в руках драгоценное для меня издание —«День поэзии» 1957 года. Среди членов редколлегии сборника, наряду с такими поэтами, как Павел Антокольский, Владимир Луговской, Ярослав Смеляков, Александр Яшин, и Леонид Мартынов. Леонид Николаевич отобрал для этого издания мое стихотворение «Биография моего поколения». Оно слева на развороте 68-й и 69-й страниц, а справа — о, счастливейшая случайность! — два стихотворения Леонида Мартынова «Революция» и «Поэт»...

Между нами была разница в двадцать три года, и Леонид Николаевич по возрасту годился мне в отцы. В его же отношении ко мне не было ни грана покровительства или снисходительности, характер наших отношений был товарищеским, хотя с самого начала, и это естественно, я признавал его своим учителем. Горячая волна благодарности захлестывала меня, когда Леонид Николаевич даже, читая мои стихи, не пытался, как это делали другие, их препарировать и уж конечно не выворачивать наизнанку заложенную в них мысль, какой бы несовершенной она ни казалась. Вместе со мной он радовался, узнав, что я поступил на факультет журналистики МГУ, что в журнале «Юность» опубликована подборка моих стихов...

5

Как-то я был в гостях у писателя, автора многих научно-популярных книг (ныне покойного) Михаила Васильева (его настоящее имя Михаил Васильевич Хвастунов). И что же? Речь мы вели не о «черных дырах» во вселенной, не о пресловутом «Бермудском треугольнике» и даже не о поиске «снежного человека» в Гималаях, а о

Валерии Яковлевиче Брюсове. Хозяин дома оказался большим поклонником поэта, он показал мне обширную коллекцию книг — тщательно и любовно собранную «Брюсовиану», итог многолетних поисков и разысканий.

Я решил не остаться в долгу. Объяснил, что хобби у меня никакого нет, специально ничего не собираю, а вот, мол, как-то так, само собой, собралась коллекция книг Леонида Мартынова с автографами...

— Ну и что? — как бы парируя, заметил Михаил Васильев.— Я тоже знаком с Мартыновым! Правда, в отличие от вас, заочно. Зато еще с довоенных времен... Есть у меня даже стихи по этому поводу.

— Стихи?

— Ну да. Что тут особенного?

Присел он к письменному столу, достал чистый лист бумаги... Пока писал, я с ужасом думал: ну, увижу сейчас с версту длиной поэму!..

— Вот все, что мог вспомнить...— протянул он лист бумаги.

Стал читать и тут же споткнулся: для такого бисерного почерка нужен по меньшей мере микроскоп!

— Ладно, для поэта Леонида Мартынова не жаль перепечатать на машинке!..— согласился Васильев. В итоге из его рук получил я следующее произведение:

«Поэт Мартынов где-то есть. Недавно мне пришлось прочесть его поэмы. В них огня высокой мысли не найдя, я был, однако, потрясен методою, что пишет он.
Его рифмованная речь, стих поэтический сиречь, однако, не был отделен, как поэтический канон повелевает отделять начало каждое строки и прописною начинать...

(1940)

...Дальше забыл. Это был отчет солдата своей любимой девушке о прочитанной Вашей книге «Поэмы». Я, видимо, позировал насчет «высокой мысли не найдя», потому что книга мне тогда очень понравилась, и я помню ее еще сейчас...

(1969)»

— Ага! — торжествующе сказал Леонид Николаевич, когда я показал ему необычное послание в стихах.— Все-таки признал! Мои поэмы ему понравились...

И добавил:

— Оставьте это у себя.

6

Не раз и не два принимался я писать воспоминания о встречах с Леонидом Мартыновым. Принимался — и с досадой отставлял написанное. Все, что ложилось на бумагу, казалось малоинтересным и неубедительным. Размышляя над причиной своих неудач, я пришел к выводу, что чем лучше знаешь человека, чем дольше длилось знакомство, тем, оказывается, труднее рассказать о том, каким он был, каковы были его привычки, манера говорить, короче, дать его полнокровный портрет. И особенно сложно, если человек этот сыграл в твоей жизни решающую роль. Ведь тут надо вытаскивать из глубин памяти такие детали и такие подробности, которые касаются тебя лично, и если рассматривать их под критическим углом зрения, могут показаться весьма нескромными или возбудят подозрение в запоздалой попытке втереться в друзья к большому поэту, а документальных свидетельств его к тебе истинного отношения, если не считать дарственных надписей на книгах, вроде бы нет. Переписки никакой не велось, фотографий при встречах никто не делал, беседы никто не фиксировал (только в последние годы, спохватившись, я успел кое-что записать). Правда, на мою долю выпала редкая удача: дважды мне удалось взять у Леонида Николаевича интервью, а ведь он, как известно, ярый противник таких выступлений в печати.

Об истории одного интервью мне хочется рассказать, тем более что речь пойдет о странных свойствах человеческой памяти и о мемуарных свидетельствах и мыслях Мартынова об этих материях.

Пусть останется маленькой журналистской тайной, каким образом мне удалось убедить его изменить своему правилу. Итак, в 1970 году в одном из номеров «Литературной России» целый подвал на развороте был отведен нашей с ним беседе. Отвечая на один из вопросов, почему он не пишет мемуары, разве ему нечего вспомнить, Леонид Николаевич рассказал некую историю, больше похожую на притчу. На одном из международных конгрессов психологов был сознательно спровоцирован инцидент: драка на глазах участников конгресса. Потом они, путаясь и сбиваясь в противоречивых показаниях, иронизируя над собой, наглядно убедились на собственном примере в несовершенстве аппарата человеческой памяти. «Вы понимаете теперь, почему у меня нет оснований полностью доверяться

мемуарам?» — не без ехидства спрашивал Леонид Николаевич. И тут же отвечал стихами. (Я попросил его собственноручно вписать их в текст беседы; экземпляр этот у меня сохранился):

А впрочем...
Я уверен: мой голос услышит
Кто-то на ухо не тугой,
И мои мемуары напишет
Обязательно кто-то другой:
Тот, которому будет прекрасно
Все известно, что мне самому
Окончательно не было ясно,
И тогда я, конечно, пойму,
Почему я хотел непременно
И какую преследовал цель
Головой прошибиться сквозь стену
Там, где можно пролезть через щель!

Само интервью Леонида Мартынова, да снабженное еще неизвестными читателю стихами, показалось редакции чем-то настолько необычным, что, хотя я показывал автограф поэта и вписанные его рукой стихи, все же из еженедельника, как потом мне рассказал сам Леонид Николаевич, ему специально звонили и спрашивали, действительно ли с его, Мартынова, ведома и одобрения сделана беседа? Однако вспомнилась мне эта история совсем не потому, что с ней связаны забавные вещи, а вот по какой причине: в иронических стихах Леонид Мартынов выразил свое отношение к жанру воспоминаний. Был ли это экспромт или давно написанное стихотворение? Не знаю. Могу лишь свидетельствовать: при мне он вписал эти стихи в текст уже готовой беседы, когда я принес ее ему на подпись. Гораздо важнее другое: шестидесятипятилетний поэт высказал отношение к мемуарам, а потом, как мы знаем, написал автобиографическую книгу новелл «Воздушные фрегаты». Были ли у него в тот момент основания утверждать, что «мои мемуары напишет обязательно кто-то другой?» Безусловно, были. К тому времени появились воспоминания о встречах с Леонидом Мартыновым И. Г. Эренбурга в книге «Люди, годы, жизнь», Антала Гидаша в журнале «Юность», биографическая книга «Леонид Мартынов» А. Никулькова, на подходе была и книга В. Дементьева, вскоре вышедшая в «Советском писателе». В газетах и журналах публиковались стихи, посвященные Л. Мартынову. Воздавалось должное его большому и оригинальному таланту. Он всегда смотрел вперед. И потому почел за благо все силы отдать стихам, а не мемуарам.

7

По первой программе Центрального телевидения в январе 1984 года показали из Останкина вечер советской поэзии. Вечер как вечер. Удивительно же было увидеть и услышать, как известные наши поэты читали с эстрады стихи, но не собственные свои стихи, а написанные теми поэтами, которых сегодня нет с нами и чьи строки живут, излучают душевное тепло, энергию мысли, борются за справедливость и мир на земле. Вышел громкоголосый Егор Исаев — и прочитал стихи В. Маяковского; широко шагнул к микрофону Роберт Рождественский — прозвучало стихотворение «Я убит подо Ржевом» А. Твардовского; два участника предпочли прочесть стихи Л. Мартынова: Владимир Солоухин выбрал «Замечали — по городу ходит прохожий?..», а Владимир Соколов вышел на авансцену и сказал: «Я тоже люблю стихи Леонида Мартынова. Сегодня я хочу прочитать не хорошо знакомые строки, а те, что меньше известны, но достойны не меньшего внимания». И прочел с чувством стихотворение «Старые поэты»...

Я смотрел передачу и думал: время — самый строгий и справедливый судья, все поставило на свои места. А ведь места под солнцем действительно хватает всем!.. Слушают стихи, затаив дыхание, тысячи людей в зрительном зале, а с ними и миллионы телезрителей по всей стране. Звучат избранные страницы из богатейшей по краскам и оттенкам антологии советской поэзии. И в общем хоре мастеров возвышенной поэтической речи не растворился и не потерялся голос Леонида Мартынова. Чистый, искренний, задушевный, он продолжает звучать. И к нему внимательно прислушиваемся не только мы, современники поэта. Его различат и те, кто придет за нами.

1980—1984

Вильям Озолин

КАМЕРТОН МАРТЫНОВА

Привязанность моя к Леониду Николаевичу Мартынову уходит корнями в далекое омское детство, а если точнее — в жизнь моего отца.

Отец мой, Ян Михайлович Озолин, в 30-е годы был довольно известным сибирским поэтом, активно участвовал в литературной жизни Омска, близко дружил с Леонидом Мартыновым. Связывало их увлечение поэзией и обским севером — отец в то время плавал матросом в Карском море на гидрографическом судне, принадлежавшем тому самому управлению Убекосибири[1], которое воспел Мартынов в стихах и прозе. Оба были молоды, физически крепки, писали мускулистые стихи.

В то благословенное молодое романтическое время на иртышских перекатах еще резвились жирные нельмы, выбрызгивая из воды рыбью мелочь; сипели на всю округу простуженными на северах голосами паровые буксиры, колотя деревянными плицами тягучую волну, а в устье небольшой, но коварной в половодье реки Оми было тесно от плоскодонных баржонок, груженных сеном и горами семипалатинских и павлодарских арбузов. Там же, в устье «Омки», на спасательной станции или на пожарном пароходике «Конда» часто собирались омские поэты.

В то далекое время я был совсем мальчишкой и, конечно, не упомнил молодых лиц этих поэтов, и самого Мартынова, и даже отца. Но зато их внутренний облик в прекрасных мельчайших подробностях нарисовался мне позднее, когда я достаточно подрос и смог часами перебирать пожелтевшие листки отцовского архива. О магическая

[1] Убекосибирь — Управление по обеспечению безопасности кораблевождения в устьях рек и у берегов Сибири.

сила пожелтевшей от времени бумаги! Чего только не находил я в обшарпанном чемодане: старые фотографии Омска, письма и черновики стихотворений отца и его друзей, литературные страницы «Рабочего пути», вырезки из «Сибирских огней», газетные материалы об освоении Арктики. Были там адреса И. Сельвинского, А. Адалис, П. Васильева, Е. Стюарт, П. Драверта, мартыновский — омский, на улице Красных Зорь, и даже нью-йоркский адрес футуриста Давида Бурлюка, полученный отцом не иначе как от самого «короля сибирской литературы» Антона Сорокина. Покоились до поры до времени в толстокорой конторской папке с тесемками автографы стихотворений и рисунки, сделанные рукой Мартынова. Благодаря этой папке знал я наизусть укутанную в туман «Реку Тишину», необычную «Нежность», неистовый, тревожащий грудь «Подсолнух» и прекрасный перевод стихотворения Артюра Рембо — «Гласные». Между прочим, в «Воздушных фрегатах» Леонид Николаевич утверждает, что не закончил перевода знаменитого сонета Рембо. В действительности же перевод был завершен, и я отлично помню желтый тетрадный листок и твердый мартыновский почерк. Врезались в память заключительные строки:

...О-ла-ла, господа стихотворцы! Очнитесь, несчастные!
Не постичь вам алхимии гласных! Оставьте надежды напрасные!
Просто так это
Детским цветным букварем, что увидел когда-то в Арденнах
на ярмарке я,
Этим детским забытым своим букварем, где картинки и буквы
бессмысленно яркие,
Этим детским забытым своим букварем
Я дразню вас, усталый от звуков и красок,
Рембо!

Именно эта изящно короткая строка-подпись произвела на меня самое сильное впечатление, я до сих пор заворожен ее торжествующей убедительностью. Сонет был опубликован в книге «Эрцинский лес» (Омск, 1945).

Позднее я передал Леониду Николаевичу все его рукописи и рисунки, найденные в архиве отца.

Прошли годы и годы. В 1953 году, после многих мытарств и скитаний, я стал студентом Литературного института им. Горького. Я знал, что Леонид Николаевич живет в Москве. Но тогда мало кто о нем вспоминал. Это было время, когда Мартынова упорно не печатали, книги его не издавались. Но я помнил наизусть многие стихи из его послевоенной книги и романтически верил, что могу встре-

тить легендарного Прохожего где-нибудь на улице, в синих сумерках Москвы. Я учился у прекрасного русского поэта Сергея Митрофановича Городецкого и, кажется, был любимым учеником, но как тайный грех носил я в себе желание показать свои стихи Мартынову. Я, как мог, боролся с этим искушением, запрещал себе даже думать о встрече. Конечно же в этом еще была и тайная гордыня начинающего поэта. Да разве мог я позволить себе появиться у Мартынова только потому, что я сын друга его молодости, воспользоваться этим обстоятельством для знакомства? Нет, нет и нет! Я хотел принести Мартынову стихи, достойные памяти своего отца. А таких, как я понимал, у меня еще не было. Сергей Митрофанович Городецкий часто хвалил на семинарах мои поэтические опыты, но я-то чувствовал, что учитель просто очень добр ко мне. У Мартынова такие стихи «не прошли» бы, это я знал точно. Визит откладывался.

Но был толчок, взрыв. В 1957 году вышла «молодогвардейская» книжка Мартынова «Стихи». Это были не пожелтевшие от времени архивные листки — был живой, угловатый, напористый Мартынов, с которым можно было разговаривать. И я решился.

Не знаю почему, но в ту пору мне и в голову не пришло разыскать Леонида Николаевича через канцелярию Союза писателей. Сейчас я бы так и поступил. А тогда я с волнением просунул голову в тесное окошко киоска Мосгорсправки и попросил дать мне интересующий адрес. С остервенением выкуривал я одну сигарету за другой, ожидая, когда наконец всесильная справочная служба выдаст мне ответ. И она выдала — три или четыре адреса. В огромной, как государство, столице оказалось несколько полных однофамильцев. И все же я выбрал только один. Сердце екнуло, когда я прочитал: «11 Сокольническая, дом 11, кв. 11». Сомнений не было. Через некоторое время метрополитен вынес меня к парку культуры и отдыха «Сокольники».

И вот — старая московская улица, старый двухэтажный деревянный дом. Решимость моя куда-то подевалась, и я стал кружить возле ворот, ощупывая в кармане тоненькую тетрадку со стихами, и, наверное, ушел бы отсюда восвояси, если бы, на мое счастье, не вышла из двора пожилая женщина. Я спросил: не здесь ли живет поэт Мартынов? И она охотно указала мне на крылечко под железным навесом.

Страшен заикающийся, краснеющий, потеющий гость на пороге! Он топчется на месте, тужится что-то сказать и стесняет хозяев, потому что ему невозможно помочь. Таким

я и предстал перед Леонидом Николаевичем и Ниной Анатольевной Мартыновыми на пороге их небольшой, заваленной сверху донизу книгами комнаты. Когда я наконец все-таки изловчился и назвал свою фамилию, первой откликнулась Нина Анатольевна.

— Виля?.. Неужели это ты?.. Леня, ты посмотри, как он похож на Яна!..

Милая, добрая Нина Анатольевна! Как я был ей благодарен за то, что она меня узнала!

Леонид Николаевич смотрел на меня пытливо и доброжелательно, слегка откинув голову, прищуриваясь и улыбаясь. Так художники осматривают модель. Я навсегда запомнил эту позу и этот изучающий взгляд и после того все его фотографии стал делить на «похожие» и «непохожие» именно по этому признаку: пытливость и доброжелательность.

От радушного приема смущение мое понемногу улеглось, а когда Нина Анатольевна принесла чаю и чудесных домашних печенюшех, я и вовсе успокоился. Мы говорили об Омске, об отце, о моей маме, вспоминали предместье Волчий Хвост, реку Тишину, дом Вальса и дом Антона Сорокина, и еще многое, многое, многое. За окнами стало темнеть.

— Ну а теперь — стихи,— сказал Леонид Николаевич.— Читай. Послушаю их на свой мартыновский камертон.

Он так и сказал: мартыновский камертон. Снова откинул голову, прикрыл веки. И ни разу не перебил меня. Читал я стихи, понравившиеся моим друзьям по семинару: «Резвился бродяга на пляже у Черного моря зимой, то в камни холодные ляжет, зароется в снег головой...», и еще: «Ночное солнце мчалось, накренясь, над Карским морем и обским туманом. Матросы шли, поэты шли, бранясь, вели суда на Север капитаны...» А когда я замолкал, думая, что уже довольно, добрая Нина Анатольевна подбадривала меня и просила — еще.

— Что тебе сказать, дорогой Вильям?..— начал Леонид Николаевич и вдруг, сделав небольшую паузу, добавил: — Вильям Озолин... Что-то есть. Начало неплохое. Но если на строчки смотреть, то будто мимо забора идешь: светло — темно, светло — темно. Впрочем, мастерство дело наживное. Хуже другое — стараешься ты писать красиво и романтично, а ведь за плечами у тебя безотцовщина, военное детство, суровая жизнь. Вот ты об отце читал. Нечестное по отно-

шению к отцу стихотворение. Смелости у тебя не хватило сказать всю правду до конца. Разогнался, прыгнул с трамплина... и испугался. Ты вроде бы летишь, а лыжи не оторвались, тянутся за тобой, как липучка. Нет уж! Если разогнался — прыгай, хоть лоб расшибешь — а лети!..

Я этот разговор почти дословно привожу, потому что, вернувшись в литинститутское общежитие, в дневник записал.

— Ты к нему несправедлив, Леня! — заступилась Нина Анатольевна.— Ты ворчишь, а мне его стихи очень нравятся. Просто слушала — и все тут... Он как соловей поет...

— Как соловей?! — взорвался Леонид Николаевич.— Ну нет! К черту соловья! Я никогда не был соловьем. Всегда знал, для чего пишу стихи вот этой, правой рукой. Я и «Подсолнух» написал, когда мне тебя украсть надо было... Соловей!..

Я уж и не рад был заступничеству. Однако все кончилось мирно. Посердившись, Леонид Николаевич все-таки сказал мне напоследок, что рад за меня и что я правильно сделал, выбрав отцовскую дорогу.

— Хорошо бы,— сказал он,— когда-нибудь издать ваши стихи под одной крышей.

Прощались мы поздно. Нина Анатольевна напомнила, что скоро закроется метро. Она собрала мне в пакет домашнего печенья. Леонид Николаевич достал тоненькую в зеленой обложке книжицу, ту самую, изданную «Молодой гвардией», и сделал на ней дарственную надпись. Вручая мне эту книжку, он, многозначительно и озорно улыбаясь, прочитал своим низким рокочущим голосом:

Из смиренья не пишутся стихотворенья.
И нельзя их писать ни на чье усмотренье.
Говорят, что их можно писать из презренья.
Нет!
Диктует их только прозренье.

Леонид Николаевич пошел меня проводить. Он уверенно шагал по мокрому ночному асфальту, крепкий, коренастый, в черной кожаной куртке.

Надо сказать, что и после такого доброго знакомства я не злоупотреблял гостеприимством Мартынова. Появлялся у него только тогда, когда чувствовал острую необходимость в его суровом и чутком «мартыновском камертоне». А он судил стихи строго, безо всякого снисхождения к моей молодости и малому опыту в поэтическом ремесле.

Тем ценнее для меня были эти встречи. Теперь, когда я говорю, что учился у Городецкого и Сельвинского, я не забываю и Мартынова. Можно ли быть более счастливым учеником?

Вспоминаю еще один очень полезный урок. Однажды я прилетел в Москву с Сахалина, сразу же после возвращения из беринговоморской рыболовецкой экспедиции. Было у меня много впечатлений и конечно же лежали в кармане стихи, которые не терпелось показать. Мартынов в то время переселился в новый писательский дом на Ломоносовском проспекте. Книги теперь не были сложены на полу, у Леонида Николаевича был собственный кабинет. Пришел я, и снова был чай, а сердобольная Нина Анатольевна, учитывая мое морское, так сказать, недавнее прошлое, даже поднесла мне рюмку водки. Стал я рассказывать о плавании у берегов Аляски, о рыбацкой жизни, полной героического и смешного. Рассказ мне, видно, удавался, и слушатели мои где надо хмурились или смеялись от души.

Леонид Николаевич откинул голову и прищурился. И стал я читать стихи о море, о штормах, об «оверкилях» и прочей жестокой романтике матросской жизни. И, чувствую, прилипает у меня язык к гортани, не хочется мне дальше стихи свои читать. Перед Мартыновым услышал я сам себя и понял, какие пустопорожние строчки вываливаются у меня изо рта. Умолк, повесил голову. Пошла Нина Анатольевна в свою комнату, сделав вид, что ей что-то там нужно. Не стало у меня адвоката.

И сказал мне Леонид Николаевич Мартынов: «...Чтобы написать такие стихи, дорогой Вильям, совсем необязательно было мотаться к берегам Аляски. Ты написал о море то, что я и без тебя знаю. Вот когда ты нам с Ниной байки матросские травил, о друзьях своих матросах рассказывал — какие характеры! — это было интересно. А почему? Да потому, что это только ты, ты один видел. Вот о чем надо было написать».

Конечно же я огорчился сначала, но стихи, которые я читал в тот вечер Мартынову, через некоторое время полностью забылись и почти ни одно из них не попало в мои книжки. Я еще раз плавал к берегам Аляски и написал совсем другие стихи — это были «песни для матросской гитары», и еще — прозу о своих морских скитаниях. С тех пор я постоянно помню о «мартыновском камертоне».

Не могу не рассказать еще об одной незабываемой встрече с поэтом Леонидом Мартыновым — и не где-нибудь,

а в зимнем Беринговом море, неподалеку от Алеутских островов.

Наш средний рыболовный траулер резво бежал к плавбазе сдать очередной улов. День выдался на редкость солнечный, безветренный. Свободные от вахты матросы собрались в кают-компании: играли в шашки, листали старые подшивки журналов, болтали... Зашла речь о поэзии. Один парень, рослый бородач, между прочим заядлый книгочей на судне, выразил как бы общее мнение: «Мы этих стихов в упор не понимаем и не читаем! Роман или повесть — другое дело, да если еще детективные!..» Сильно меня это безапелляционное заявление обидело и рассердило. Решил, не сходя с места, дать бой. Решимость — как у боксера. В первом «раунде» — провел серию: Багрицкий, Сельвинский, Голодный. Из Михаила Голодного «Судью Горбу» читал. Пошатнулся противник. Я его к канатам прижимаю: «Соловьиху» — Корнилова, «Любку Фейгельман» — Смелякова Ярослава Васильевича. Нокдаун. Можно было бы остановить бой за полным преимуществом поэзии, но я озверел: «В упор не понимаете?! Про шпионов любите?!» И... Леонида Мартынова — «След», «Богатый нищий», «Замечали — по городу ходит прохожий?..». И еще под занавес:

Известны показания людей, голландцев,
Что с Баре́нцем шли впервые,
Увидели на море лебедей
Той старой бригантины рулевые.
...Но сам Баренц, он здесь стоял, на юте,
На рулевых на тех как заорет:
— Вы чудаками, господа, не будьте!
Ведь это ж лед! Простой полярный лед!

Вышли на палубу, щуримся от яркого солнца. Молчим, покуриваем. Простор необъятный, только на горизонте, едва заметно, как на переводной картинке, голубеет крутой лоб острова Святой Матвей. По зеркальной глади, мимо бортов, плывут, покачиваясь, белоснежные одинокие льдины, похожие на... И вдруг — буфетчик наш, Ваня-дуб, прозванный так за особые умственные способности, вдруг как заорет, будто живое чудо увидел: «Вы чудаками, мли, господа, не будьте! Дык это ж, мли, лед! Простой полярный, мли, лед!.. Ну этот твой Мартынов дает! Ну дает!..» Толпа палубная оживилась, тычут пальцами за борт: «Глянь-ка, братва! Лебеди плывут!..»

Я потом рассказывал Леониду Николаевичу про этот случай. Доволен был, смеялся: «Надо же, Ваську-дуба

прошиб! Слышишь, Нина?! А критики все меня в зауми обвиняют!» И сошлись мы в мнении, что неплохо иногда поэтам проверять свои стихи на простых, неискушенных слушателях — на заводах, на кораблях, в сельском клубе или еще где.

И снова прошли годы. Однажды — я жил в то время в Чите — я получил письмо от Леонида Николаевича. Литературный латышский журнал «Даугава» обратился к нему с просьбой написать статью о моем отце, а он в свою очередь попросил меня прислать ему отцовскую книгу стихов «Ночное солнце» и уточнить кое-какие биографические детали. Приготовив все необходимое, я позвонил в Москву.

Господи, что это был за разговор! Голос Мартынова звучал хрипло, прерывисто, на самых низких регистрах, в нем чувствовалась смертельная усталость. Там, за несколько тысяч километров от меня, что-то случилось. Мы поговорили о статье, и я уже открыл рот, чтобы, как всегда, передать поклон Нине Анатольевне, как Леонид Николаевич прервал меня на полудыхании. Он догадался, о чем я хочу сказать.

— У меня горе, Вильям... Нина Анатольевна умерла...

Я не мог прийти в себя. Мы долго молчали. Леонид Николаевич повесил трубку.

Через несколько месяцев я прочитал в «Литературной газете» некролог. Леонида Мартынова не стало на Земле.

В глубину небес от нас он упал лицом...

Для меня лично потеря была невосполнимой. Разорвалось чуть ли не последнее живое звено цепи, связывавшее меня с отцом, с золотым временем омской литературной среды, да и — в конце концов — с моей собственной поэтической юностью. Я ощутил одиночество, так сильно — впервые.

Только через два года я смог написать эти стихи.

БРАТ БАГРЕЦ

Памяти Л. Н. Мартынова

Это не земля над ним — облака сомкнулись!
В глубину небес от нас он упал лицом.
Так хотел он. Облака громом содрогнулись,
Расступаясь перед ним, братом Багрецом.
Кем же был он, брат Багрец? Как простился с нами?

Что случилось на земле в этот горький миг?
...шевельнули дерева пыльными губами...
...в тихом зале флейты крик выпорхнул из книг...
...из-за голого куста взмыла птичья стая...
...над рекою Тишиной закружился снег...
(Но таилась в снеге том теплота густая,
Не растраченных совсем ласк его и нег.)
...за кладбищенской стеной нищий краснорожий
килограмм мороженого выронил из рук...
Это просто чудеса или глас ли божий? —
Если в зной — кружится снег, если — флейты звук?

В парке, в улице, в метро, на речном вокзале,
В синих сумерках Москвы, ласковых, как шелк,
Все мы видели его, но не замечали:
Шел Прохожий мимо нас, в будущее шел!

Брат дождей, ветров, снегов, режиссер метели,
Неспроста он, видно, в нас молнии метал.
Мы остались на земле, мы — не улетели!
Говорили мы, а он — громом грохотал!

Как теперь увижу я:
над иртышской далью
в белом мареве плывет Облако-фрегат,
медью пышут паруса, дно сияет сталью...
Знаю, это ты, Багрец!
Здравствуй, старший брат.

Май — ноябрь, 1983

НА ИРТЫШЕ

Л. Мартынову

Как истый сибиряк,
Я верю в случай.
Был март.
Остановившись у реки,
Уткнувшись носом в воротник колючий,
Я был во власти некоей строки.
И вот уже, в какое-то мгновенье,
Я чувствовал —
трепещется улов!..

Нет, я не сочинял стихотворенье,
А так —
Обкатывал
Смысл двух знакомых слов.
«Мартынов» — «Март» —
звучали так похоже,
Так яростно я, видно, их шептал,
Что не заметил,
Как в снегу
Прохожий
Вокруг меня тропинку протоптал.

Март был великолепен!
Грело спину.
А с севера — еще несло мороз...
Спросил прохожий:
— Кто такой Мартынов?..
— Мартынов — Март!..
— Тогда еще вопрос:
Случайно вы туда не упадете?
Здесь — метра три...
конечно, высота —
Не очень чтоб... но лоб-то расшибете!
Давненько тут не падали с моста...

А я ему в ответ кричу:
— Готово!..
Мне ясно все! Мартынов — это Март!..
Там, видите, под ледяным покровом
Уже река становится на старт?!
Вы слышите, как в голубых торосах
Поют ручьи?! Зима идет на слом!..

Прохожий
Превратился в знак вопроса.
И плащ его затрепетал крылом.

По набережной,
Видел я,
Пустынной,
Он вкривь и вкось, вороной улетал!..

День солнечным был!
Леонид Мартынов

Прохожему вдогонку хохотал!
Он был в полярной кепке,
В желтых крагах,
Таким его и помнил я всегда...

Еще снега лежали по оврагам.
Еще скворец не залетал сюда.
Но все ж весны уже варилась брага
И под снегами
К рекам
Шла вода!

Евг. Евтушенко

ГОСТЬ ИЗ ЛУКОМОРЬЯ

Однажды, в пятидесятых, я встретил Мартынова на Садовом кольце. Был душный августовский вечер, и он шел сквозь огни и людей, не смешиваясь с ними, своей особой странновато скачущей походкой, как будто пребывал в состоянии внутренней невесомости, и только невидимые свинцовые пластины, прибитые к подошвам, не позволяли ему взлететь над троллейбусами и крышами. Под мышкой у него был огромный арбуз, и Мартынов хрустел алым треугольником, вынутым из окошечка, где в сахаристо искрящейся мякоти чернели густые семечки. Столкнувшись со мной, Мартынов не удивился, а сразу, с ходу, сбивчиво заговорил о смещении воздушных течений, о дисгармонии внутри атмосферы, очевидно продолжая свой монолог, до этого обращенный к себе самому. В московской толпе этот человек был необыкновенно похож на Дедала, попавшего в двадцатый век. «Застыл он у подножья зданья, на архитектора похож, где, гикая и шарлатаня, толклась ночная молодежь. Откуда эта юность вышла и к цели движется какой? И тут сказал мне еле слышно старик, задев меня рукой: — С Икаром мы летели двое, и вдруг остался я один: на крыльях мальчика от зноя растаял воск. Упал мой сын».

Подергиваясь во время своего монолога, уводя куда-то поверх меня глаза, улыбаясь и пошмыгивая картошкообразным носом, Мартынов временами вдруг пронзительно концентрировал свой вроде бы рассеянный взгляд на мне, как будто бы спрашивая: «А не растают ли твои крылья?» Не случайно после себя он оставил невольно вырвавшийся завет: «И червь шипел в могильной яме, и птицы пели мне с ветвей: — Не шутит небо с сыновьями, оберегайте сыновей! И даже через хлопья пены неутихающих

морей о том же пели мне сирены: — Оберегайте дочерей!»

Мартынов никогда не был для меня учителем жизни, но он был редким настоящим поэтом, и уже само это учило меня и других отношению к слову. Мартынов создал свою неповторимую «мартыновскую интонацию», а это первое доказательство подлинности таланта. Никому до него в поэзии не удавалось найти, например, такую тончайшую интонационно обволакивающую форму: «Я закричал: — Я видел вас когда-то, хотя я вас и никогда не видел. Но тем не менье видел вас сегодня, хотя сегодня я не видел вас!»

Я настолько подпал однажды под колдовское влияние Мартынова, что написал совершенно «мартыновское» стихотворение «Окно выходит в белые деревья» и честно признался в том, посвятив стихотворение поэту, подарившему мне этот мелодический настрой.

Мартынов создал множество поэтических отливок, раз и навсегда врубившихся в сознание тех, кто любит поэзию: «Это почти неподвижности мука — мчаться куда-то со скоростью звука, зная прекрасно, что есть уже где-то некто, летящий со скоростью света!» Или: «И вскользь мне бросила змея: — У каждого судьба своя! — Но я-то знал, что так нельзя — жить, извиваясь и скользя». Блистательное стихотворение «След», написанное на одном выдохе, само по себе является развернутым афоризмом. Рубленость мартыновской строки не случайна в отличие от многих стихотворцев, которых легко заподозрить в материальном неравнодушии к «лесенке». Порой слова у Мартынова звучат так, как будто они и рождались рублено, а не были ловко дровозаготовлены.

Вода
Благоволила
Литься!

Для лучших стихов Мартынова характерна метафорическая сгущенность, осязаемая плотность фактуры. «Богатый нищий жрет мороженое... Пусть жрет, пусть лопнет! Мы — враги!» Интересен факт происхождения последней строки. В первом авторском варианте она звучала так: «и вообще мы с ним враги». Ныне входящий в собрание сочинений Мартынова вариант был предложен автору Маргаритой Алигер, редактировавшей поэтический отдел альманаха «Литературная Москва». Мартынов согласился, потому что предложенная правка исходила не из самодурства или

трусости, а из его собственного «мартыновского» стиля. Редкий случай в нашей редактуре. Знаменитое «Лукоморье» вбивает само себя в память своей волшебной ненавязчивой навязчивостью: «Замечали — по городу ходит прохожий? Вы встречали — по городу ходит прохожий, вероятно, приезжий, на нас не похожий?» Вот он — первый набросок русского Дедала, не смешивающегося с ночной молодежью и думающего о своем солнце — о Лукоморье, тяга к которому может расплавить восковые крылья даже сквозь морозные туманы Гипербореи. Солнце, к которому тянешься, может быть выдуманным, но от этого не менее опасным, если крылья восковые. Герой Лукоморья — это провинциальный русский Дон Кихот, вооруженный лишь благородным оружием воображения, чья Дульсинея Тобосская — это Лукоморье. Главное в человеке — благородство, а точка приложения благородства может быть даже воображена. В поэзии Мартынова редко найдешь интимно-исповедальную интонацию, и по его стихам не так легко воссоздать личностную историю автора. Поэт порой использует метафорическую оболочку, словно доспехи. Но когда разбираешься во взаимосцеплениях метафор, входишь глубже в мартыновский мир, в его многослойные подводные течения, то лицо автора проступает из-под всех прикрывающих его образов точно так же, как во время тревожных, особых, мартыновских вьюг колышется все меховое, вспоминая свое иное, дошубное бытие. В стихах Мартынова ненависти нет. Но презрение есть — иногда усталое, но крепкое, устоявшееся: «А кто-то где-то много лет стремится сглаживать и править. Ну что ж! Дай бог ему оставить на мягком камне рыбий след». Есть у Мартынова и драгоценное прозрение: «И старой мудрости не жалко! Грядущий день, давай пророчь, какую кривду примет свалка назавтра, в будущую ночь!» Ключ к пониманию поэтической биографии Мартынова в его стихотворении о Геркулесе: «Мне кажется, что я воскрес. Я жил. Я звался Геркулес. Три тысячи пудов я весил. С корнями вырывал я лес. Рукой тянулся до небес. Садясь, ломал я спинки кресел. И умер я... И вот воскрес: нормальный рост, нормальный вес — я стал как все. Я добр, я весел. Я не ломаю спинки кресел... И все-таки я Геркулес».

Мартынов был Геркулесом уже в 1929 году, когда написал свою гениальную по прорыву в новую поэтическую интонацию «Реку Тишину». Дивное «Лукоморье» было написано еще в 30-х, вместе с уникальными по очарованию

мастерства поэмами «Поэзия как волшебство», «Домотканая Венера», «Правдивая история об Увенькае» и другими. Но тогда Геркулесом он никому не казался или очень немногим. Потом у него был большой перерыв в печатании, и мало кто захаживал на 11-ю Сокольническую, где жил поэт-чудодей, заваленный подстрочниками Петёфи и книгами по астрономии, мореплаванию, геологии. Подлинная слава пришла к Геркулесу, может быть самому забывшему о том, что он Геркулес, когда в пятьдесят пятом «Молодая гвардия» издала тоненькую зелененькую книжку Мартынова, блестяще подобранную редактором В. Сякиным, и широкий, а не элитарный читатель наконец-то открыл для самого себя уже давно существовавшие для знатоков старые, но не потускневшие от времени шедевры. Признание было поздним, но молниеносным, и уже навсегда.

Не всегда «сахар был сладок и соль солона» в жизни Мартынова, но он стоически дождался своего часа, тратя время не на жалостливо-выпрашивательное выжидание, а на работу, и поэтому победил. В его лице победила и русская поэзия. Он жил вместе со своим временем, его победами и трагедиями. Он не любил критиков, для которых, по его словам, «И Маяковский был примерный мальчик», и о нем нужна серьезная аналитическая книга, а не свод славословий. Потеря Мартынова тяжела для русской поэзии, перенесшей за последние годы другие потери, которые, к сожалению, до сих пор не восполняются «племенем младым, незнакомым». Но именно к этому племени и обращены завещательные строки Мартынова: «А ты? Входя в дома любые — и в серые, и в голубые, всходя на лестницы крутые, в квартиры, светом залитые, прислушиваясь к звону клавиш и на вопрос даря ответ, скажи: какой ты след оставишь? След, чтобы вытерли паркет и посмотрели косо вслед, или незримый прочный след в чужой душе на много лет?»

1980

Николай Старшинов

«СТОЛКОВАТЬСЯ С ЦЕЛЫМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВОМ...»

С Леонидом Николаевичем Мартыновым я познакомился весной 1955 года, хотя стихи его к этому времени знал уже десятилетие.

Помню, как в 1945 году его книга «Лукоморье» ходила по рукам, в библиотеке Литературного института имени А. М. Горького взять ее было невозможно.

Нас захватила необычность его стихов, их свободная разговорная стихия, мудрость, покорила улыбка поэта — то добрая, а то ироническая; сказочность, переплетающаяся с самыми достоверными подробностями жизни:

Возвращались солдаты с войны!
И прошли по Москве, точно сны,—
Были жарки они и хмельны.
Были парки цветами полны.
В зоопарке трубили слоны,—
Возвращались солдаты с войны!

В честь солдат-победителей «в зоопарке трубили слоны»! А ведь многие из нас только-только пришли из госпиталей и легендарных полков и дивизий. Пришли в гимнастерках и шинелях, на костылях и с наградными планками и нашивками за ранения.

И рядом с этими стихами жила настоящая сказка:

Замечали —
По городу ходит прохожий?
Вы встречали —
По городу ходит прохожий,
Вероятно, приезжий, на нас не похожий?
То вблизи он появится, то в отдаленье,
То в кафе, то в почтовом мелькнет отделенье,
Опускает он гривенник в щель автомата,
Крутит пальцем он шаткий кружок циферблата

И всегда об одном затевает беседу:
«Успокойтесь, утешьтесь — я скоро уеду!..»
...Я уеду туда, где горят изумруды,
Где лежат под землей драгоценные руды,
Где шары янтаря тяжелеют у моря.
Собирайтесь со мною туда, в Лукоморье!..

И вот, поступив на работу в журнал «Юность» после окончания Литературного института, я решил обратиться к поэту — попросить у него подборку для одного из первых номеров.

Меня удивил его адрес: 11-я Сокольническая улица, дом 11, квартира 11.

А как потом выяснилось, и жилплощадь, которую он занимал вместе с тещей и женой Ниной Анатольевной, равнялась 11 метрам. И проживал он там ровно 11 лет. А ордер на другую квартиру получил 11 марта. Эта загадочная цифра 11 словно бы умышленно подбиралась им в самых различных случаях жизни.

Комната на 11-й Сокольнической улице действительно была мала. Книги в ней стояли стопками, возвышаясь до потолка...

Здесь и жил поэт, который имел полное право сказать о себе, что он умеет:

Столковаться с целым человечеством
И остаться
Все ж
Самим собой!..

Я не причислил бы Леонида Николаевича к людям общительным. Встретил он меня с прохладцей, был минимально вежлив, но не более.

Впрочем, это легко понять... Ровно десять лет его стихи не появлялись в печати — ни в журналах, ни в газетах, не говоря уже о книгах.

Случилось это после публикации нескольких статей, посвященных его творчеству. Вот что писала В. Инбер в 1946 году в «Литературной газете» по поводу его книги «Эрцинский лес»: «...неприятие современности превращается уже в неприкрытую злобу там, где Мартынов говорит о своем современнике...»

И это относилось к прекрасному человеку, патриоту, большому поэту, влюбленному в свою землю, в ее историю, в ее людей!

И как достойно ответил на это поэт:

Будто
Впрямь по чью-то душу
Тучи издалека
С моря движутся на сушу
С запада, с востока.

Над волнами
Временами
Ветер возникает,
Но волнами, а не нами
Грубо помыкает.

Он грозится:
— Я возвышу,
А потом унижу! —
Это я прекрасно слышу
И прекрасно вижу.

Возвышенье,
Униженье,
Ветра свист зловещий...
Я смотрю без раздраженья
На такие вещи.

Ведь бывало и похуже,
А потом в итоге
Оставались только лужи
На большой дороге.

Но чего бы это ради
Жарче керосина
Воспылала в мокрой пади
Старая осина?

Я ей повода не подал,
Зря зашелестела.
Никому ведь я не продал
Ни души, ни тела.

Огненной листвы круженье,
Ветра свист зловещий...
Я смотрю без раздраженья
На такие вещи.

Словом, настороженность поэта в общении с незнакомыми людьми была вполне объяснима...

В ответ на мою просьбу дать мне стихи для «Юности» он выразил сомнение в том, что они могут быть опубликованы. Но после моей настоятельной просьбы согласился показать их.

Из двадцати стихотворений, с которыми он познакомил меня, я отобрал десять. Пока я читал их, он все время повторял:

— Это, вероятно, не пойдет... Это, вероятно, тоже не то...

А когда у него закрадывалось особое сомнение, он обычно говорил:

— Как скажет Ниночка! Она-то уж точно знает, что к чему! — И показывал стихи жене с доброй, но, впрочем, и с лукавой улыбкой.

Вообще мимика и жесты Леонида Николаевича были очень энергичны и выразительны. Они во многом дополняли его немногословные высказывания и реплики...

Насколько я знаю, сам он в послевоенное время стихи никуда не отдавал, не предлагал, считая, что, если в них есть нужда, издатели сами к нему обратятся. Так оно чаще всего и бывало — за стихами к нему приезжали домой.

Он вообще мало заботился об издании своих стихов. Но зато часто советовал мне обратиться то к одному, то к другому литератору, которые могли быть полезными для альманаха «Поэзия».

Как-то я (это было уже в последние годы его жизни) обратился к Леониду Николаевичу с предложением составить книгу лучших его стихов, чтобы издать ее в «Молодой гвардии». Это было давней моей мечтой.

Но он ответил мне, что это его нисколько не интересует, это уже все в прошлом. Он не раз говорил мне:

— Поэт в каждой книге должен нести что-то новое по сравнению не только с книгами других авторов, но и по сравнению со своими же предшествующими книгами, а не торговать старыми товарами.

А вот идею составления книги его ранних стихов, публиковавшихся лишь в периодике (в основном в Сибири) и не входивших в его прежние книги, он поддержал...

Я почти еженедельно бывал у Леонида Николаевича, когда мы стали жить в одном доме, на Ломоносовском проспекте.

Постепенно он стал относиться ко мне доверчивее. И за четверть века нашего знакомства мне открылись некоторые его привычки и пристрастия, его взгляды на поэзию, на труд поэта, на отдельных поэтов. Хотя свои оценки он давал весьма редко и неохотно, только в том случае, если требовался прямой ответ.

Леонид Николаевич с юношеских лет (об этом он и сам писал неоднократно) уважал В. Маяковского и его друзей-футуристов. И в этой своей любви был очень последовате-

лен. Поэтому, когда я в одном из своих стихотворений неодобрительно отозвался о Бурлюке и Крученых:

Был фокусник Крученых
И был фигляр Бурлюк,—

Леонид Николаевич пожурил меня за это:

— Коля, это были интересные и талантливые люди. Зачем же их трогать?

Когда я писал о нем статью, попросил его рассказать о первых шагах в литературе, о первом приезде в Ленинград и в Москву. И вот что он мне сообщил:

— В Ленинград я приехал с тремя целями:

1. Переплыть Неву.

Это я легко осуществил, поскольку без труда и неоднократно переплывал более могучую и своенравную реку — Иртыш.

2. Напечатать свои стихи в одном из ленинградских журналов. Мне повезло. Заведующий отделом поэзии Николай Тихонов опубликовал мои стихи в «Звезде».

3. Поступить в Ленинградский университет.

Меня туда не приняли, поскольку у меня не было среднего образования — я окончил всего 4 класса.

Впрочем, Леонид Николаевич сам изучил несколько европейских языков и прочитал огромное количество книг, так что был одним из самых образованных людей в нашей литературе.

Из дома в последние годы он выходил мало. Неизменными были утренние прогулки за газетами, обычно покупал «Юманите» и «Униту».

В это же время мне неоднократно приходилось слышать от него такое мнение, что поэту необязательно вести кочевой образ жизни, постоянно куда-то ездить. Он считал, что с помощью книжных знаний и творческого воображения поэт может создавать свои произведения, поведать о своем мире.

Хорошо ему было так говорить, когда он в 20—30-е годы, будучи корреспондентом сибирских газет, объездил всю Сибирь вдоль и поперек...

Леонид Николаевич много курил. Но в последние годы курить бросил. А когда я закуривал в его доме, он говорил мне:

— Немедленно бросьте курение! Что вы делаете, зачем травите себя?

— Но ведь вы сами курили много и долго...

Он незамедлительно и резко отвечал:

— Был глупым!..

Леонид Николаевич замечательно плавал. В Коктебеле он заплывал за километр от берега, и его возвращали.

А мне он постоянно повторял:

— Коля, обязательно научите Руту (мою дочь) иностранному языку и немедленно научите хорошо плавать!..

Неоднократно я был свидетелем, как Леонид Николаевич работал над стихами. Когда возникала необходимость править строки, он делал это очень быстро, создавая множество вариантов. Он читал их несколько раз на разные лады, а потом выбирал один из них, советуясь с присутствующими, прислушиваясь к их мнению.

Стихи Леонид Николаевич читал своеобразно, активно пользуясь жестами и мимикой. Но — невыразительно, с бормотанием, не умел наладить контакт со слушателями. Я с ним вместе читал стихи на заводе имени Лихачева и видел, как ему трудно достается выступление. Вероятно, поэтому он и не любил выступать, шел на это крайне редко...

У Леонида Николаевича была обостренная боязнь всякого рода инфекций. Так, он назначал мне с вечера, скажем, встречу на завтра. А потом звонил рано утром и предупреждал:

— Коля, сегодня ко мне не заходите. Кажется, у меня начинается грипп, насморк уже есть...

— Ну и что?

— Я могу вас заразить.

— Да я этого не боюсь.

— Нет, нет, надо отложить встречу, а то вы и сами заразитесь и своих домашних тоже перезаразите...

И если чувствовал, что у меня тоже что-то неладное со здоровьем, переносил встречу.

Леонид Николаевич редко давал оценку чьей-то поэзии или отдельным стихам. Не любил ни комплиментов, ни разносов. Но когда было необходимо, высказывал свое мнение о стихах очень откровенно и даже резко.

Так, однажды я попросил его прочитать мою поэму «Песня света» и высказать о ней свое мнение.

После прочтения он сказал мне, что первая часть (несколько романтическая) ему понравилась. А вот о второй отозвался неодобрительно. Особенно ему не понравилось в ней обстоятельное описание действия, быта, обстановки:

— Это — неинтересно. Это — бытописательство. Это каждый может.

Он любил стихи с выдумкой, с фантазией. Поэтому не принимал, скажем, стихи такого замечательного поэта, как А. Т. Твардовский. Он говорил:

— Каждый может написать о том, что видит, сделать словесную фотографию. Поэт — творец, фантазер, мечтатель... Вот прозаик Твардовский великолепный. Какие у него прекрасные очерки о войне! Он еще напишет такую прозу!..

Видимо, поэтому же он совсем не признавал как поэта П. Васильева.

В то же время в прозе он, видимо, уважал обстоятельность и точность, следование фактам.

Когда В. Катаев настоятельно советовал мне написать повесть о юности С. Есенина, Леонид Николаевич самым решительным образом отговаривал меня от этого:

— Вы же очень мало знаете об этом периоде в жизни поэта. Да и никто его достаточно не знает!

А когда я все-таки съездил в Константиново, пытаясь собрать какие-то сведения о юности С. Есенина, и рассказал Леониду Николаевичу о тех дорожных приключениях и встречах, которые случились со мной во время поездки, он горячо рекомендовал:

— Коля, вот и пишите об этом — о своих спутниках, о встречах в дороге... Это же так интересно!..

Леонид Николаевич прекрасно чувствовал наше время, следил за всем самым новым, что приносил новый день. Я помню, как он ликовал, когда узнал о полете Ю. Гагарина в космос, восхищаясь силой и смелостью человека, тем мигом,

Когда
Весенним утром ясным,
Земля, вознесся над тобой
В своем комбинезоне красном
Пилот, от неба голубой.

1983



ЛЕОНИДУ МАРТЫНОВУ

Говорил мне старый поэт,
Что он едет туда на лето,
Где ледник свой оставил след
И теперь давно его нету.

Есть там тихий лесной сельсовет,
Валуны на полях валяются,
Что там есть и чего там нет,
То найти он там попытается.

Должен там оставаться след
Наших предков эпохи каменной.
Не горшки. Не землянки. Нет —
След души их живой и пламенной.

Константин Ваншенкин

«ВПЕРЕДИ УЖЕ НЕТ НИКОГО...»

Для моего поколения фигура Леонида Мартынова представлялась поначалу чуточку таинственной. Он несколько лет не печатался, словно уже прекратил писать. А может, так оно и было? Прежние его книги трудно было достать. Его не все знали, не все видели. Но те, кто читал, не могли не изумиться его необычности.

В середине 50-х вдруг снова густо появляются в журналах его стихи — одно другого лучше: «След», «Мне кажется, что я воскрес», «Двадцатые годы», «Что-то новое в мире», «Сон женщины», «В белый шелк по-летнему одета», «О вы, которые уснули...», «Дети»...

Одни написаны только что, другие чуть раньше. Он ведь все время писал. Выходит в «Молодой гвардии» книга.

Тогда такое случилось не с ним одним. Нечто похожее произошло и с Заболоцким.

Мартынова приняли горячо, радостно. Он тут же окунулся в литературную жизнь, его избрали в Бюро секции поэтов, он стал выступать на вечерах. Манера говорить и читать была у него нервная, резкая. Высокий, с гордо закинутой рыжеватой головой, он выглядел несколько отрешенным. Казалось, он никого не знает и не замечает. Ему было тогда пятьдесят лет.

Познакомился я с ним летом пятьдесят шестого года на заседании редколлегии первого «Дня поэзии». Собственно, это не было заседание как таковое. Тогдашняя редакционная коллегия, почти всегда в полном составе, проводила целые дни с утра до вечера в верхней гостиной Дома литераторов. Приходившие авторы читали стихи, тут же, на месте, все решалось. Художники делали макет книги, Игин рисовал шаржи. Кто-то вычитывал с машинки уже принятое. Шумели, курили, пили кофе.

Я тоже принес стихи. В комнате находились Луговской, Антокольский, Мартынов, Яшин, Кирсанов. Может быть, еще кто-то, но эти — точно.

Я прочел четыре стихотворения. Одно не приглянулось, еще одно («Часы») Яшин крутил так и эдак, повторяя: «Хорошо бы его, но длинновато...» Оно, кстати, и не монтировалось с теми, что приняли («Букет», «Приезд»).

Так вот, едва я прочел, первым, кто поддержал и стал хвалить, заинтересованно, убежденно, был Мартынов. Причем он говорил обо мне так, что было очевидно: он давно меня знает. Не скрою, мне это было приятно, но и слегка удивило: мне казалось, что это не должно быть ему близко. Остальные с ним согласились. Антокольский, правда, сказал:

— Там строчка была слабая.

— Разве? — откликнулся Мартынов.

С той поры мы были знакомы и общались почти четверть века, живя по соседству, на Ломоносовском проспекте. Но об этом позже...

В одном из стихотворений Леонида Мартынова описывается человек, «с ведром огромным и пустым» идущий вброд через реку и возвращающийся тем же путем, но уже с ведром полным. И поэт говорит:

Вода реки
Ему горька,
И он несет издалека
Ведро воды
Из родника.

Это стихи о самом себе и о своем понимании искусства. Сказать, что Мартынов поэт яркой самобытности,— значит почти ничего не сказать. Самобытен каждый истинный художник. Мартынов поразительно не похож на других — интонационно, манерой, голосом. Между самыми прекрасными поэтами России можно протянуть линии в той или иной степени родственных связей. К нему или от него идущих кабелей не видно — это, скорее, уж внутренняя проводка. Прежде всего он обращает на себя внимание самим стихом. И все-таки, как это обязательно бывает в настоящем искусстве, в какой-то момент мы забываем об этом, уже не замечая стиха, но вбирая поэзию. Нас привлекает, скорее, необычный ракурс выбранных им предме-

тов и явлений, срез не в той плоскости, где мы могли ожидать.

Это ему было свойственно с самого начала. Вот сейчас перечитываю его ранние стихи — «Замечали — по городу ходит прохожий?..», «Река Тишина», «Сахар был сладок», «Путешественник» («Друзья меня провожали в страну телеграфных столбов»), «Царь природы»,— радуясь тому, что и сейчас они меня покоряют, как когда-то юного и неискушенного.

Еще деталь. Л. Мартынов — один из лучших поэтов-«рассказчиков», мастеров стихотворного повествования, владеющий этим редким качеством с исключительной непринужденностью. Достаточно вспомнить его поэмы, которые он даже специально печатал как прозу — от поля до поля,— но читатель поэзии сразу улавливает в этих длинных строках стихотворный размер, а также многочисленные его баллады и просто стихи, где тоже по большей части что-то происходит.

Вспомним, его приняли не сразу. Некоторым он показался поначалу слишком необычным, странным. Говорили, что он чересчур дидактичен, фантастичен, парадоксален и т. д. В результате на нем сошлись все. Все читатели и самые разные критики. Что же произошло?

Да, по своему духу и складу это поэт-исследователь, поэт-ученый, поэт-историк. Но ведь прежде всего он — поэт. И он чрезвычайно современен. Остро, предельно современен. Не на словах, как некоторые, а очень органично, естественно, это у него в крови. Это в нем главное, это он сам. И поразительно, что это его свойство с каждым годом и с каждой книгой проявлялось все более. «Если бы все было, как и было,— я бы за перо и не брался!» — восклицает Мартынов, для него важнее всего, что «мир, тот, которым мы владеем, нов!». Поэт принимает новое с радостью, будь то обычное ныне зрелище, как «из норы метро вылезает город в поле чистом», или такая картина:

Сперва
Звучали выхлопы
Моторов, как всегда;
Казалось, все затихло бы,
Исчезло без следа,
Но дрогнула
Бездонная
Сияющая высь,
Где вновь изобретенные
Моторы пронеслись.

Звук
Вслед за аппаратами
Прошел одной сплошной,
Чреватою раскатами,
Шальной взрывной волной.
Вы слышали,
Вы видели,
Почувствовали вы?
Так следом за событьями
Несется гул молвы.
Теперь
Не полагается
О них предупреждать —
Событья надвигаются
Быстрей, чем можно ждать!

Вот Мартынов — с ярким, энергичным, насыщенным мыслью и звуком стихом, с неожиданным, но вполне, как тут же выясняется, логическим выводом.

Романтичен ли поэт? Конечно, особенно в раннем, но уже зрелом творчестве. Однако потом, упоминая, например, об уходящем в прошлое паровозе, он говорит чуть иронично, может быть, самоиронично: «Им лишь романтик упиваться будет». Он знает не только историю, искусство и точные науки, но он знает жизнь — это очевидно. Именно неослабевающим интересом к живой жизни характерна поэзия Леонида Мартынова. В его волшебных стихах — в смысле изощренности письма, неожиданности воздействия и просто легкой сказочности — привлекает прежде всего не некий фокус, не определенный изыск, а глубокая человечность и, если угодно, ясность, простота. Сколько в них света, доброты, столь характерных для Мартынова.

Но, разумеется, наивно было бы представлять Мартынова настроенным идиллически. Нет, он писал, «вновь и вновь превращаясь в мятущегося юношу». Ему как воздух были необходимы борьба, протест — против лжи, трусости, чванства, ничтожества. Против зла. Здесь его стих полон иронии, сарказма, страсти, гнева! Это тоже Мартынов. Мир, окружающий его, это добрый мир, увиденный и нарисованный для нас сильным человеком. И природа, наполняющая этот его мир, живая, шелестящая, поющая, сложная, близкая человеку,— она, как и человек, нуждается в защите, и поэт защищает ее, потому что он ее любит. Он мучится бедами природы и стремится охранить ее от бед не потому, что это веяние времени, что проводится такая кампания, а потому, что это в нем, это его жизнь. И прекрасно, когда внутренние помыслы и пристрастия

художника естественно совпадают с интересами и проблемами общества. Таков Мартынов.

Если просто окинуть взглядом заголовки его стихов, нельзя не обратить внимание, сколь велико разнообразие его влечений и тем, как сильна заряженность откликнуться на всю пестроту жизни. Иногда это бывает отчасти рационалистично и поэтому утомляет. Но чаще всего это внезапные и яркие картинки и полотна жизни и времени, нередко подсвеченные тоже особым мартыновским юмором и нежностью (рассказ о юношеском полете над Барабой или о девушках — растительницах кос и т. п.).

Но главное — это «вечные темы», нередко исполненные истинного трагизма. Война. Любовь. Природа. Искусство. Жизнь и смерть. Хочется обратить внимание читателя на стихи «Танки», «Со смерти все и начинается», «Где-то, может быть, во Мстере».

Сложность и простота жизни, противоречивость и цельность, связь и единство времен — вот что привлекает поэта.

Он ощущает себя на «границе прошлого с грядущим», он твердо знает, что «где что-нибудь рушится, там же и что-нибудь строится». Описывая зиму в разгаре, он делает вывод: «Все это значит, что весна близка».

Яркая и сложная, насыщенная мыслью и жизнью, поэзия Леонида Мартынова характерна страстной причастностью к делам других, заострением общественных устремлений.

...Знаете, что значит быть свободным?
Ведь это значит быть за все в ответе!

Таков замечательный поэт Леонид Мартынов.

Мы жили по соседству, и я часто встречал его, высокого, прямого, об руку с женой, милой Ниной Анатольевной, которую он называл Ниночкой. Он несет в сетке хлеб, пестрые бумажные пакеты с молоком. Он выглядит и чувствует себя очень естественно. А как же иначе? Ведь он поэт. Ведь если внимательней глянуть на его творчество, то нетрудно заметить, что оно при всей даже фантасмагоричности, сказочности имеет исключительно прочную, земную, человечную основу.

Мне случалось жить с ним рядом и в Крыму, в почти еще пустынном старом Коктебеле. Я поражался, как к нему,

с виду замкнутому, углубленному в себя, тянутся люди, прежде всего молодежь. Как его любят дети.

Моя дочь — художница. Рисует она с детства и как-то, учась в седьмом или восьмом классе, вдруг загорелась нарисовать Мартынова. Я сказал:

— Если нужно, звони, я этим заниматься не буду.

Она позвонила, и он тут же согласился. Она нарисовала его пастелью.

Когда она поступала в художественный вуз, преподаватель, рассматривая ее работы на предмет допуска к конкурсным экзаменам, узнал Мартынова и спросил с удивлением:

— Он вам сидел? (Так художники говорят, желая сказать: позировал.)

А художник Алексей Базлаков позвонил когда-то и спросил:

— Константин Яковлевич, а что, ваша дочь — художница? Интересно было бы посмотреть ее портрет Мартынова...

Оказалось, что на вопрос о том, кто наиболее удачно писал или рисовал его, Леонид Николаевич в числе двух или трех назвал и ее.

Прекрасная его черта: он был знаком с несколькими знаменитейшими художниками, но это ничуть не мешало ему восхищаться и еще никому не ведомыми.

Даря мне свои книги (у меня много его книг с автографами), он часто надписывал их не только мне, но и моей жене, а порою и дочери, а иногда присылал каждому по отдельному экземпляру — разных изданий.

Известна его страсть к камням. Не к увлажненным прозрачным морем полудрагоценным коктебельским камешкам, а к камням серьезным, крупным, несущим в себе рисунок, форму, идею. Он собирал камни в окрестностях подмосковной деревни. А в Черемушках он обнаружил настоящий скифский курган. Что же касается Коктебеля, то там на окраине, по дороге к Лягушачьей бухте, работала археологическая экспедиция, производились раскопки древнегреческого поселения. Мартынов чуть свет уходил туда. Среди ученых и рабочих он был свой человек. Он вполне профессионально знал то, чем они занимаются.

Признаюсь, порою, при разговоре с ним, делалось неловко, что ты знаешь гораздо меньше, чем он. Хотя сам он, разумеется, совершенно не стремился дать вам это почувствовать.

Удивителен был его неслабеющий интерес к наукам, к искусствам, к природе, к деревне, к молодым поэтам — почти ко всему.

Вспоминаю, с какой радостью я открыл для себя после войны, что помимо давно любимых мною замечательных поэтов есть еще и такой. Какие стихи! «Царь природы». Или «Сахар был сладок», где говорится о том, как поэт сгружал с барок рафинад, а потом соль... «Сахар был сладок, и соль солона. Мы на закате осеннем вспомним про то за бутылью вина, прошлое снова оценим. Время уходит! Тоскуй, человек, воспоминаньями полон,— позднею осенью падает снег, тает, не сладок, не солон. Ну-ка, приятель, давай наливай! Тает, не сладок, не солон!»

Я почти непроизвольно переписал эти стихи длинной прозаической строкой. Потому что вспомнил «Тобольского летописца», превосходную, явно недооцененную у нас поэму, написанную с истинным размахом, историзмом, блеском, изяществом.

Вообще Сибирь в творчестве Мартынова — не только одна из основных «тем», но и самая основа. Он прекрасно рассказал об этом в «Воздушных фрегатах». Да и его острый глаз и тонкий слух — качества, столь нужные сибирскому охотнику,— также необходимы поэту. Как он чуток к оттенкам народной жизни («Сон женщины», «Балерина», «Леопардович», «Растительницы кос» и многое другое).

Начал он рано, и, когда ему «шел двадцать первый год», он приехал в Ленинград. («Шатался я везде, музеи посетил, и Тихонов в «Звезде» стихи мои пустил».) Но его творческая дорога не была усыпана цветами. Своеобразие, резкая непохожесть на других — в искусстве довольно часто поначалу встречается в штыки. Размеренный организм литературы, как всякий организм, пытается отторгнуть новую ткань, прежде чем сперва смириться, а затем и гордиться ею. У Мартынова есть короткие стихи о том, как к нему «привязывались пьяные», но он лишь отмахивался от них. Заканчиваются стихи словами: «Когда привязывались трезвые — вот это было пострашней». Но он сумел постоять за себя — своими стихами. Сейчас Леонид Мартынов признан безоговорочно.

И еще. Ему было остро свойственно ощущение связи сердец и времен. Когда-то он написал известное:

Что такое случилось со мною?
Говорю я с тобою одною,
А слова мои почему-то
Повторяются за стеною...

А потом словно развил это, имея в виду художников, идущих следом:

Свои стихи
Я узнаю
В иных стихах, что нынче пишут.
Тут все понятно: я пою,
Другие эту песню слышат.

Сливаются их голоса
С моим почти в единый голос.
Но только вот в чем чудеса:
Утратив молодость, веселость,
Устав пророчить горячо,
Я говорю все глуше, тише,
И все, что только лишь еще
Хочу сказать, от них я слышу.

Не дав и заикнуться мне,
Они уж возглашают это.
И то, что вижу я во сне,
Они вещают в час рассвета.

Когда Мартынова не стало, я начал замечать, что моим глазам здесь у нас, на Ломоносовском, не хватает его высокой фигуры, его гордо закинутой головы.

Недостает его и в литературе.

Я написал:

Эту гулкую землю покинув,
В светлых водах оставил свой лик
Леонид Николаич Мартынов,
Наш последний любимый старик.

...Как же много и щедро нам дали
От пути, от стиха своего...
Я смотрю в эти хмурые дали:
Впереди уже нет никого.

Вторая строфа — и о других ушедших стариках.

Таково ощущение.

1978—1984

Лев Озеров

ПАМЯТЬ О БУДУЩЕМ

Есть в облике Леонида Николаевича Мартынова черты, ускользающие от мемуариста. Вовсе не потому, что память мемуариста слаба и ненадежна. Есть причина, диктуемая самим героем повествования. Поэт, хотя и обращавшийся к прошлому в своих прекрасных поэмах и стихах, жил настоящим и будущим.

Для меня память о Леониде Мартынове тоже — память о будущем.

Волшебные у него строки:

— Не забыл ли что-нибудь забыть?
Ну-ка хорошенько вспоминай-ка!

И в конце этого стихотворения, которое так и называется «Воспоминанья» (1960):

Не забыл ли что-нибудь забыть?
Ведь такие случаи бывали.
...Нет! Воспоминаний не убить,—
Только бы они не убивали.

Куда денешься от таких пронзительных строк? За несколько лет до войны я услышал впервые эту фамилию — Мартынов. Ничего еще не зная о поэте, который мне так полюбится, подумал о фамилии убийцы Лермонтова. Ассоциация невольная, неуместная и скорбная. Но по мере того, как я стал знакомиться со стихами Леонида Мартынова, его книгой «Поэмы», вышедшей в 1940 году, а позднее — уже после войны — с самим поэтом, ассоциация исчезла начисто. Как будто это две разные фамилии. Позднее я встретился со стихотворением «Мартыны» (начало 20-х гг.), возвратившим меня к вопросу о фамилии:

Черные воды пустынны,
Глухо ревет прибой,
Братья мои мартыны
Кружатся над тобой.

И далее — через строфу:

Тонкие руки раскинув,
Падаешь ты на песок.
Видишь летящих мартынов?
Путь их высок, высок!

Мартыны — птицы из породы чаек. Их-то и называет поэт — «братья мои».

Его долго не печатали. Он был терпелив. У него появлялось все больше сочувствующих ему поклонников. Несправедливость, притом длительная, в конечном счете помогает. Конечно, в том случае, если художник остается среди живых. Леонид Мартынов победил — прежде всего своим талантом, но и долготерпением, но и преданностью искусству, но и верностью своих почитателей, узнавших его не только по книгам, но и по спискам.

В стихотворении, написанном в 1964 году, уже постфактум поэт говорит:

Какие вам стихи прочесть?
Могу прочесть стихи про честь,
Могу прочесть и про бесчестье —
Любые вам могу прочесть я,
Могу любые прокричать,
Продекламировать вам грозно...
Вот только жалко, что в печать
Они попали все же поздно.

Леонид Николаевич никогда не касался этой темы в разговоре, сурово молчал, когда ее поднимали другие. Но не думать об этом он не мог.

При посещении Асеева, Эренбурга, Антокольского, Кирсанова я то и дело слышал о Мартынове. Прочитывались по тексту или наизусть куски из «Лукоморья», «Эрцинского леса», «Нюренбергского портного», «Музыкального ящика», из «Правдивой истории об Увенькае».

— Как, вы не знаете «Лукоморья»? Стыд и позор! — воскликнул Асеев, сверкая огромными серо-голубыми глазами, запечатлевшими небо над Льговом.— Послушайте! — и Николай Николаевич читал нараспев, любуясь словом в стихе:

Кто ответит — где она:
Затопило ее море,
Под землей погребена,
Ураганом сметена?
Кто ответит — где она,
Легендарная страна
Старых сказок —
Лукоморье?

Слушаю, потом напоминаю Асееву его же «Русскую сказку», «Курские края», «Мальчик большеголовый»...

— Интересная мысль! Не думал — не гадал, что аукнется. Вы думаете, аукнулось?

— Конечно!

Асеев рассверкался, доволен.

Прихожу к Эренбургу, сидит за машинкой, не надо говорить, что курит трубку,— курит (удавалось ли кому-нибудь видеть его некурящим?). Вынимает трубку изо рта, тихо читает:

Я говорил, что дик
Мой отдаленный край.
Я говорил: «Язык
Деревьев изучай!»
Я звал вас много раз
Сюда, в Эрцинский лес,
Чьи корни до сердец,
Вершины до небес!

— Вы не знаете, что я прочитал?

— Наверно, Мартынова.

— «Наверно» здесь случайное слово. Можно уверенно сказать, что это он. Так пишет он один. Попробуйте это изложить прозой...

— А надо ли пробовать?

Павел Антокольский уже в передней предупреждает:

— Ты, конечно, начнешь со своих стихов? Подожди, Лева. Потом. Я хочу прочитать неизвестное стихотворение. Не мое, к сожалению, другого человека. И читает:

Он тронул это милое
Теперь ему навек
И понял,
Чьим он золотом
Платил за свой ночлег.

Она спросила:
— Что это? —
Сказал он:
— Первый снег!

— Это Мартынов! — обрадованно сказал я.

— Угадал! За это тебе полагается чашка кофе.

За кофе Антокольский в присутствии Зои Константиновны и ее теток читает «Нюренбергского портного», и кусок из «Увенькая», и начало поэмы «Поэзия как волшебство».

— Приберег для вас новость! — выбегает навстречу мне Кирсанов.— Вы способны слушать, то есть воспринимать чужие стихи? Так вот —

Вода
Благоволила
Литься!

Она
Блистала
Столь чиста,
Что — ни напиться,
Ни умыться.

И это было неспроста.

Остановлюсь. Вы оценили глагол — «благоволила»? Подумайте! Далее:

Ей
Не хватало
Ивы, тала
И горечи цветущих лоз.

— Вы чувствуете, как внимательно читал Мартынов Маяковского и мастеров его круга? Ей не — ивы, хватало — тала. Это не просто рифмочки, а звукопись всей строки. Это мы ввели в обиход...

Изустный Мартынов набирал силу. Его читали вслух, любовались, рекомендовали печатать. Но печать не торопилась и не очень прислушивалась к мнению старых мастеров. К ним на помощь пришла молодежь, признавшая Мартынова своим поэтом. Поднажали с двух сторон. И — о, благословенны час и наши общие усилия! — удача, победа, праздник на нашей улице, улице у метро «Сокольники»...

Это было деревянное испытанное жилье. Шары пара с улицы вкатывались во входную дверь, другие шары выкатывались из кухни, где бойко орудовали хозяйки, третьи шары, более мягкие, проскакивали сквозь дверь, ведущую в комнату, где работал Мартынов. На полках были книги и камни, за столом с засученными до локтей рукавами сидел рабочий человек. У него не было времени на жалобы и прошения. Он так и не научился им. Он работал со словом.

У него был вид скульптора, чувствующего материал и знающего инструмент. Именно здесь поэт хотел

Столковаться с целым человечеством
И остаться
Все ж
Самим собой!

Это концовка стихотворения, которое начинается так:

Хочется
Сосредоточиться
И припомнить,
Как за шагом шаг
Этот мир рождался...

Он любил эту сосредоточенность на деле, то есть на слове, сосредоточенность художника, избегающего лишних словопрений, разговоров по телефону, бесплодных хождений по редакционным комнатам. Мне прежде казалось, что Мартынов чуждался людей, избегал нечаянных и не нечаянных встреч. Теперь я его понимаю. Он оберегал свой трудовой день, свое состояние, которое так легко и бездумно нарушают все — от близкой родни до далеких знакомых, видящих в тебе не художника, а старожила литературы, некую инстанцию, которая может (и — должна!) при случае помочь.

Пятидесятилетие Леонида Мартынова стало одновременно порой его признания. В Дубовом зале старого ЦДЛ все мы высыпали на трибуну.

— Юбилей называют днем недозволенных преувеличений,— сказал я.— В жизни Леонида Николаевича было столько недозволенных преуменьшений, что нынешний повод для открытого признания его — естественный повод.

Никакой натянутости в похвалах, ничего выспреннего в речах старых и молодых. Просто все понимали: пришла пора! Пора сказать человеку доброе слово. Сказать вслух. Сказать на людях.

У Леонида Мартынова есть образы, проходящие через всю жизнь. Сквозные образы, осевые, магистральные. Таким представляется образ воздушных фрегатов. Стихотворение «Воздушные фрегаты» написано в 1922 году.

Померк багряный свет заката,
Громада туч росла вдали,
Когда воздушные фрегаты
Над самым городом прошли.

Прошли фрегаты, и оказалось, что «в призрачном зеленом свете» город оказался «будто под водой». Город — морское дно и тучи — фрегаты. Романтический этот образ отзовется в поздней прозе Леонида Мартынова.

Часто навещавший меня Борис Слуцкий много слышал от меня о Мартынове. Я говорил о книге поэм 1940 года, читал отрывки из нее. Слуцкий очень заинтересовался Мартыновым. Мы бывали у него в Сокольниках, беседовали, читали, спорили. Слуцкий стал бывать у Мартынова все чаще и чаще. Они подружились. Судьба нас троих нечасто сводила. Был, правда, случай, о котором нельзя не рассказать.

Николай Асеев получил к своему семидесятилетию адрес от Союза писателей. Он долго болел, не приходил за этим адресом. Секретарь Союза Виктор Ильин хотел наконец вручить Асееву его адрес. Николай Николаевич не выражал никакого желания получить его. И все же он сказал, что всего для него приятней будет, если этот адрес вручат ему Мартынов, Слуцкий, Озеров. Мы согласились немедленно — любили бывать у Асеева. Встретились у входа в Главный телеграф. Перешли дорогу. Поднялись на верхотуру. Нас весело и радушно встретила Ксения Михайловна. Мы говорили много, долго, наперебой, читая свое и чужое. И вдруг вспомнили о порученной нам папке. Асеев уселся в кресло в гостиной. Ксения Михайловна рядом.

Наши речи были стилизованы, кратки, в духе каждого из выступавших. Мартынов держал голову, как всегда, высоко и, отставив назад локти, словно готовился к прыжку. Когда церемониал был завершен, Асеев сказал:

— Ну вот, Оксана, теперь у нас будет добротная папка для хранения жировок.

Мы засиделись у Асеевых до поздней ночи.

Расстались дружелюбно.

Через некоторое время Асеев прочитал мне стихи, названные им «Посещение». Это о нашем с Мартыновым и Слуцким посещении старого мастера.

Леонида Николаевича тяготили заседания, выступления, доклады, театры, эстрада. С годами он открыто избегал всего этого. Я видел его только на перевыборах правления Союза писателей. Он был членом правления и не позволял себе не присутствовать на его перевыборах.

Все больше и больше становился домоседом. Ему было трудно отлучиться от стихов. Они шли одно за другим.

Одно стихотворение прикуривало от другого. Он жил в готовности номер один. Работа изо дня в день. Круглосуточно. Стихи, переводы, проза. Прерывать дыхание стиха ему было не под силу. Он заболевал вне творчества, выходя за его пределы (общение с людьми, редакции, заседания). Все реже я встречал его у букинистов, у поэтов, на улицах Москвы.

Всегда ценил я лирику Леонида Мартынова. У него есть любимые мною строки, которые часто повторяю. Но для меня Леонид Мартынов — один из сильнейших наших эпиков. Он художник с острым чувством истории, этнографии, национального колорита, певец Сибири. Леонид Николаевич знал об этом моем особом пристрастии к его эпосу. Он был недоволен, что я как бы недооценивал лирику. Спорить не спорили, помалкивали. Этой темы Леонид Мартынов коснулся в статье «Мой путь» (1961): «После войны я не писал больше исторических поэм. Стихи, написанные за последние пятнадцать лет, это стихи о современности, о сегодняшнем дне, преображающемся в день грядущий. Эти мои стихи я считаю более значительными в своем творчестве, чем написанные ранее». Это утверждение, как я понимаю, отчасти является полемикой со мной, с Антокольским и другими.

В исторических поэмах Леонида Мартынова я ценю его умение лепить характеры в ситуациях, выхваченных из жизни. Реальность поет в этих поэмах, кипит, переливается всеми красками, одним словом — живет.

Мне нравилось, что поэмы, написанные классическим стихом, расположены на странице как проза:

Поручик отставной Петров с учениками был суров,
Не уставал напоминать:
　　　　— Политику извольте знать! —
Вот и сейчас вошел он в класс:
　　　　— Испытывать я буду вас...

Так начинается «Правдивая история об Увенькае». Так написаны поэмы Мартынова и некоторые стихи.

В разговорах с Мартыновым, так же как и со Слуцким, нельзя было задевать их общую больную струнку, их выступление против Пастернака в конце 50-х годов. Оба знали истинную цену этому поэту, хотя Слуцкий никогда не был от него в восторге. Но их выступление совместно с Перцовым, Зелинским, Шкловским и многими, многими другими озадачило и ошеломило всех любящих поэзию. Это было

сделано, разумеется, под давлением, по наущению некоторых руководящих деятелей из Союза писателей. Тем не менее это сделано. Никто не думал о тяжелых последствиях для самих выступавших. Я слышал их горькие раскаяния, сожаления о содеянной ошибке. В позднейшей тяжелой болезни Слуцкого этот эпизод сыграл не последнюю роль. Мартынов вскипал, если ему об этом напоминали. Не напоминали. Но он сам не мог забыть. И видимо, до последних дней держал это в душе.

После долгих невстреч я написал статью к семидесятилетию Мартынова и напечатал ее в «Труде». Леонид Николаевич позвонил мне и поблагодарил за статью.

— А я думал, забыли меня. Радостно был удивлен. Вы уловили нечто скрытое от других. Значит, вы это время не забывали меня.

— Ни в коем случае!

Статью мою Леонид Мартынов дал в качестве предисловия к его книге, вышедшей в «Прогрессе» в переводе Петера Темпеста (переводчик подарил мне экземпляр этой тщательно составленной книги).

Мне приходилось несколько раз сотрудничать с Леонидом Николаевичем в области поэтического перевода. Прежде всего это относится к литовской поэзии, в частности к Э. Межелайтису, еще точней — к книге последнего «Алелюмай» (1970).

Я вел эту книгу в издательстве «Советский писатель» и просил Леонида Николаевича перевести стихотворения «Домик ушки к макушке прикладывает», «К подоконникам опаль налипла», «Ветряная мельница» (из цикла четырех стихотворений), «Ни словечком теперь не обмолвлюсь». Эта работа была выполнена блестяще и в срок. Леонид Николаевич никогда не подводил, не оттягивал сроки сдачи работы, он был обязателен и точен.

Наши переводческие встречи не ограничивались делами. Мы говорили об искусстве перевода возвышенно и приближенно к тем дискуссиям, которые тогда велись.

В стихотворении «Проблема перевода» (1962) Леонид Мартынов говорит о своеобразии любимого им искусства и о своих рабочих принципах.

«Я не могу дословно и буквально, как попугай вам вторить какаду! Пусть созданное вами гениально, по-своему я все переведу, и на меня жестокую облаву затеет ополченье толмачей: мол, тать в ночи, он исказил лукаво значение классических речей».

Подальше от своеволия в переводах, но подальше и от буквализма в переводах.

И все-таки — за живое воспроизведение оригинала. На этом стоял Мартынов и многие из тех, кого он переводил.

Он много писал о прошлом, о настоящем, а думал о будущем. Это был мечтатель. Земную ношу он делал невесомой, чтобы взлететь.

Окрыленность присуща таланту Леонида Мартынова. Эта окрыленность особого рода:

Диалектика полета!
Вот она:
Ведь не крылатый кто-то,
Черт возьми, а именно бескрылый
По сравненью даже с дрозофилой,
Трепетный носитель хромосом
В небесах несется, невесом!

Эти строки из стихотворения «Диалектика полета». Оно показывает, что окрыленность Мартынова остро современна.

Шестнадцатилетний поэт в первых своих стихах (он дебютировал в 1922 году в омском журнале «Искусство») писал:

Все мы о будущем помним,
К революции духа зовем.

Получается так: Леонид Мартынов остался верен идеалам своей юности. Он помнил о будущем. Это — сквозной образ его творчества, такой же, как воздушные фрегаты.

Говоря о будущем, вот что имею в виду: Леонид Мартынов издан, признан, но по-настоящему еще не прочитан.

1985

Г. Самык

ВСТРЕЧА С ПОЭТОМ

Эта встреча произошла в дни работы Пятого Всесоюзного совещания молодых писателей; мой руководитель по семинару поэзии в Литературном институте Л. И. Ошанин познакомил меня с нашим известным поэтом Леонидом Мартыновым. Бывший сибиряк, он живо заинтересовался мной и стал расспрашивать об Алтае, где, по его рассказам, он побывал еще в юности и который очаровал его своей могучей красотой, душевной щедростью жителей — пастухов и чабанов.

Вскоре к нашему разговору присоединился поэт Сергей Марков — автор прекрасных стихов о нашем горном крае. Узнав, о чем идет речь, он горячо поддержал Леонида Николаевича и предложил ему написать о Горном Алтае.

Вскоре после этого разговора в журнале «Смена» (1969, № 12) я увидал стихи об Алтае и решил написать ответное — о нашей встрече, о нашем разговоре.

РАЗГОВОР С ПОЭТОМ Л. МАРТЫНОВЫМ

Я в Москве побывал в гостях у поэта.
Славен, известен поэт Леонид Мартынов!
«Вы — алтаец? О, как интересно это! —
говорил он, кресло ко мне придвинув.—
Сколько вам лет? Как вас зовут?
Я рад нашей встрече и нашему разговору.
Садитесь,
                    рассказывайте,
                                        как живут
мои знакомые — Алтайские горы?»
«Когда-то,— сказал он,— в шестнадцать лет,

я был страшно восторженный молодой поэт.
И вот я, представьте, в какой-то книге читаю
о том, как прекрасна природа Алтая.
И вскоре был я уже в пути!
Помню горы и реки,
перевалы и переправы.
Много сотен верст мне тогда привелось пройти
с ботаниками,
изучавшими
лекарственные травы!
И с тех пор мне кажется: недра Алтая —
словно шкатулка волшебная, золотая,
в которой скрыты от случайного взгляда
дивные камни,
дивные клады.
А на крышке ее
произрастают чудодейственные растения:
золотой корень, моралий корень.
Кто хлебнет их настой —
словно свежесть вдохнет весеннюю,
будет крепок духом, настойчив, упорен.
И недаром — помню, подумалось мне,—
так целебны ключи в этой горной стране —
так резвится зверье в этой горной стране,
вот что, помню, подумалось мне.
Неспроста — подумалось мне тогда —
здесь несломленно,
неистребимо живет,
пробиваясь в грядущее сквозь года,
небольшой, но мужественный народ.
Добрый, славный народ, справедливый:
не обидит зверя, не крадет, не ругается,
вся душа его
в неторопливой
речи —
словно цветок, раскрывается!
О! Сейчас говорю я — и вижу перед собой,
как сияют с утра и до вечера,
отражая шелк небес голубой,
млечные
вечные
глетчеры!
Склоны гор, поднимающихся к облакам,
там цветами покрыты солнцеподобными,

косулята к воде склоняются там
с глазами, как у алтайцев, добрыми
Они пасутся на склонах гор,
и я не видел нежнее красы:
у любого спина — как звездный ковер
и ноздри влажны от росы.
Голубые туманы видятся мне,
и лесные поляны видятся мне,
снежных гор караваны видятся мне —
будто еду я мимо них на коне!
И я понял: в краю, где на всем скаку
джигит арканом ловит коня,
народ, познавший сто бед на веку,
не зачахнет —
воспрянет под солнцем нового дня!
Природу обожествлявший народ,
к светлой жизни восставший народ,
народ-поэт, философ-народ
никогда не исчезнет, никогда не умрет.
И если в руки ты взял перо,
стремись народу сделать добро,
миру всему о нем говори,
дерзай, работай, твори, гори!..»

Перевод И. Фонякова

Герман Флоров

КНИГА ОТЗЫВОВ

Вторая половина 50-х. Мы, группа поэтов, выступаем в новом книжном магазине где-то в Черемушках. Магазин только что открылся, но День поэзии уже не первый — уже традиционный. Уже как бы обогащенный заслуженным вниманием читателей и слушателей. Среди нас, в основном молодых, Леонид Мартынов. Он недавно получил новую квартиру в Черемушках и только что переехал в нее, по его словам — «еще не устроился. Принимать гостей негде». Взволнованно читает свои стихи. Аудитория — в основном молодежь, студенты.

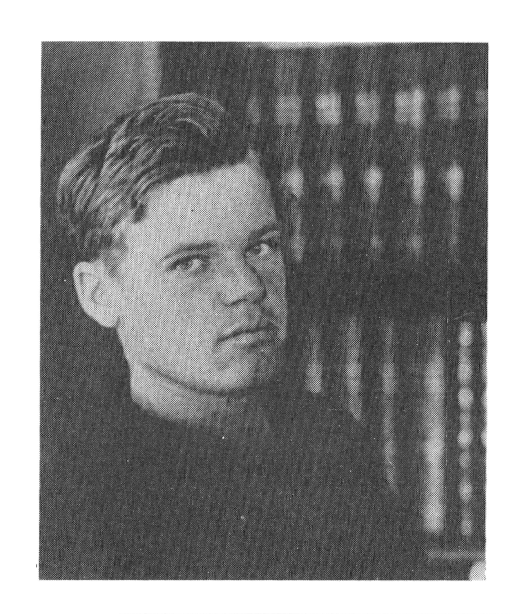
Новый магазин, новый «День поэзии», который быстро исчезает с прилавков, и новая квартира поэта — все это кажется на одном празднично-приподнятом уровне.

Я впервые вижу Леонида Мартынова так близко. Не в отдалении сцены или его пешего, несколько горделивого — как бы сквозь толпу или даже сквозь время — хода. Он приветлив, сосредоточен в себе и в то же время — открыт, без какой-либо дымки превосходства над молодыми собратьями по перу. Похвалил моего таежного «Соболенка», напечатанного в этом «Дне поэзии—57», и сразу стал еще ближе, понятней и необходимей — как поэт. А как человек?

В тот же вечер случай помог мне увидеть поэта и с этой — чисто человеческой стороны. Закончив выступление, мы развернули Книгу отзывов. Леонид Николаевич написал благодарность директору, солидной женщине, всем продавцам магазина, не забыл он и магазинную уборщицу. И когда это благодарственное дело было уже окончено и мы собрались уходить, он вдруг как-то весь встрепенулся, взволновался и воскликнул: «А сторожа-то, сторожа забыли! Ведь сторож у вас имеется?» — спросил Мартынов у директора



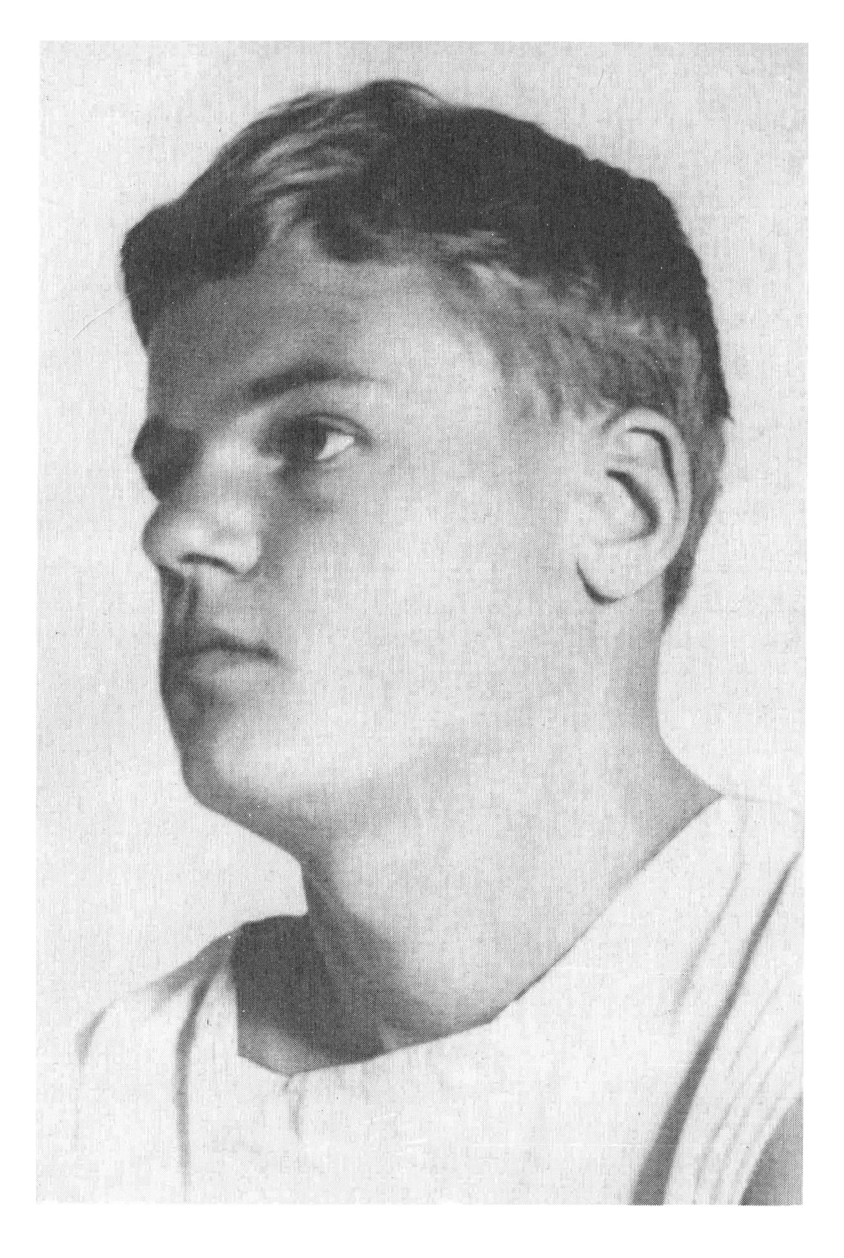
Л. Мартынов (слева) с братом Николаем, 1906 г.



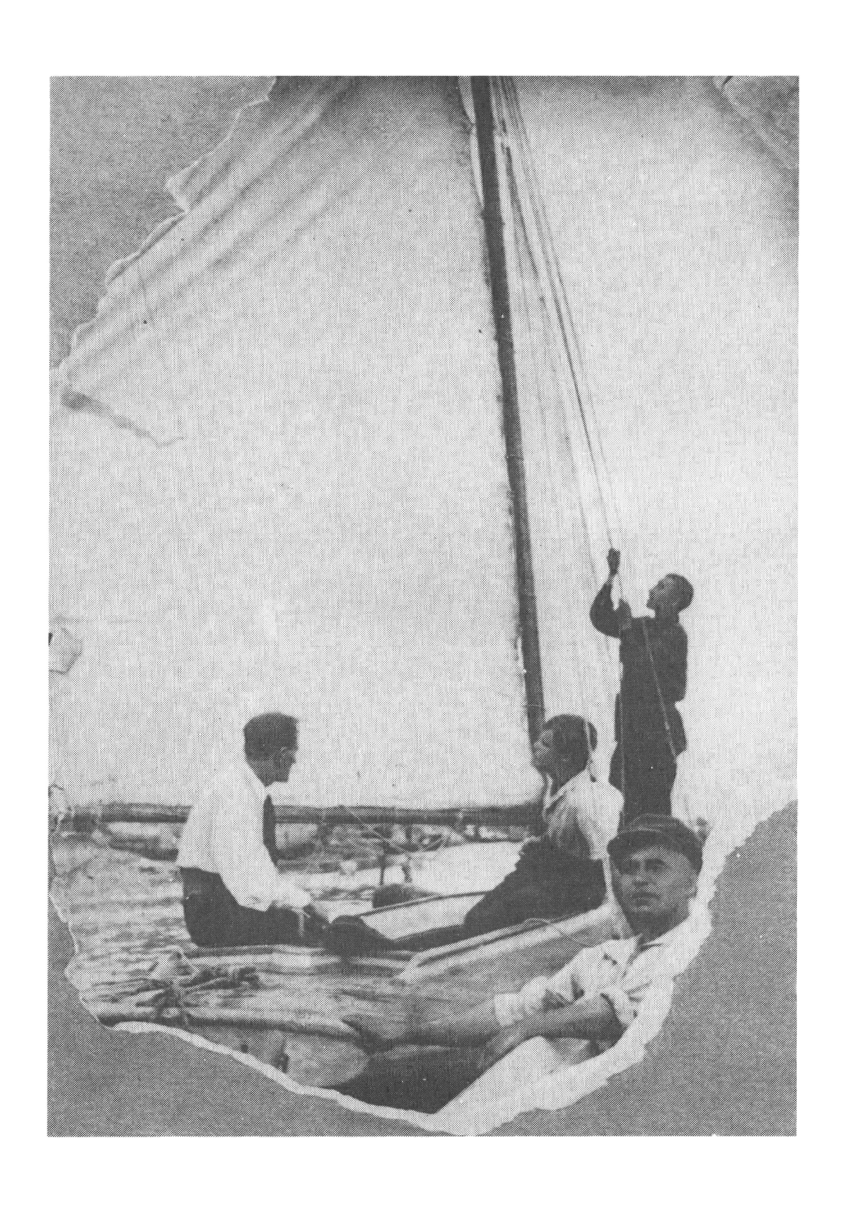


Леонид Мартынов. Начало 1920-х годов

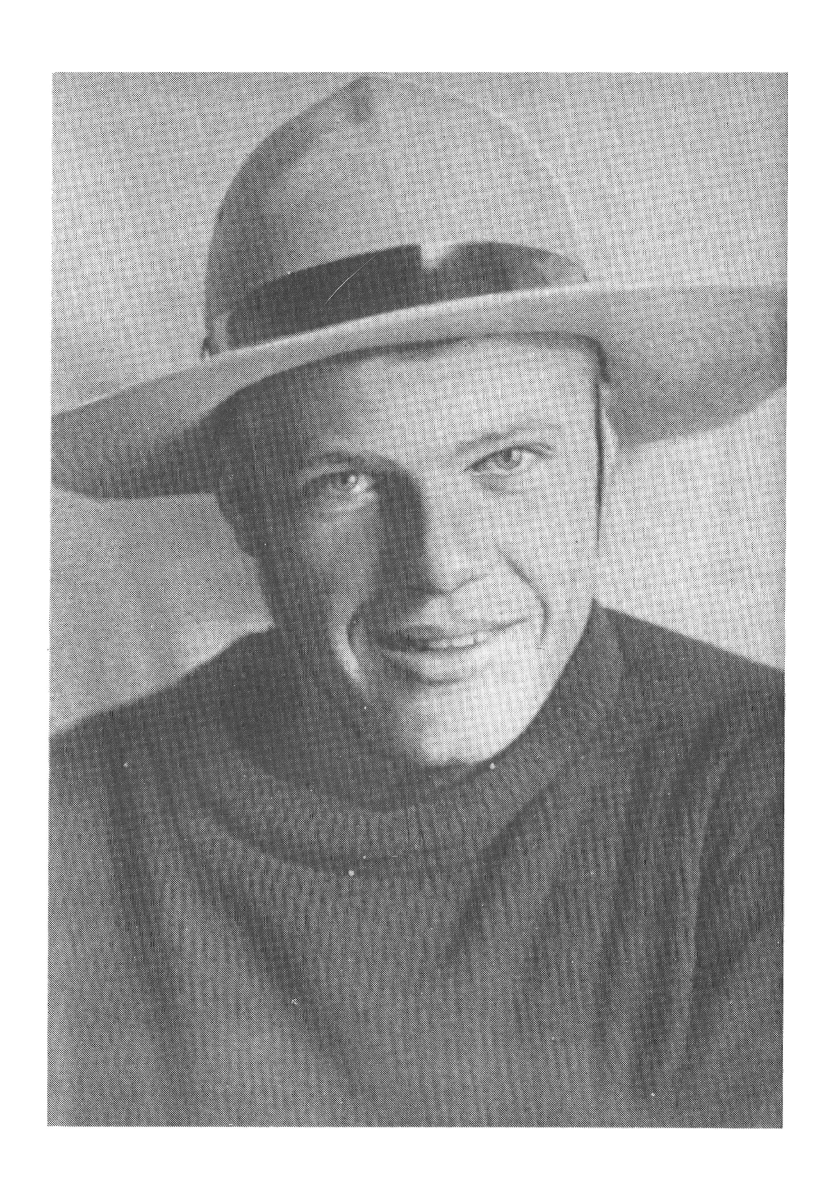
В. Уфимцев, С. Марков, Л. Мартынов. Омск, 1920-е годы



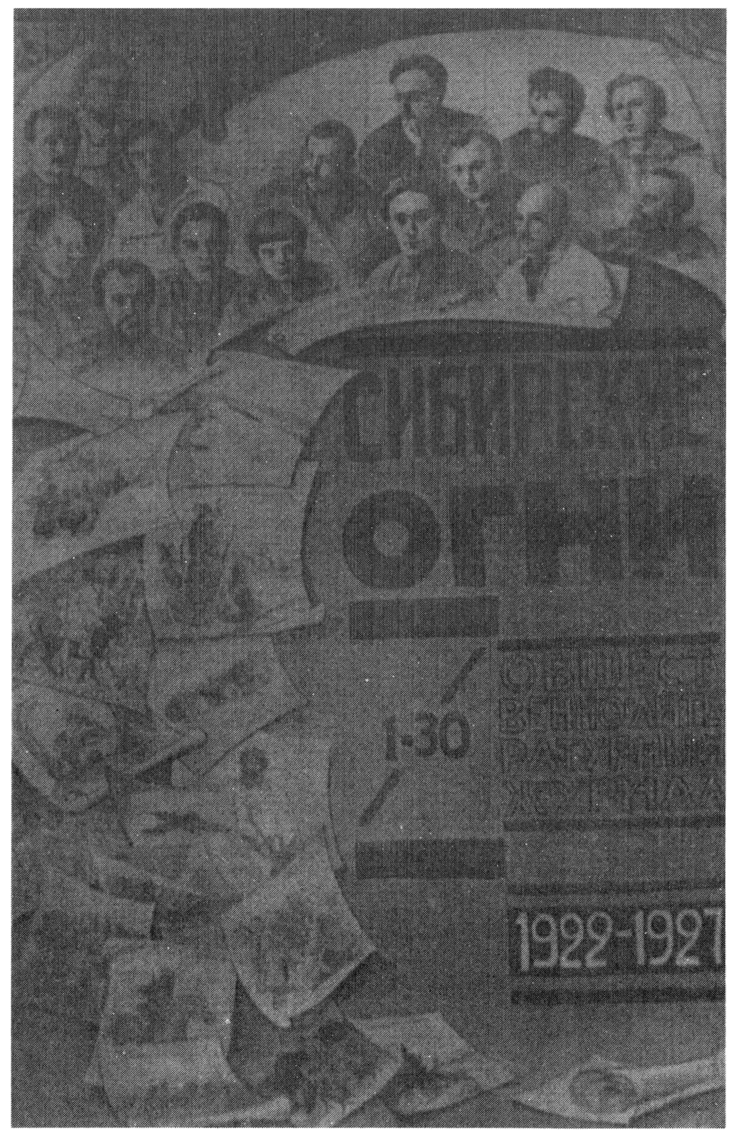
Леонид Мартынов. Середина 20-х годов. (Фото из архива В. Уткова)



Л. Мартынов на Иртыше. Омск, 1920-е годы

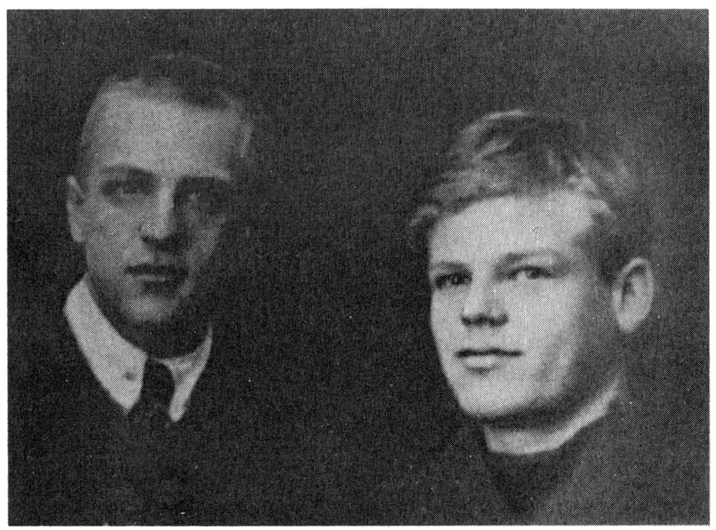


Л. Мартынов 1920-е годы



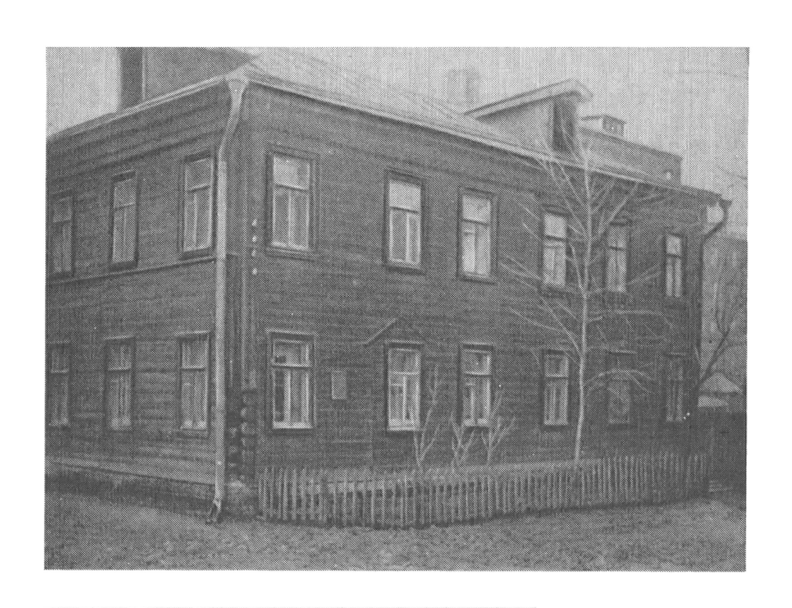
Обложка юбилейного номера журнала «Сибирские огни». Первый ряд (слева направо): П. Драверт, В. Итин, Л. Сейфуллина, И. Гольдберг, Г. Вяткин. Второй ряд: А. Сорокин, Г. Пушкарев, М. Никитин, Л. Мартынов, М. Басов, В. Правдухин, А. Оленич-Гнененко, В. Зазубрин, Кондр. Урманов, Вегман.





Л. Мартынов в кругу омских литераторов. Сидят (слева направо): П. Л. Драверт, А. С. Сорокин, Г. А. Вяткин. Стоят: Евл. Минин, Н. Семенов (Н. Мартынов), Л. Мартынов. 1925 г.

С. Марков и Л. Мартынов. Москва, апрель 1929 г.

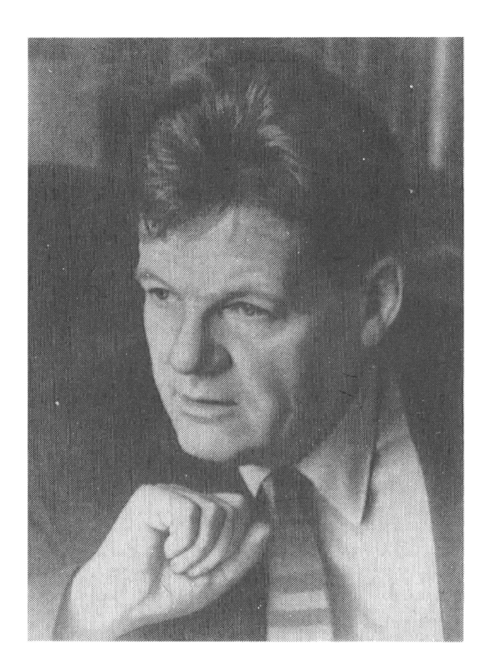


Как ты любишь писать мой закат,
Где лучи, умирая, горят
На головках у мяты болотных!
Мой закат тебе мил! Не [illegible]!
[illegible] ты меня не [illegible].
Я кричу: на холодных полотнах
Злой нитью меня не [illegible],
Неспособный меня осязать.

Я не то, что ты хочешь [illegible]!

Москва, 11-я Сокольническая улица, дом № 11, где жил Леонид Мартынов с 1946 по 1957 г. (Фото В. Уткова)

Автограф стихотворения Л. Мартынова «Солнце и художник». 1949 г.





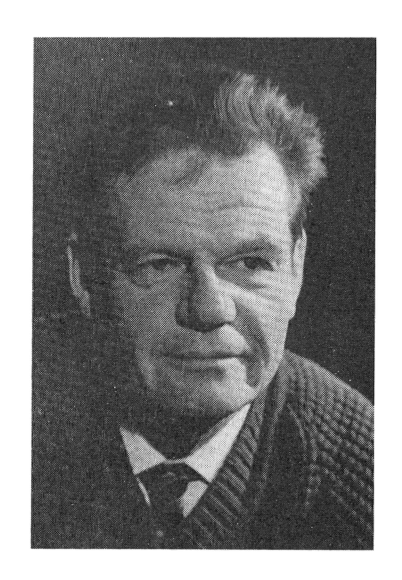
Леонид Мартынов. Москва, 1961 г. (Фото А. Лесса)

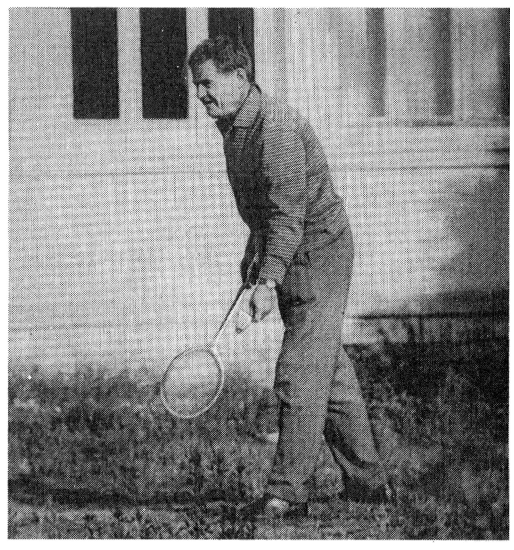
Л. Мартынов с женой Ниной Анатольевной. Москва, апрель 1963 г. (Фото В. Уткова)



Л. Мартынов. Абрамцево, лето 1963 г. (Фото В. Уткова)

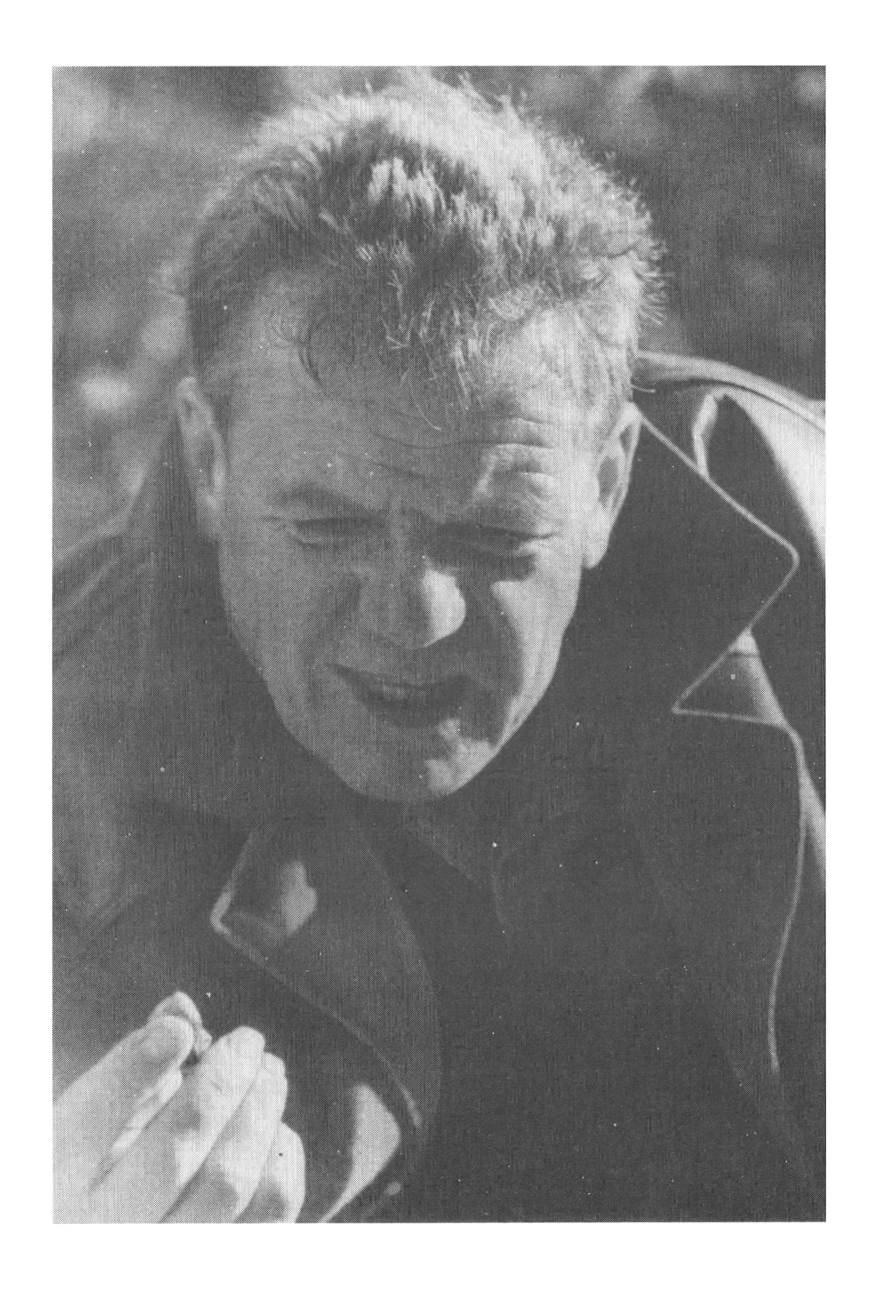
Л. Мартынов в гостях у М. С. Волошиной. Коктебель, 1963 г.



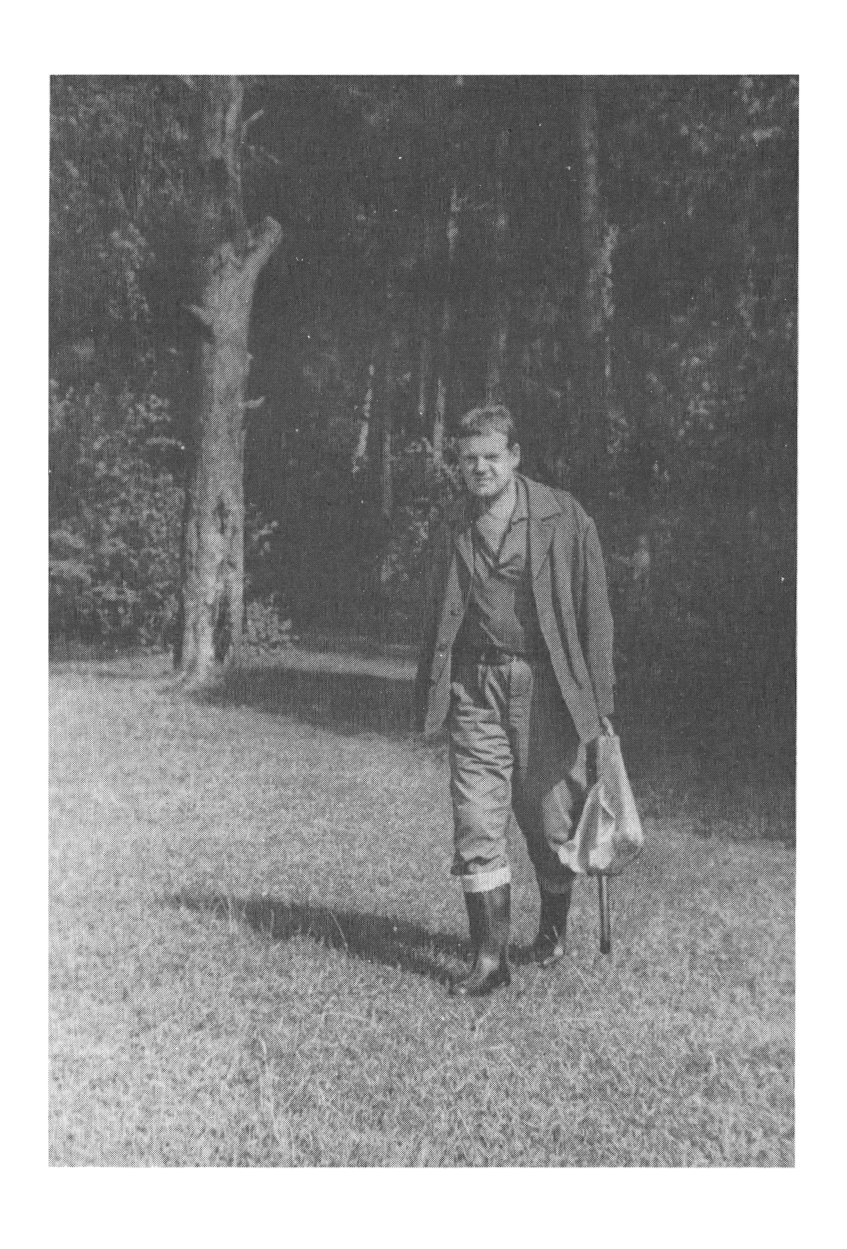


Леонид Мартынов. Январь 1965 г. (Фото Н. Кочнева)

Леонид Мартынов. Паланга, 1965 г. (Фото В. Уткова)

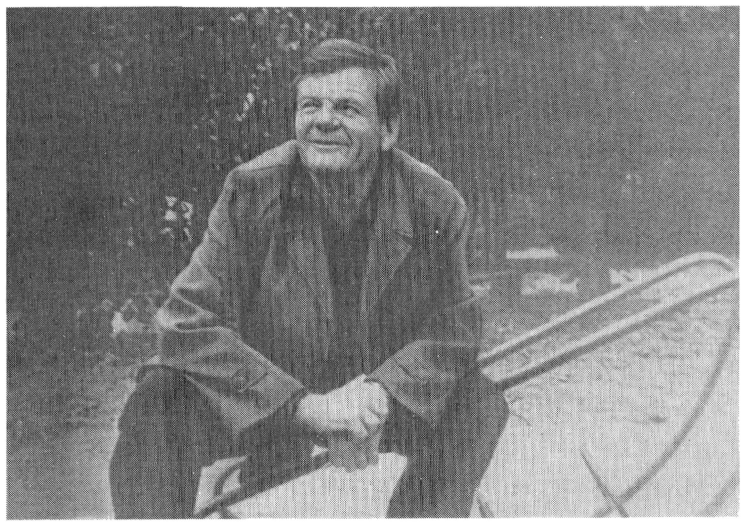


Леонид Мартынов. Паланга, 1965 г. (Фото В. Уткова)



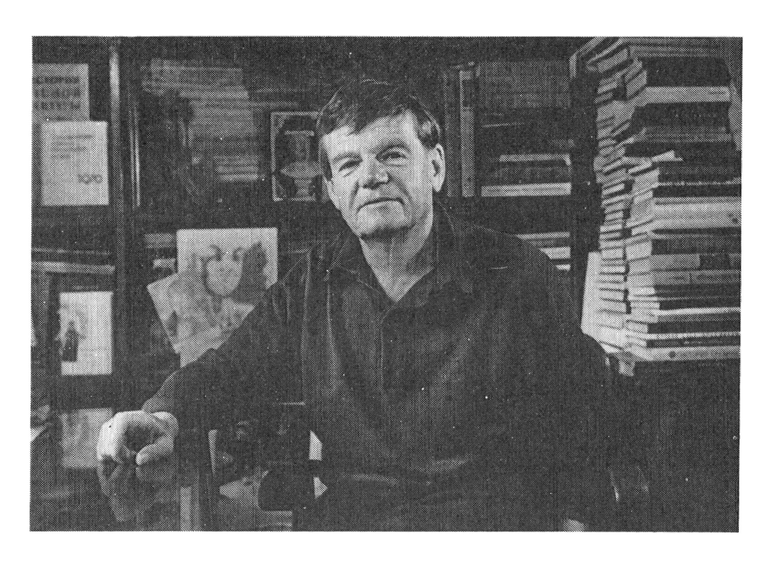
Л. Мартынов. Деревня Степановское, лето 1967 г. (Фото В. Уткова)

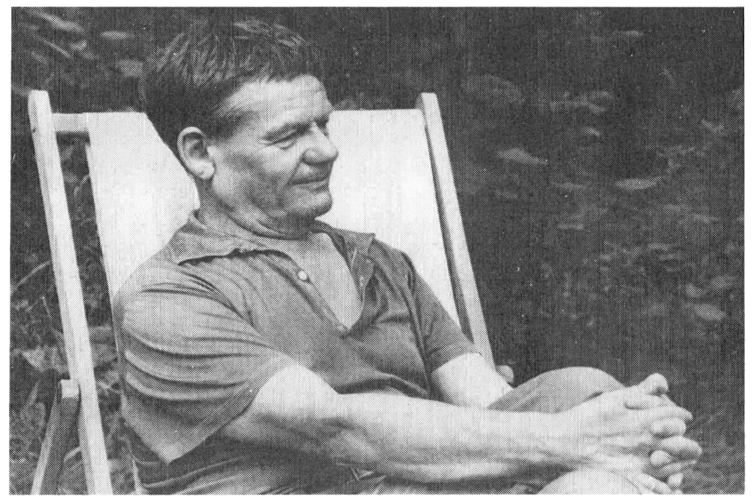




Л. Мартынов, А. Гидаш, Агнесса Кун на IV съезде писателей СССР. Москва, 1967 г. (Фото Н. Кочнева)

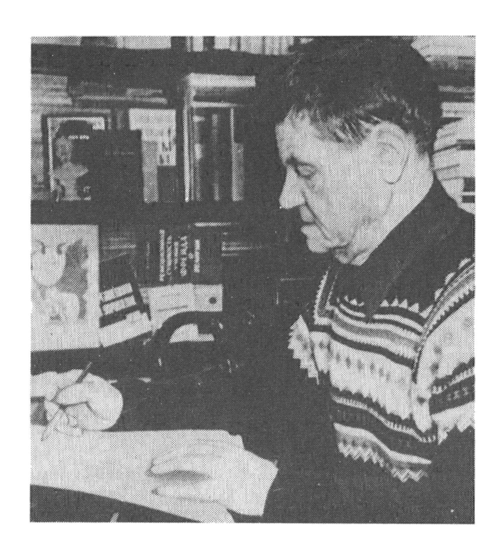
Л. Мартынов во дворе дома на Ломоносовском проспекте. Москва, сентябрь 1971 г. (Фото Н. Кочнева)





Л. Мартынов в своем кабинете. Москва, 1971 г. (Фото Н. Кочнева)

Л. Мартынов. Деревня Степановское, лето 1972 г. (Фото В. Уткова)





Леонид Николаевич Мартынов. Москва, 1973 г. (Фото С. Васина)

Открытие мемориальной доски на здании 1-й мужской гимназии, где учился Л. Мартынов (в настоящее время Институт усовершенствования учителей). Омск, 1986 г.

магазина. «Какой сторож?» — удивилась директриса. «Ночной, конечно же ночной,— пояснил Мартынов.— Ведь должен быть у вас такой сторож?..» Сторожем оказалась совсем юная девушка — студентка-заочница, которая тут же была восстановлена в своих правах на благодарность, как лицо, причастное к хорошей работе магазина по распространению и пропаганде советской поэзии.

Этот случай, сам по себе, может быть, незначительный, напомнил мне прежде всего о действительном существовании того Леонида Мартынова, который был автором известного стихотворения о юной дочке дворничихи, мечтающей стать балериной, или тех лирических стихов, в которых диапазон интимных переживаний так широк, что голос поэта становится слышным всей планете и всему человечеству. Потому, вероятно, что:

Невозможно
Жить на белом свете
И кружить лишь по своей орбите...

Многие орбиты соединялись в сердце поэта, интересы его простирались и в естественные науки, и далеко в русскую или мировую историю и в то же время всегда оставались интересами сегодняшнего дня, часа и даже минуты. В этом отношении, мне кажется, не было у нас в последние три десятилетия более по-молодому активного поэта. Он был самый молодой среди молодых и один из самых маститых среди маститых.

К поэтическому слову Леонида Мартынова прислушивались многие, даже самые известные поэты. Его наполненность временем с годами не уменьшалась, а увеличивалась. Иногда это слово приобретало характер доверительного откровения, в основе которого опять-таки был большой нравственный человеческий авторитет поэта. Уже одно его присутствие в литературе, казалось, исключало возможность хождения нашей поэтической Музы по путям невежества и халтуры. Леонид Мартынов как бы возвышался над всяческой смутой литературного быта. Однако мне, например, никогда не приходилось слышать от него слов неприятия, относящихся к кому-либо из собратьев по перу. Думается, что он не страдал недугом нетерпимости даже по отношению к тем поэтам, которые так или иначе противостояли ему своей школой или были прямыми антиподами в поэзии. «Этот поэт мне не близок» или: «Тут я, возможно, чего-нибудь недопонимаю»,— далее этого характеристика

обычно не простиралась. И наоборот, о человеке или поэте, который возбуждал к себе интерес, он говорил охотно и обстоятельно. И здесь, возможно, он смотрел вперед, видел далеко и, если говорить в духе сегодняшнего времени, мыслил ускоренно. В своих стихах разрабатывал своего рода диалектику поэтического мышления:

...А иногда, бывает, чудится,
Как будто бы во сне плохом,
Что сам ты обрастаешь мхом.

Но только этого не сбудется!
Умы горят и руки трудятся!
Ни гребни волн, ни снежный ком,
Ни пастбище с пастухом,
Ни всадник, скачущий верхом,
Ни соловей в лесу глухом,
Поющий на сучке сухом
Еще неведомо о ком,—
Они не обрастают мхом.

И ничего не позабудется!

Это стихотворение называется «Мхи». Написано оно более двадцати лет назад. А звучит оно так, как будто появилось на свет вчера лишь — по свежим следам неисчерпаемой злобы дня! И написать его мог только человек действительно неравнодушный ко всему, что происходит в мире, человек, который так терпеливо и вдумчиво склонялся над Книгой отзывов и предложений в тот День поэзии в Черемушках.

1987

ЗВЕЗДОПАД В КОМНАТЕ

— Посмотрите!..—
Леонид Мартынов
Вечно рад,
Чему-то юно рад.
Голову под звезды запрокинув,
Наблюдает книжный звездопад.
А в соседстве
　　　　　　начинают вещи
Жить своей особою судьбой —
Шкаф грохочет,
　　　　　　　тишина трепещет,

Камни говорят между собой.
Где-то — сила. Где-то — маска мага.
Всюду — человеческая стать...
У Мартынова в руках бумага
Начинает сказочно блистать.
Он глядит, овеян звездопадом,
Озарен планетами жилья,
И к великим духа баррикадам
Движет человеческое Я.
Здесь науки
                    с примесью алхимий,
Здесь и книги,
                    и миры парят...
Вижу, Николаевич,
                    ваш синий,
Устремленный в будущее взгляд.
Верю — разобьются вихри века
О рабочий мостик корабля.
Радуюсь — такого человека
Породила древняя земля!
И плывут тома, сверкают томики,
Домики глядят на палисад.
И венчают Новые Черемушки
Ваш домашний
Книжный звездопад!

М. С. Певзнер-Рейснер

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ

В сентябре 1958 года я возвращалась в Москву после отдыха в Джубге. В Туапсе я должна была сесть на московский поезд. Когда поезд прибыл и я подошла к своему вагону, в одном из окон его показался мужчина и крикнул: «Загорелую даму к нам! Загорелую даму к нам!..» Я не обратила на этот возглас внимания, вошла в вагон, и неожиданно мое место оказалось в купе, где находился этот человек. С ним была спутница, которой он сказал: «Вот видишь, Ниночка, загорелая дама у нас! Теперь нужно постараться, чтобы к нам никого больше не подсаживали...»

Поезд тронулся, у нас завязался разговор. Я рассказала о Джубге, о том, что там прекрасный берег и почти нет людей. Сосед мой по купе довольно сдержанно поделился своими впечатлениями об отдыхе в предместье Сочи, где было многолюдно и менее удобно, а потом вдруг задал мне вопрос: «Кто из поэтов вам больше всего нравится?..» Вопрос застал меня врасплох, я растерялась и ответила примерно так: «Пушкин, Лермонтов, Блок, Пастернак...» «А еще кто?..» — спросил мой вагонный спутник. И тут я вспомнила, как мой покойный муж однажды вечером после работы сказал мне, что прочитал маленькую книжечку стихов поэта Мартынова, которые так ему понравились, что он не может не рассказать мне об этом. Он на память прочитал мне два-три коротких стихотворения, действительно необычных и по форме и по глубине мысли. Я сказала об этом моему собеседнику...

— Так вам понравились м о и стихи! — воскликнул он.— Очень, очень рад! — Глаза его засияли, лицо словно осветилось внутренним светом. Он открыл свой портфель и вынул из него небольшую, в зеленом переплете, тоненькую книжечку. Это был томик стихов, изданный «Мо-

лодой гвардией» в 1955 году, о котором мне и говорил мой муж...

Так случай свел меня с поэтом Леонидом Николаевичем Мартыновым, знакомство с которым стало после этого многолетним и прочным...

Мы представились друг другу, и наша беседа сразу же стала живой и интересной. Леонид Николаевич много слышал об Игоре Михайловиче Рейснере, моем муже, индологе и афганисте. Высоко ценил он и его сестру Ларису Рейснер. Вспомнили, конечно, «Оптимистическую трагедию» Всеволода Вишневского, в которой прообразом женщины-комиссара была Лариса Михайловна, говорили и об Индии, об Афганистане, специалистом по истории и национально-освободительным движениям которых был мой муж... Я сразу поняла, что имею дело с весьма эрудированным собеседником, обладающим широкими познаниями. Дорога до Москвы прошла незаметно, и для меня, недавно перенесшей тяжелую утрату — смерть мужа, она была и целительной, смягчила остроту потери...

Мы обменялись телефонами, обещали навещать друг друга. Через неделю Нина Анатольевна и Леонид Николаевич пригласили меня к себе.

Приняли они меня с удивительным радушием и теплотой. Спустя много лет Нина Анатольевна призналась мне, что они с Леней, как она называла всегда мужа, еще в поезде, узнав о моей потере, решили не оставлять меня, как-то помочь мне в моем горе...

Тогда я об этом, конечно, не знала, и первое же посещение квартиры Мартыновых открыло передо мной Леонида Николаевича не только как душевного человека и прекрасного поэта, но и как разносторонне и широко образованную личность. Его кабинет — большая комната — до потолка был заставлен книжными полками. Я стала знакомиться с книгами. Меня поразило их разнообразие: книги по истории искусства, по психологии, по экономико-географическим знаниям и т. п. И тут мне попалась в руки одна из книг Зигмунда Фрейда, изданная в 20-е годы. Мне, как медику-психиатру, было, конечно, хорошо знакомо учение Фрейда, его постулаты о роли подсознательного в человеке, его переоценка психосексуальных моментов в поведении людей, хорошо я была знакома и с критикой учения Фрейда. У нас завязалась беседа о Фрейде, и тут Леонид Николаевич открылся мне еще с одной стороны — его высказывания о Фрейде убедили меня, что он читал самого Фрейда, а не

только критику его взглядов и подходит к работам австрийского ученого со своей точки зрения. Он говорил мне, например, что Фрейд не отрицал значения социального и роли высшего разума человека и на этой основе строил свой психоаналитический метод познания душевных заболеваний. С этим нельзя было не согласиться...

И впоследствии не один раз я убеждалась в необыкновенной жадности Леонида Николаевича к познанию, в его умении быстро схватывать в трудах ученых самое главное. У него был ярко выраженный интерес к психологии человека, к исследованиям по этому вопросу виднейших отечественных ученых — И. М. Сеченова, И. П. Павлова, В. М. Бехтерева,— работы их имелись в его библиотеке, и мы при встречах нередко вели беседы об их трудах, о развитии их взглядов в современной науке. Эти разговоры были для меня всегда интересны. Леонид Николаевич часто высказывал оригинальные мысли, заставлявшие и меня, специалиста, порой задумываться над, казалось, общеизвестными истинами.

Как-то во второй половине 60-х годов у нас возник разговор о Льве Семеновиче Выготском, моем учителе, психологе с мировым именем. Я была уверена, что Леонид Николаевич не знает о нем или самое большее знает о нем только понаслышке. Однако только я начала рассказывать о своем учителе, как Леонид Николаевич сказал мне, что он читал его «Психологию искусства» (первое издание ее вышло только в 1965 году) и очень ценит ее за трезвый подход к психологии творчества, за то, что ученый на первое место ставит не эмоции, а разум. Исследуя творчество Крылова, Шекспира (Гамлет), композиции новелл, Выготский стремился рационально оценивать психологические мотивы произведений искусства, не подходить к ним с точки зрения удивительного феномена, в основе которого лежат эмоции автора (удивление, смех, горе и т. п.), а только с точки зрения разума. Леонид Николаевич знал и как возникла эта работа — Выготский написал ее в 19 лет!.. Все это меня поразило, я никак не ожидала от непрофессионала такого проникновения в теоретические положения ученого... В моем общении с Леонидом Николаевичем появился и чисто профессиональный интерес, меня начал занимать характер его мышления. Все мое знакомство с ним теперь было пронизано не только дружескими чувствами, но вполне закономерным интересом ученого к поэту-мыслителю. Интерес этот не угасал во мне до последних дней жиз-

ни Леонида Николаевича, не угас он и сейчас, после его смерти...

Мартыновы бывали и у меня на даче, недалеко от станции Тучково, под Москвой. Мы гуляли в окрестностях, любовались дивными картинами природы — сверкающей подковой Москвы-реки, лесами на ее берегах, полями, лугами. В поэзии Леонида Николаевича остался след от этих поездок:

Мы
С Минского шоссе
Свернули за Тучково,
И вдруг во всей красе
Москвы-реки подкова!

В нее луны огонь
И звезд мерцанье влито.
Какой небесный конь
Сронил ее с копыта?

Ее мне не поднять,
В карман ее не спрячу,
Но надобно нанять
Здесь летом будет дачу.

Тогда Леонид Николаевич был еще здоров и очень любил пешие прогулки. Вместе с нами нередко ходил и мой девятилетний внук, типичный современный акселерат, вымахавший значительно выше своей возрастной нормы. Естественно, разговор у нас возник и об акселерации, явлении, о котором в то время много писали. Я расценивала это явление только как характерное для XX века. Но Леонид Николаевич спорил со мной, говорил, что акселерация молодых возникала периодически, в разные века, в зависимости от деятельности солнца. В его устах это звучало убедительно. Так же мы говорили и спорили о возникновении жизни на земле, нашей солнечной системы, о космогонической гипотезе О. Ю. Шмидта... Беседы эти всегда были содержательны и интересны...

Вспоминаю еще один забавный эпизод, который послужил Леониду Николаевичу сюжетом для стихотворения. Однажды Мартыновы приехали ко мне на дачу вместе со своим старым другом писателем Виктором Утковым. Пошли погулять на берег Москвы-реки. Здесь на холме стояла вросшая в землю старая деревянная лодка, бог весть как попавшая сюда. Ее носовая часть, хорошо сохранившаяся,

живописно рисовалась на фоне летнего неба с легкими облаками. Виктор Утков решил сфотографировать нас на этой лодке... Что последовало потом, видно из стихотворения Леонида Николаевича:

Мы
Снялись
На фоне облаков
В челноке, стоящем на вершине
Невысокого холма.

Вытащили, видно, в половодье
Тот челнок, да там и позабыли.
И стоит он на горе, на якоре
С якорною цепью, уходящей
В глубь оврага, в травы и цветы.

В этом снимке столько красоты,
Что фотограф даже не сумеет
Проявить его.

И ветер веет
Над прекраснейшим из челноков,
Этим вот, в котором я и ты
Будем плыть на фоне облаков.

Дело в том, что фотоаппарат подвел и снимка не получилось, а вместо снимка мы получили стихотворение, которое еще раз показало нам, как простые житейские впечатления преломлялись в сознании Леонида Николаевича и давали толчок творческому восприятию действительности...

Наши встречи с Леонидом Николаевичем всегда были содержательны, и каждый раз я убеждалась, что передо мной не просто интересный, много знающий человек, не просто поэт выдающийся, а поэт-мыслитель, поэт-гражданин, и каждый раз я благодарила случай, который свел нас в вагоне поезда Сочи — Москва в трудный час моей жизни...

1983

Ал. Михайлов

КАК КРИТИЧЕСКОЕ ПЕРО СПАСОВАЛО ПЕРЕД СТИХАМИ ЛЕОНИДА МАРТЫНОВА

Не могу похвастать коротким знакомством с Леонидом Николаевичем Мартыновым, хотя на протяжении последних десяти и даже более лет его жизни нам приходилось общаться и разговаривать не только по деловым вопросам. Ко времени знакомства с ним, в конце шестидесятых годов, я уже, пожалуй, представлял себе, какого масштаба художника имеет наша литература в лице Мартынова. Может быть, именно это обстоятельство и помешало сойтись ближе. Леонид Николаевич давал повод догадываться о его расположении или, по крайней мере, некотором интересе ко мне, но неистребимая провинциальная робость перед высоким писательским авторитетом мешала сократить то расстояние между нами, которое занимала почтительность, никогда, кстати, не мешавшая мне в литературно-критической работе. А вот тут как раз не помешала бы репортерская предприимчивость, но, увы, я никогда не работал в газете...

В начале 60-х я писал в периодике о поэзии Леонида Мартынова, значительное место посвятил ему и в книгах «Поэт и лирический герой» (1960) и «Лирика сердца и разума» (1965). Поэтому и утверждаю, что в какой-то мере представлял значение творчества этого замечательного поэта.

Первое знакомство было телефонным, я вполне серьезно вознамерился написать книгу о Мартынове и, когда начала складываться ее идея, позвонил Леониду Николаевичу, представился, ничего пока не говоря о своем замысле, а найдя какой-то иной предлог для звонка. Обстоятельства, однако, отодвинули очное знакомство, книгу — и очень хорошую — написал о Мартынове Валерий Дементьев, я же написал рецензию на эту книгу.

Встреча состоялась позднее: по приглашению Леонида Николаевича, я навестил его дома, на Ломоносовском проспекте, в типичной писательской квартире, где над всем господствуют книги. Хотя библиотека Мартынова (об этом уже писали) довольно своеобразна по подбору книг, она как раз свидетельствует о широте эрудиции Леонида Николаевича, о его живом интересе, например, к естественным наукам.

Книги же заполняли полки от пола до потолка, были навалены стопками на столе, на каких-то подставках, на стульях. Поначалу казалось — тут царит хаос, но хозяин хорошо ориентировался в этом хаосе, быстро находил нужную книгу, показывал, открывал замеченные им прежде страницы, не утомляя цитированием, а просто обращая внимание на то, что ему казалось примечательным, ради чего эта книга занимала место в его обширной библиотеке.

«Книжность» у нас с какого-то времени кое-кем почитается отрицательным качеством в поэзии, хотя все дело в органическом усвоении книжных знаний и поэтическом их осмыслении. Леонид Мартынов не может быть квалифицирован как «книжный поэт», но поэзию его невозможно представить без книжных знаний, без книжной, журнальной и газетной информации, которой полнится каждый день нашей повседневной, как будто бы совершенно обыденной жизни.

Я уж не говорю здесь об исторических поэмах Мартынова, которые невозможно было бы написать без предварительной исследовательской работы, изучения архивов. Но вот, скажем, стихотворение «Никогда». Оно написано в 1954 году. Я впервые услышал его (не прочитал) от Евгения Ивановича Осетрова, который тогда, в 50-х годах, увлекался Мартыновым. Я был поражен размахом воображения, поражен тем, как, в общем-то, интересная, а для ученых в определенной области знания, возможно, сенсационная весть о том, что в Исландии обнажились из-подо льда семисотлетней давности пашни, стала для поэта поводом к серьезному раздумью насчет стереотипов нашего мышления: «Вот и вздумай сказать: никогда, никогда не бывало такого!»

Мысль поэта раскручивается, как спираль, виток за витком: «Значит, нет никаких никогда,— есть когда-нибудь или когда-то». Доверие к науке, ее осмотрительность, может быть, и сдерживают порыв и эмоциональность поэта и склоняют его к диалектическому выводу:

Это так!
Но какое-то «но»
Существует и существовало...
Знаю:
Скоро случиться должно,
Что еще никогда не бывало!

Когда в беседе с Леонидом Николаевичем я напомнил об этом стихотворении и высказал соображение, что, вероятно, оно возникло как непосредственный отклик на сообщение радио или газет, он деликатно возразил, сказав, что у него редко пишутся стихи сразу, как отклик, что чаще, как было и со стихотворением «Никогда», поразившее его событие, мысль, сообщение, открытие возникают в памяти потом, не давая покоя воображению, завладевая им; он так и сказал: «дразнят ум»,— пока не рождается какая-то поэтическая ассоциация, дающая толчок к написанию стихотворения.

Мартынов не любил ни рассказывать, ни тем более писать о том, как он пишет, даже раздражался, когда его об этом просили. Может быть, поэтому он под любыми предлогами избегал устных выступлений. Я несколько раз приглашал его выступить в маленькой аудитории — перед студентами семинара в Литературном институте, пока не понял, что это безнадежная затея. Леонид Николаевич, прямо не отказывая, тем не менее отговаривался то занятостью, то нездоровьем, а то и просто разводил руками:

— Ну что я им буду говорить? Ведь, поди, будут спрашивать, как пишу да о чем можно писать, а о чем — нельзя?

И все-таки в «Воздушных фрегатах» он рассказал о том, как была написана его забытая поэма «Зима в Багдаде», рассказал, что поводом к ее написанию послужили известия о суровых зимах на Ближнем Востоке, почерпнутые из свежих газет. Но их дополнили взятые из старых книг факты о стародавних связях арабов со славянами, личные ощущения Сибири, Урала, Поволжья... И здесь газетное сообщение было первоначальным толчком.

А как возник образ Лукоморья! Это целая прекрасная и поучительная новелла, которую все интересующиеся психологией творчества могут прочесть в «Воздушных фрегатах». Прочесть, чтобы понять, какую огромную роль, помимо книжных знаний, играло в творческом процессе воображение.

А то, что Леонид Николаевич был наделен ярким и

необычайно живым воображением, особо и не надо доказывать, вся его поэзия — вдохновенный полет фантазии, воображения. Но в какую поэму складывались рассказы Мартынова о каждом экспонате его знаменитой — в кругу знакомых — коллекции камней! Тут уж вступал в силу талант пластики, объемного изображения: каждый камешек на ваших глазах превращался то ли в какой-то предмет быта, то ли в диковинное животное, то ли напоминал человека — с характером, в образе...

Хотелось бы вспомнить маленький эпизод из нашей встречи дома у Леонида Николаевича.

После традиционного чаепития и длительной беседы, в которой я, естественно, был больше слушателем, Леонид Николаевич вдруг встал, протянул руку к одной из книжных полок и извлек оттуда мою небольшую книжицу «От устной поэзии — к литературе», изданную в Архангельске в 1954 году, и стал говорить о ней, как может говорить человек, внимательно прочитавший книгу.

Нет, нет, дело вовсе не в каком-то особом интересе Мартынова к этой книжке или к моей персоне и не в особых достоинствах этой скромной книжки, дело в том, что Леонид Николаевич был одним из рецензентов (вторым был Георгий Радов) в приемной комиссии, когда меня принимали в Союз писателей. Я об этом узнал от Радова и никогда не пытался выяснить, что именно говорил тогда обо мне и, в частности, о книжке «От устной поэзии — к литературе» Мартынов, по-видимому, что-то близкое к тому, что он говорил при встрече, и речь идет не об оценке, а о его взгляде на проблему обогащения литературы сокровищами устнопоэтического творчества народа. Помню, он объяснял, почему русский европейский север дал целую плеяду замечательных хранительниц и хранителей былин, сказок, песен, а Сибирь в этом смысле не проявила себя.

— В Сибири,— говорил Мартынов,— население разнородно, туда переселялись, выселялись, бежали люди со всех концов России, с Украины, на сибирской земле оседали и каторжники, и бывшие политзаключенные царских тюрем, и просто искатели приключений. Это людской конгломерат...

— Но ведь корень-то у нас, русских северных европейцев, и у вас, сибиряков, один, новгородский!

— Не совсем,— возразил Леонид Николаевич, и за этим последовал подробный, увлекательный, оснащенный красочнейшими эпизодами рассказ об освоении Сибири...

— Леонид Николаевич, но та часть русского населения Сибири, предки которой шли через Камень, которая происходит от новгородского корня,— она-то ведь принесла с собой, вместе с обычаями, диалектом, особенностями быта, также и устнопоэтическое наследие, почему же оно не сохранилось в Сибири в таком изобилии, как у нас, в Архангельской области, в Карелии?

— Для сохранения традиций, для их поддержания нужна однородная среда. В тех местах Сибири, где есть однородная среда, лучше сохранились фольклорные богатства. Но вам, европейским северянам, повезло больше, вас меньше, чем другие области России, коснулась миграция населения. Я жил некоторое время в Вологде, в тридцатых годах, бывал и в Архангельской области. Север — настоящий заповедник устнопоэтического творчества народа. И вы правы: Маремьяна Голубкова (о ней идет речь в книге «От устной поэзии — к литературе».— *А. М.*) — одна из многих истинно талантливых русских крестьянок, которые не только держали в памяти огромное количество былин, сказок, песен, пословиц и поговорок, но и имели замечательные способности к импровизации. Необычайно талантливы Марья Кривополенова, Марфа Крюкова...

Меня тогда волновал вопрос, который дискутировался в литературной печати,— об интеллектуальном кругозоре современной лирики (это уже в ходе дискуссии оппоненты, как нередко бывает, искажая начальный тезис, приписали мне термин «интеллектуальная поэзия»). Естественно, я заговорил об этом с Леонидом Николаевичем. К сожалению, не записал тогда нашего разговора и не буду пытаться воспроизвести его, передам лишь суть того, что говорил поэт.

Он следил, и очень внимательно, за дискуссией, это было видно по его полной осведомленности о ее ходе и готовности включиться в разговор. Стихи Мартынова фигурировали в дискуссии; писалось, в частности, о том, что страсть к познанию ведет к интеллектуальному наполнению стиха, насыщает его острой мыслью, что углубленный интеллектуализм, вольная игра ума и воображения определяют поэтическое своеобразие Мартынова.

Леонид Николаевич, повторяю, с готовностью и охотой включился в разговор. Его смущал термин «интеллектуализм». При том, что это конечно же термин рабочий, условный, Мартынов считал его «избыточным» (я запомнил этот эпитет), объединяющим с поэзией нечто, не относя-

щееся к ней. Но, собственно, о термине мы почти и не спорили, в конце концов, ни один термин не исчерпывает явления, которое он обозначает. Важно было другое — дыхание современности в поэзии, живое ощущение того, что происходит вокруг нас, во всем мире. Тут вступал в действие темперамент мыслителя, человека, необычайно остро реагирующего на развитие научно-технического прогресса. Темперамент поэта, естественно, сказался в стихах, в горячей его убежденности, что мы стоим на пороге новых великих открытий:

В наше время сбываются часто
Коль не те, так иные мечты,
Не того, так другого фантаста.
Есть ведь силы, их только затронь —
Оживают, стремятся наружу!

Леонид Николаевич говорил о том, что современная поэзия не может не отразить такое грандиозное явление, меняющее на наших глазах облик мира, как научно-техническая революция, что она входит в наш быт, меняет ритм жизни, привычки, психологию человека. Поэзия, литература, искусство не могут делать вид, что ничего этого нет, что они ограждены от этих перемен некоей природной человеческой данностью, единой на все времена. Жизнь постоянно, каждодневно ставит вопросы, разжигает наше любопытство своею новизной, заставляет думать, значит, и поэзия не может не задумываться, не погружаться в круг волнующих общество проблем его развития. Бездумная поэзия — это бесстрастная поэзия. Леонид Николаевич при мне не говорил о своих критиках, не жаловался на тех из них, кто приложил тяжелую руку к его творческой судьбе (кстати, в «Воздушных фрегатах» у него только одна-две реплики о критике), но, возможно, имел в виду и себя, упреки критики по его адресу, когда говорил, что поэзия — если она поэзия! — не может быть рационалистической, что образная мысль не бесстрастна.

Не знаю, как относился Леонид Мартынов к тому, что я в разное время писал о нем. Он ограничивался общепринятыми словами благодарности в ответ на посланные или лично врученные ему мои книги, где писалось о Мартынове, возможно, его отношение было сдержанным. В дискуссии же об интеллектуализме — по самой ее сути — он решительно взял мою сторону и как во время той встречи у него дома, так и после в разговорах развивал идею совре-

менно и остро мыслящей поэзии, которая не только пробуждает волнение в душе, но и заставляет думать, напрягать мысль.

Как-то я рассказал Леониду Николаевичу о довольно забавном, хотя и не очень приятном для меня случае, связанном с моей оценкой его стихов. Но тут необходима короткая предыстория.

В 60-х годах журнал «Вопросы литературы» вел рубрику «Диалог поэта и критика». Давалась обычно подборка новых стихов кого-либо из видных поэтов и заметки критика об этих стихах, нечто вроде разбора. В таком «диалоге», по взаимному согласию, встретились поэт Леонид Мартынов и критик Александр Михайлов (1966, № 6). Тогда впервые были опубликованы стихотворения Мартынова «Тоху-вобоху», «Оракул», «Черно-бурая жертва», «Библиотека Грозного», «Близость», «Спиной к спине», «Курский выступ». В разборе этих стихотворений, в частности, говорилось: «...если нравственная сторона жизни, повышенный и, я бы сказал, пристрастный интерес к личности захватили буквально всю нашу поэзию, то интеллектуализм, философичность являются пока привилегией немногих поэтов-современников, и Мартынову здесь, безусловно, принадлежит одно из самых первых мест».

Готов и сейчас утверждать, что тогдашняя журнальная подборка стихов нелегка для анализа. Конкретному разбору предшествовали такие слова (умоляю читателя простить это невольное цитирование самого себя):

«О чем бы ни писал Мартынов — о сказочном Лукоморье или о раскопках Помпеи, о седой старине или XXI веке, о добре и зле, о лжи и правде, совести и свободе,— стихи его современны, пронизаны острой мыслью, вовлекают читателя в сферу напряженных поисков истины».

Вот в этом духе и идет разбор стихов. И сейчас речь не о том, каким он получился, но там есть критический пассаж, подводящий к стихотворению «Спиной к спине», стихотворению, перед которым я, как критик, спасовал, поскольку ситуация, данная в нем, показалась мне не просто парадоксальной, но и не исключающей возможности прямо противоположных аналогий. Я написал тогда:

«Мне, например, кажется, что здесь отразился некий «антимир», жестокий и чуждый, но какие-то детали образной структуры не позволили сделать определенный вывод, и я честно сложил свое критическое перо перед непостижимым для меня смыслом стихотворения «Спиной к спине»...»

А теперь о том, как это аукнулось и что я рассказал Леониду Николаевичу.

Вскоре после опубликования «диалога» в журнале я выступал с докладом о современной поэзии перед слушателями народного университета культуры в большом зале Центрального Дома литераторов. Поскольку я редко и неохотно выступаю с публичными докладами и лекциями, то, естественно, всегда жду критической оценки своих выступлений. И в данном случае она последовала. В самой неожиданной форме. Возвращаясь после выступления домой, усевшись поудобнее в троллейбусе, я обратил внимание на сидевших впереди меня молодых женщин, как выяснилось из их реплик, учительниц, которые тоже возвращались из ЦДЛ и обсуждали только что прошедшее занятие в университете. Речь зашла обо мне. Я поднял воротник пальто, чтобы, случайно обернувшись, не узнали, с замиранием сердца прислушался.

— Ну как вам понравился лектор? — спросила одна (их было трое).

— Ничего,— довольно равнодушно ответила та, к которой больше обращалась задавшая вопрос.

— Ничего интересного,— сурово вмешалась третья. Задавшая вопрос пыталась защитить притаившегося рядом, сгорающего от стыда лектора, говорила какие-то добрые слова, но третья поставила точку, вынесла окончательный приговор, сказав:

— Какой же это критик? Я недавно прочитала в «Вопросах литературы» его статью о Мартынове: он там прямо признается, что не понял его стихотворения и сложил перед ним оружие!

Несчастный лектор, еще глубже спрятавший свое лицо в воротник, был сражен наповал.

...Весело посмеявшись, Леонид Николаевич сказал мне тогда:

— А вы знаете, откуда идет этот ригоризм? От критики же. Она приучила читателя к однозначности оценок: или хорошо, или плохо, а сомнения вовсе исключила из своего арсенала...

Помолчав немного, добавил:

— Стихотворение «Спиной к спине» мне все-таки дорого. Никакой там, конечно, не «антимир», но я согласен, есть нарушение внутренней логики, это и путает читателя, и вас в том числе. Кстати, я совершенно изменил в нем ключевую для понимания смысла последнюю строку.

Вот заключительная строфа стихотворения:

Но все же нет обратного пути,—
Друг с другом разлучиться не сумели
И научились все-таки идти
Плечом к плечу к одной и той же цели!

В первом варианте, в «Вопросах литературы», последняя строка выглядела так: «Спиной к спине к одной и той же цели!» Согласитесь, смысл совершенно иной. Но я как-то все забывал да так и не успел спросить Леонида Николаевича, почему же он оставил старое название стихотворения, ведь эти слова (и пластически данная ситуация) вовсе исчезли из него и суть стихотворения свелась к тому, что выражено в последней строке... Остается предположить, что поэт просто не обратил на это внимание.

...Напоследок хочу рассказать немного о нашей многолетней совместной работе в приемной комиссии Московской писательской организации. Работе этой комиссии всегда придавалось большое значение, так как прием в Союз писателей — дело ответственное, часто весьма непростое. Достаточно сказать, что комиссию в разное время возглавляли такие писатели, как Леонид Соболев, Константин Симонов, Павел Нилин, Михаил Алексеев, Анатолий Рыбаков.

Леонид Николаевич добросовестнейшим образом выполнял обязанности члена комиссии в течение многих лет, и видно было, что эта работа ему доставляла большое удовольствие, разумеется, в тех случаях, когда принималось решение о приеме в Союз писателей одаренных молодых людей...

Не знаю точно, с какого времени Мартынов состоял членом комиссии, во всяком случае, до моего прихода в нее, когда вместе с Сергеем Макашиным и Юрием Трифоновым я стал заместителем у Анатолия Рыбакова, а потом и председателем. Не помню случая, чтобы Леонид Николаевич опоздал на заседание, ушел с него раньше времени. Он появлялся в восьмой комнате старого здания Дома литераторов, где проводятся обычно заседания комиссии, одним из первых, по-молодому подтянутый, живой, энергичный. Вид у него, как правило, был довольно строгий, но в то же время и какой-то домашний, наверное, потому, что Леонид Николаевич не любил галстуков, почти всегда ходил в рубашке, иногда с расстегнутой верхней пуговицей, в каком-нибудь вязаном жилете. Улыбался он редко. Сидел за столом, сосредоточенно слушал ораторов, редко вступая с репликой.

Когда подходила его очередь дать характеристику и оценку творчеству того или иного поэта, желающего вступить в Союз писателей (а Мартынову обычно поручали для этой цели поэтов), он зачитывал написанный дома отзыв. Читал четко и довольно громко и, как правило, комментировал, убеждал обильным цитированием. Человек безупречного вкуса, он выбирал цитаты безошибочно, показывая ими: поэзия это или не поэзия.

Убежден, что историки литературы когда-нибудь проявят интерес к огромному, богатому архиву приемной комиссии, в том числе и к выступлениям на ее заседаниях Леонида Мартынова. Сейчас я по памяти восстанавливаю только характер, методику оценок, которые давал вступающим в Союз писателей поэтам Леонид Николаевич. Он был строг в оценках, но и доброжелателен. Его характеристика могла строиться так: сначала он говорил о тематических пристрастиях поэта — кто и что он, откуда и зачем, как все это отражается в стихах. Затем говорил о слабостях, цитировал неудачные строки, указывал на вкусовые огрехи. И уж после — если, конечно, был соответствующий материал,— приводил в доказательство поэтической состоятельности такие стихи, которые давали ему право рекомендовать молодого поэта для приема в Союз писателей.

Разумеется, это только один вариант, причем вариант положительного решения вопроса, были и другие, когда Мартынов сомневался, отрицал, здесь речь идет о методике, о системе аргументации.

Леонид Николаевич любил работу в комиссии по приему в Союз писателей, может быть, потому, что она давала ему ощущение причастности к движению литературы. Читая молодых, он улавливал новые веяния, поддерживал все свежее, нестереотипное, хотя порою и неустоявшееся, корявое, но подающее надежды. На этой почве у него и произошли неприятные столкновения с одним критиком, членом комиссии, которые, как мне кажется, послужили причиной ухода Леонида Николаевича из комиссии. Не сам факт расхождения мнений (такое бывало в комиссии не так уж редко, в том числе и с Мартыновым), а форма, характер полемики, помню, выводили Мартынова из равновесия. Он стал ссылаться на болезнь, пропускать заседания, а потом и вовсе перестал их посещать, попросив освободить его от обязанностей члена комиссии. Но надо сказать, что болезнь уже действительно подтачивала здоровье Мартынова.

А прежде, встречая меня после отчетно-выборной конфе-

ренции московских писателей, когда обычно обновляется состав приемной комиссии, он спрашивал:

— Александр Алексеевич, вы остаетесь председателем комиссии?

— Не знаю, Леонид Николаевич, как сочтет секретариат, хотя я, честно говоря, чувствую усталость от нее...

— Если останетесь, учтите, пожалуйста, коли не возражаете, что я готов еще поработать в приемной комиссии.

Леонид Николаевич Мартынов редко появлялся в писательском обществе, хотя по характеру он не был домоседом. Он не любил публичных выступлений, был человеком самоуглубленным, был книгочеем. Но, как истинный художник, имел зоркий глаз и чуткое ухо, а это, оказывается, не так мало. Эти качества, соединенные с пытливым и живым умом, замечательно развитым воображением, и проявились в творчестве поэта и прозаика Мартынова, они и позволили ему включиться в ритм нашего времени, ощутить его стремительное движение.

Поэтическая слава своенравна и ветрена. Она может обласкать того, кто менее всего ее заслуживает, и капризно отвернуться от истинно достойного. Но есть сила подлинного искусства и суд времени, и какие бы ни предпринимались попытки помешать свершиться этому суду и исказить значение большого искусства, оно, искусство, в конце концов найдет признание.

Леонид Мартынов не был обласкан славой. Современники с большим запозданием по-настоящему стали осознавать масштабы могучего таланта поэта. Творческий труд его увенчан высокими премиями, при жизни вышло трехтомное собрание сочинений. Но истинное признание поэта Леонида Мартынова — впереди.

1982

Сергей Поварцов

МАРТЫНОВСКИЙ УРОК

Юность всегда неотделима от поэзии, поэтому в юности все мы немного поэты. Или думаем о себе, что поэты. Способность сочинять тексты в рифму часто расценивается молодежью как поэтический дар, дающий право на некоторую исключительность в кругу смертных. Техника версификаторства, иногда довольно высокая, кажется многим достаточным основанием для того, чтобы считать себя поэтами. Нередко и добрые литконсультанты оказывают молодым людям медвежью услугу, внушая, что поэт «мыслит образами», что надо упорно овладевать секретами «мастерства» и так далее. Нисколько не желая преуменьшить роль усердия в литературном деле, хочу между тем напомнить слова Ф. М. Достоевского о «труде поэтическом». Он независим от воли, его движет «незримая сила» — так считал великий писатель. В зрелом возрасте эта мысль становится особенно понятной.

Но двадцать лет тому назад я, конечно, думал иначе. Как и все мои товарищи, писал стихи, печатал их в местных газетах и в нашей славной стенной газете «Во весь голос» — органе комитета ВЛКСМ филфака Омского пединститута. Это было в начале 60-х годов. Меня, в то время зеленого первокурсника, приобщили к стенгазете члены редколлегии Александр Копейкин и Георгий Шеходанов. От них-то я впервые и услышал имя Леонида Мартынова. Поэт открылся для меня знаменитым стихотворением «Любовь», которое не раз читалось Шеходановым в сопровождении самых высоких эпитетов.

Ты жива,
Ты жива!
Не сожгли тебя пламень и лава,
Не засыпало пеплом, а только задело едва.

Ты жива,
Как трава,
Увядать не имевшая права;
Будешь ты и в снегах
Зелена и поздней покрова.

Эти строчки сразу полюбились, врезались в память на всю жизнь. Я выучил наизусть еще десятка полтора мартыновских стихотворений, стал покупать его книги.

Однажды я пришел к Шеходанову в общежитие. Он рассказал, что пишет курсовую работу о Мартынове и, прочитав в мемуарах Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь» лестную характеристику поэта, обратился к автору с просьбой высказать свою точку зрения подробнее, чтобы сослаться на нее в своей работе. Я был убежден, что Эренбург не станет отвечать на письмо студента, но тот вытащил из какой-то книги маленький листок с текстом, отпечатанным на машинке,— ответ писателя. Он был кратким. Эренбург извинялся, что отвечает с опозданием: долго отсутствовал в Москве. Леонид Мартынов действительно превосходный поэт, однако филолог должен сам вырабатывать свою позицию, а не коллекционировать чужие мнения.

Так благодаря Эренбургу в моем сознании еще раз закрепился образ любимого поэта, хотя его лирика говорила сама за себя и не нуждалась в каких-либо дополнительных подкреплениях. Мартынов находился в зените славы. Тогда же мы буквально зачитывались воспоминаниями Эренбурга, пользовавшегося у нас большим авторитетом.

Я стремился узнать о Мартынове как можно больше. Совершенно неожиданно выяснилось, что его помнят мои родители. Отец в годы войны работал в редакции областной газеты «Омская правда», где мама и познакомилась с ним. А Мартынов там бывал часто. К моему огромному сожалению, близкого знакомства с поэтом у них не состоялось, поэтому все расспросы давали немного. Образ Мартынова постепенно становился все более близким. Да и все мои друзья, без исключения, считали его своим вдвойне. Он был крупным поэтом-современником и к тому же нашим земляком. Лирика Мартынова воспринималась нами в контексте новой поэзии 50—60-х годов как нечто органичное, молодое и естественное, словно поэт только начинал. Впрочем, как знать,— быть может, это и было его вторым рождением после длительного периода молчания.

Итак, я учился на филологическом факультете и писал стихи. После того как «Юность» напечатала несколько моих

стихотворений, явилась мысль встретиться с Мартыновым и показать ему написанное. Отобрав около двадцати более или менее сносных, как мне тогда казалось, стихотворений, в марте шестьдесят четвертого я отправился в Москву.

Мой визит к Мартынову может служить для начинающих литераторов поучительным примером того, как не следует поступать, когда ищешь знакомства с человеком известным. И если сегодня я все-таки пишу об этом с изрядной долей стыда за свою молодую неопытность, то единственно для того, чтобы сохранить в памяти образ замечательного поэта. Страшно молвить, а ведь к Л. Мартынову я пошел без предварительного звонка, без рекомендательного письма и, следовательно, был в прямом смысле «человеком с улицы». Теперь это пугающе очевидно, но днем 12 марта 1964 года такие мысли даже не приходили в голову и ноги сами несли меня к дому на Ломоносовском проспекте. В некотором замешательстве я постоял перед дверью квартиры. Мелькнуло: не уйти ли? И сразу же нажал кнопку звонка. Послышались шаги, лязгнул замок, и я увидел перед собой пожилую женщину в пестром домашнем платье. Дрожащим голосом спросил, можно ли видеть Леонида Николаевича.

— Проходите.

Я вошел в переднюю.

— Леня! — позвала женщина.— К тебе пришли.

И ушла на кухню. Только в этот момент до меня дошло, что я вижу ту, которая вдохновила поэта на «Подсолнух» и многое другое,— Нину Анатольевну, Ниночку.

На пороге соседней комнаты появился стройный, я бы даже сказал, не по годам изящный человек в зеленой клетчатой рубашке и узких, плотно облегающих «техасских» брюках. По выражению лица Мартынова я понял, что он не собирается скрывать неудовольствия приходом неизвестного человека. Извиняясь за вторжение, я сбивчиво изложил цель визита.

— Вообще-то вы пришли как нельзя более не вовремя, не позвонив заранее,— сказал Мартынов.— Я сейчас занят. Но раз пришли, раздевайтесь.

И пока я топтался в передней, он что-то поправлял у входной двери, какой-то половичок. «Неужели это Мартынов? — спрашивал я самого себя, глядя на его согнутую спину и голову без единого седого волоса.— Вот он, наш кумир, наш любимец...»

В кабинете Мартынов предложил мне сесть, а сам начал убирать с письменного стола бумаги и книги. Мне стало не

по себе: я ворвался к нему в самые лучшие рабочие часы! Пока освобождалось место на столе, я рассматривал библиотеку. Запомнились почему-то темно-вишневые тома Л. Фейхтвангера, лежавшие наверху шкафа, «Физика» Э. Уилкокса, о которой я уже слышал хорошие отзывы своих приятелей с физфака.

Заметив, что я продолжаю стоять, Мартынов сказал:

— Да вы присаживайтесь.

Мы сели к столу. За окном никак не мог разгуляться серенький мартовский денек. Я с волнением ждал начала беседы.

— Откуда вы? — спросил Мартынов.

— Из Омска.

Мой ответ не произвел на него ни малейшего впечатления. В глубине души я надеялся, что, увидев перед собой омича, Леонид Николаевич будет растроган, начнутся расспросы, и это обстоятельство, возможно, как-то примирит его с несовершенством моих стихотворных опытов. Не то чтобы я ждал снисхождения, а просто наивно гиперболизировал сам факт землячества. Но я ошибался. Вопросов не последовало, оживления не произошло.

Мне хотелось прочитать Мартынову свои стихи. Я спросил, можно ли. «Зачем? Давайте их сюда»,— сказал хозяин дома и взял у меня листки. Под рукой не оказалось очков. Он принялся искать их по всей комнате, нашел и погрузился в чтение. Читал быстро, почти каждое стихотворение комментировал. Очень скоро я понял, что большая часть стихов ему не нравится, хотя слова «нравится» и «не нравится» не произносились. Мартынов объяснял, что надо думать не только об естественной потребности художника высказаться, но и о читателе, которому нужны не столько благие намерения автора, сколько доказательства. «Бездоказательно»,— говорил он о некоторых моих стихах. Это, вероятно, звучало так же, как знаменитое «не верю» Станиславского, обращенное к актерам.

Помнится, я, как мог, защищался. Значит, требуется мораль? Если вещь сама по себе очевидна, то к чему доказательства?

Поэт терпеливо просвещал меня. Доказывать — значит быть художественно правдивым и убедительным. Быть точным и уметь видеть то новое, что появляется в жизни. Несколько моих пейзажей показались ему традиционными, и он заговорил о том, как важно поэту улавливать беспрестанные изменения в мире. Кажется, Мартынов прочитал

тогда какие-то свои строчки на эту тему, но я их не запомнил.

— Возьмите морские пейзажи. У нас многие по-прежнему описывают море, как в добрые старые времена. А ведь теперь все иначе: появились большие теплоходы, пятна нефти... Эфир полон звуков. Все ежедневно, ежечасно меняется, и мы должны писать об этом.

Я внимательно слушал Мартынова, наблюдал за его реакцией по ходу чтения. Вот очередь дошла до стихотворения, где я попытался выразить свои ощущения от поездки в степь. Я рассказал Леониду Николаевичу о том, как впервые в жизни ездил с приятелем в один из южных районов Омской области, как мы стоя ехали в грузовике по степной дороге, и вся земля казалась нам огромным зеленым кругом, символизирующим вековечную мудрость бытия.

Мартынов выслушал мои пояснения к стихотворению и сказал:

— Понятно. Но разве для этого обязательно надо ехать в степь? Ее и так видно, если выйти на правый берег Иртыша, там, где повыше. Не выезжая из города.

В другом стихотворении я описывал статую Аполлона, бога искусства. То был один из первых моих сонетов, который мне очень нравился. Мне казалось, что Мартынов оценит, как я справился с формальными задачами. Однако он не похвалил, а упрекнул меня. Мой Аполлон статичен, нем. Все восторги автора в честь статуи достаточно знакомы. И тут же вспомнил своего «Голого странника», написанного в юные годы. Уже не могу припомнить, что именно сказал тогда Мартынов об этом известном стихотворении, зато хорошо помню, с каким видимым удовольствием прочел его концовку:

К чему гадать! На горном кряже
Все крепче ледник голубой.
Рождает всякие миражи
Зимы отчаянный прибой.
Но и в кипенье этом белом,
Сияньем снежным опален,
Я чувствую душой и телом:
Жив этот странник — Аполлон!

Это был урок, прекрасный урок на всю жизнь. Мартынов говорил о новаторстве в искусстве, о поэтическом творчестве... Никогда больше не слышал я таких точных и страстных слов о Рембо, Верлене, Ван Гоге, Пикассо, Эйнштейне. С особенной любовью вспоминал Мартынов

молодого Маяковского. Память не сохранила подробностей. Помню лишь свое ощущение мартыновского монолога: так любовно говорят об учителе. И еще запомнилось, как Леонид Николаевич (в подтверждение своих высказываний о поэтической дерзости Маяковского) прочел строчки из «Облака в штанах»:

Слушайте!
Проповедует,
мечась и стеня,
сегодняшнего дня крикогубый Заратустра!
Мы
с лицом, как заспанная простыня,
с губами, обвисшими, как люстра...

Сожалею теперь: не записал подробного разговора с Мартыновым тотчас же, в тот же день. Ограничился краткими тезисами. Из них видно, что поэт очень интересно говорил о романтизме и Викторе Гюго. Упомянул книгу молодого ученого И. Акимушкина «Приматы моря», лирику Пастернака. Однако восстановить сегодня смысл сказанного решительно не удается.

Наша беседа продолжалась часа полтора. Я грустнел все больше и больше. Наконец Мартынов сказал, что его ждут срочные дела, и стал собираться. Он снял домашнюю рубашку, чтобы надеть другую. Я увидел его крепкую грудь, совсем не старческую, а скорее юношескую,— грудь спортсмена (в молодости Мартынов хорошо плавал). Оказывается, он был молод не только душой, но и телом!

Мы вышли в коридорчик. Леонид Николаевич надел серое демисезонное пальто и серую шапку, что-то вроде русского пирожка. Потом, уже одетый, заглянул к Нине Анатольевне на кухню. «Ну что — талантлив?» — услышал я голос жены Мартынова. Ответа разобрать не удалось. Мне стало еще грустнее. Я представил себе, как на вопрос он отрицательно покачал головой или просто пожал плечами.

Спустя много лет я прочитал у Рюрика Ивнева (настоящая фамилия — Ковалев), как он впервые явился к Блоку. Ивнев пишет, что лишь через полвека ему стала известна дневниковая запись Блока: «...ноября 1911 года. Приходил студент Ковалев с честными, но пустыми глазами». И я подумал, как опасно приходить к знаменитостям.

Через секунду Леонид Николаевич появился. Мы спустились по лестнице, прошли по двору и остановились неподалеку от кинотеатра «Прогресс». Настало время расстаться.

Вероятно, вид мой был так удручающ, что Мартынов решил ободрить меня на прощанье. «Не унывайте». И еще что-то. Тут впервые он улыбнулся.

Несколько мгновений я еще стоял на углу кинотеатра, провожая его глазами в многолюдной толпе. Потом побрел в сторону метро.

Впечатления были сложными. С одной стороны — никакого «благословения», никаких посулов, ничего утешающе-обтекаемого. С другой — прекрасная беседа, сам факт общения и лестная фраза поэта: «Я говорю с вами как с художником». Позже я понял, что между этой фразой и сдержанной оценкой моих стихов нет противоречия. Мартынов говорил со мной, что называется, по гамбургскому счету: без скидок на молодость и земляческих сантиментов — требовательно, прямо и совсем не как мэтр, коему подобает изрекать истины с высоты своего Олимпа. Я благодарен ему за это.

В мае 1967 года случай свел меня с Мартыновым на Четвертом съезде писателей СССР в Кремле. В то время я уже учился в аспирантуре, писал диссертацию, стихи почти оставил, во всяком случае — не печатал. Когда стали известны дни работы съезда, мы с моим товарищем по кафедре в правлении Союза упросили дать нам гостевые билеты. Так мы оказались на Всесоюзном писательском собрании.

Возможность увидеть и услышать известных писателей, естественно, привлекала нас, молодых филологов. Увижу ли я Мартынова? — неизвестно. В перерыве я нашел Мартынова одиноко стоящим около входной парадной лестницы. Он опирался на палку. Я напомнил ему нашу трехлетней давности встречу, спросил, что случилось.

— Вот, повредил ногу... да.— И, помолчав, с какой-то ироничной гордостью добавил: — Теперь у меня лавсановые связки.

Как это было характерно для Мартынова! Другой бы пожаловался на тяжелую операцию, а Леонид Николаевич чуть ли не радовался, что в ноге у него отныне современный, новый материал.

Он спросил, печатаюсь ли я.

— Сейчас нет. Думаю себя немного попридержать.

— Что же... Это бывает иногда полезно. А сколько вам лет?

— Двадцать три.

— Так у вас все впереди!

— Говорите «впереди», а сами, наверное, думаете: парню двадцать три, но ничего путного еще не сделал...

— Нет,— ответил Мартынов.— Многие люди раскрывались поздно, понимаете ли... Вот Уитмен. До сорока лет писал антиалкогольные романы и сидел в кабаках, а потом взял и написал: «Я — Уитмен, я — космос, сын Манхэттэна!»

Когда прозвучало имя великого американца, я вспомнил аналогичный пример Ван Гога. Разговор перешел на живопись, мы проговорили еще минут десять и распрощались с взаимными пожеланиями успехов.

Последний раз я видел поэта в Колонном зале Дома союзов на съезде писателей России (декабрь 1975 г.). Леонид Николаевич стоял в окружении поэтов и критиков, о чем-то оживленно говорил, внимательно слушал Валерия Дементьева. Я не решился подойти.

Завидую тем, кто имел возможность общаться с ним постоянно. Эти мартыновские университеты бесценны.

1984

Владимир Макаров

УЛИЦА МАРТЫНОВА В ОМСКЕ

— Леонида Мартынова?
Улица?
В Омске?
— Это где же? На Левобережье?
Когда нарекли?
— Подождите!
Глядите — в цементе, в известке,
В брызгах краски
на комбинезонах,—
Вдали
И стеклят, и шпаклюют,
и красят, и месят.
Обихаживают и фасад, и торцы.
Каждый камень и блок
Вдохновением метят
Земляки его,
Люди как люди —
Творцы!..
И массивный прораб
закрывает наряды,
И спешит в управленье
седой бригадир.
И подружки-малярши,
устроившись рядом,
Пьют холодный, как лед,
из пакетов кефир.
Ночью сварка затихнет,
и скопища света
Воссияют созвездьями
в аспидной мгле.

Стройплощадке
послышится
поступь поэта,
Что когда-то родился
на здешней земле.

Он со стройки пойдет к Иртышу,
будет снова
В даль немую глядеть
через призму мечты,
И ему,
обладателю чувства седьмого,
Въявь грядущего века
предстанут черты!

А с рассветом
Воспрянут весна и работа,
День украсится зеленью
и синевой,
Караваны
фрегатов волшебного флота
Поплывут, белоснежные,
над головой.

И откликнутся сразу им,
как по сигналу,
Мощным хором,
ватагой своей молодой
Нефтевозы,
идущие снова к Ямалу
Взбаламученной,
полой иртышской водой.

Утро выбросит вымпелы
новой недели,
Обозначит размеры работы
дневной,
И домов циклопические панели
Вновь забрезжат стихами,
людьми и весной...

Время властно торопит,
И графики жестки,

И восстанет —
покамест проект ли, конспект —
Леонида Мартынова
улица
в Омске.
Встанет —
Даже не улица,
Встанет —
Проспект!

Татьяна Земскова

БУКЕТ ИЗ ОСЕННИХ ЛИСТЬЕВ

(Заметки тележурналиста)

Осенью я собираю кленовые листья — желтые, красные, оранжевые, зеленые, приношу домой, кладу сначала под пресс, потом разглаживаю утюгом и делаю букет. Букет из осенних листьев может стоять целый год, вплоть до следующей осени, освещая и согревая комнату. Надолго поселятся в твоем жилище запахи и краски осени.

Такие букеты научили меня делать в доме поэта Леонида Мартынова. Эти разноцветные осенние листья поразили меня сразу, когда в первый раз попала я в этот дом. Рядом с осенним букетом стояли ветки багульника с нежными сиреневыми цветами, как будто соединяя весну и осень. Я подумала тогда, что, наверное, осень — любимое время года Мартынова, припоминала строки его стихов, вот эти: «Листва во всем своем великолепье жужжит, желта от волшебства...», или эти: «Лесной массив красив. Он расписной, красней огней, горелых пней чернее. Когда он чахнет, пахнет он пьянее и весь гораздо ярче, чем весной...» Потом, перечитывая другие стихи, поняла, что не чуть не хуже можно найти строки и о весне, и о зиме: «Мне зимою легче пишется, потому что легче дышится. Ночь, суровая сподвижница, воздвигает белый храм, но стремительно, как лыжница, память мчится по горам...»

С Леонидом Мартыновым меня и режиссера Бориса Конухова познакомил критик и прозаик Валерий Дементьев. Было это в 1974 году.

— Вот кого интересно снять, вот о ком надо делать передачу, о Мартынове,— говорил Дементьев.— На телевидении ведь ничего нет о нем.

— Да, действительно,— соглашалась я.— Но ведь Мартынов, кажется, не снимается...

— Надо попробовать его уговорить,— сказал Дементьев. Он взялся быть автором передачи о творчестве Мартынова.

И вот все вместе — автор, режиссер, редактор, мы пожаловали к поэту в гости. Я никогда прежде не видела Мартынова, разве что на немногих фотографиях в сборниках его стихов. Он представлялся мне болезненным и старым. Наверное, потому, что всякий раз, когда кто-то из нас, «телевизионщиков», звонил ему, чтобы пригласить почитать стихи или принять участие в какой-либо программе, к телефону подходила его жена, Нина Анатольевна, и вежливо, глубоким грудным голосом отвечала, что Леонид Николаевич нездоров или плохо себя чувствует. И вот я увидела Мартынова: он показался мне очень прямым и высоким. У него было подвижное выразительное лицо и низкий раскатистый голос, слова он произносил медленно, весомо, с расстановкой.

— Нуте-с, пожалуйте, пройдемте в комнату.

Он провел нас в рабочий кабинет — небольшой, сплошь заставленный книгами.

Мартынов говорил мало, но как-то значительно и веско, казалось, что спорить с ним бесполезно. Вошла Нина Анатольевна, невысокая женщина с тяжелым пучком гладко зачесанных волос, открывающих высокий лоб, с большими темными глазами, добрыми и тревожными одновременно. И в том, как Мартынов глядел на жену, как обращался к ней с вопросом, как отвечала она ему, чувствовалось, что эти люди бесконечно связаны друг с другом и один просто немыслим без другого.

Я тогда находилась во власти поэзии Мартынова. Мне нравилось многое, не то чтобы нравилось, просто его стихи проникали в кровь и плоть, жили во мне, я натыкалась на них непрерывно. Особенно завораживал «Прохожий». Об этом стихотворении много писала критика, да и сам Мартынов в книге прозы «Воздушные фрегаты» размышлял об этих стихах. В нашей передаче он рассказывал, что о Лукоморье, том самом Лукоморье, куда и зовет людей странный прохожий, он впервые узнал от Пушкина. «Потом я начал читать другие книги,— продолжал Мартынов,— в которых упоминалось о старых преданиях про полунощные края, где горы, возвышающиеся до небес, заходят в луку студеного моря. В луку моря. Это Лукоморье новгородских летописных преданий. А в тридцатых годах моей тогдашней скитальческой жизни, в моем сознании еще смутно сформи-

ровался и собственный свой образ-автопортрет скитальца, бродяги, прохожего, на других непохожего, поющего песню о Лукоморье... Я имею в виду стихотворение «Прохожий» — о печальном бродячем сказочнике-флейтисте...»

Мартынов и в реальной жизни казался человеком, не поддающимся общим меркам и правилам — странным, неожиданным, он не вписывался ни в какие привычные представления и стереотипы. Та первая передача, которую мы делали вместе с В. Дементьевым, была только началом, только пробой, только подступом к разгадке и осмыслению творчества Мартынова. В ней мы пытались представить поэта певцом города, сделать его поэзию зрелищной, созвучной линиям, ритмам, настроению большого современного города.

После премьеры Леонид Николаевич позвонил мне по телефону. Ему очень нравилось, как его стихи читали актеры, а среди них были Борис Чирков и Иван Соловьев, признанные мастера сцены. Да и сам себе Мартынов был интересен, ведь, в сущности, это было его первое появление на экране.

— Мы смотрели передачу с друзьями — Анталом Гидашем и Агнессой Кун,— сказал он в конце разговора.

Передача о Мартынове была хорошо принята, о ней писали газеты, приходили письма читателей. Один телезритель даже прислал карандашный рисунок поэта, очень точно уловив главное в его характере. Но и я, и режиссер интуитивно чувствовали, что рассказана лишь малая толика...

В поэзии Мартынова, в его личности таился богатейший материал, который можно очень интересно воплотить именно средствами телевидения. Поэзия эта зрелищна, вещественна, живописна. Ее можно рисовать на экране широкими мазками, не боясь иллюстративности, неожиданных сопоставлений и ассоциаций. Сам поэт говорит об этом стихами: «И в необыденность земную неправды вовсе не внесу я, коль белым мелом тьму ночную я вам умело нарисую, и сажей черною печною, а если нужно даже углем изображу вам полный зноя день, озаренный солнцем круглым».

Мы тогда читали его книгу «Гиперболы». Было лето, когда я позвонила на квартиру Мартынова, чтобы предложить сделать для телевидения еще одну передачу.

— Вы случайно застали меня дома,— прогремел в трубке его бас.— Летом мы ведь живем в деревне.— Он так и сказал: «в деревне», а не на даче.— В Степановском.

— Где это? — спросила я, представляя, что все московские писатели живут летом в Переделкине или в Красной Пахре, а тут какое-то Степановское.

Леонид Николаевич стал подробно объяснять мне, как проехать в село Степановское на городском транспорте. И добавил:

— Если хотите снимать, приезжайте сюда!

Через несколько дней мы поехали в Степановское в том же составе: Дементьев, Конухов и я, с нами вместе ехала и съемочная группа.

— Надолго нельзя откладывать это дело,— говорил по дороге Дементьев, который всегда был рад встретиться с Мартыновым и помочь нам.— Леонид Николаевич человек неожиданный, может и передумать.

Мартынов встречал нас на дороге, он был в клетчатой ковбойке, в руках держал толстую трость. К деревенскому дому, где каждое лето жил Мартынов, мы шли пешком. В доме было светло, прохладно и просторно, пахло свежевымытыми деревянными полами. Во дворе бегали дети, росли яблони, пестрели цветы. Мартынов, загоревший и помолодевший, водил нас по своим «владениям», показывая, что где растет, и, конечно, новую коллекцию своих удивительных камней, которые он нашел в Степановском, на берегу Истры.

— А хотите, я свожу вас в лес, на древние курганы, которые я открыл вместе с деревенскими ребятишками. Это курганы — кривичей... Там покоятся наши предки,— предложил Мартынов всей нашей группе.

Мы отправились в лес, взяв с собой аппаратуру, решив, что будет интересно снять Мартынова в лесу, на этих курганах, о которых он говорит с воодушевлением и одновременно с негодованием, потому что курганы эти фактически беспризорны.

— Являются туристы, жгут костры, ломают деревья, копают что-то на этой древней земле... Вот об этом я хочу сказать в передаче, может быть, до кого-то и дойдет...

В передачу, которая называлась «Поэзия Леонида Мартынова», вошел этот эпизод, вошли и другие кадры, которые снял оператор в летнем подмосковном лесу: Мартынов, живой, подтянутый, стремительно идет по тропинке, время от времени выбрасывая вперед свою трость, чтобы бережно приподнять листья и посмотреть, не спрятался ли под ними гриб... Позже я прочитала об этом стихи: «О, идущие по грибы, искатели душистых ягод, не те, кто выгоды рабы,

как будто для несенья тягот в лес тащатся, а те, кто в лес грядут с природой повстречаться, чтоб сумеркам наперерез к вам возвращаться, домочадцы...» Так и шел Мартынов по лесной тропе — «сумеркам наперерез». В лесу он чувствовал себя великолепно. Дементьев о чем-то спросил его, а Мартынов ответил, шутя:

— Зелень... «Разговор про зелень беспределен...» Это Тувим.

Меня всегда поражала широчайшая образованность Мартынова. Он прекрасно знал зарубежную поэзию, я слышала, как он читал «Пьяный корабль» Артюра Рембо в своем переводе. У него были глубокие познания в истории, географии, философии, даже в точных науках. И все эти знания он получил путем самообразования, фактически учиться в школе ему пришлось только четыре года....

Мы вернулись в дом, и съемки продолжались уже в саду. Дементьев расспрашивал поэта о книге «Гиперболы», о прозе, о новой книге «Земная ноша». Мартынов в этот раз читал стихи сам. Он читал по книге, видимо, наизусть не помнил многое, да это и неудивительно: ведь стихи он писал все время. Кажется, любую мысль, посетившую его, любой случай из жизни он обращал в стихи. Отсюда, может быть, и неровность, неравнозначность некоторых поздних его сочинений. Он как будто спешил, торопился высказаться, выплеснуть на бумагу все, что переполняло его сердце. Он писал стихи, по собственному выражению, «перепевая самого себя, перебивая самого себя, переживая самого себя». И никто, никакой актер не мог читать эти стихи лучше, чем сам поэт. Он делал паузы именно там, где требовала этого неровная ткань стиха, он возвышал голос в том месте, где это было необходимо, и читал почти шепотом, когда просила того интонация и настроение строфы. У него была своеобразная манера — по-мальчишески, задорно вскидывать голову или на мгновение закрывать глаза, отрешаться от внешнего и уходить в свой внутренний мир. Уже под конец съемок Мартынов монотонно и чуть печально прочитал такие строки:

Свои стихи
Я узнаю
В иных стихах, что нынче пишут.
Тут все понятно: я пою,
Другие эту песню слышат.

Сливаются их голоса
С моим почти в единый голос.

Но только вот в чем чудеса:
Утратив молодость, веселость,
Устав пророчить горячо,
Я говорю все глуше, тише,
И все, что только лишь еще
Хочу сказать, от них я слышу.

Не дав и заикнуться мне,
Они уж возглашают это.
И то, что вижу я во сне,
Они вещают в час рассвета.

Прочитав последнюю строку, он на мгновение закрыл глаза и замолчал... А мы подумали, что, наверное, мало кто из поэтов отважился бы признаться в этом движении жизни и поэзии, сказать о себе так правдиво и строго. И тут же, как продолжение, Мартынов прочитал следующее стихотворение: «Мы старые поэты, нас по счету не меньше, чем поэтов молодых... Мы старые слова перебираем, что повторяли много-много раз... Но между тем мы часто воскресаем и старые основы потрясаем!»

Здесь голос поэта возвысился, он поднял голову от книги и как бы в упор, с очень близкого расстояния посмотрел в глаза собеседника, взгляд его был колючим.

Книги Мартынова последних лет «Земная ноша», «Узел бурь» нельзя назвать легким и приятным чтением, они требуют от читателя работы мысли и души, к ним надо возвращаться не однажды... Мартынов — поэт неровный, многие его стихотворения состоят из углов, впрочем, так же, как и он сам. Но редко можно встретить человека большей душевной щедрости, доброты, расположенности и интереса к людям. Иногда я видела его на улице. Он часто сам ходил в магазин за продуктами. Я несколько раз наблюдала, как он выходил из дома со старомодной авоськой в руках, в длинном мешковатом пальто и смешивался с толпой. Но все равно он выделялся в этой толпе, может быть, своей отрешенностью, внутренней сосредоточенностью, он был прохожим, не похожим на других...

Случилось, что передачу, которая снималась в Степановском, поставили в программу в неудобное для зрителей время — утром, в будний день. Я была огорчена и позвонила Мартынову, чтобы как-то оправдаться, приготовила бодрые слова и обещания на будущее.

— Когда, вы говорите, пойдет передача? В среду, в 11 часов утра?— переспросил он.

Я что-то лепетала в трубку.

— Очень хороший день и очень хорошее время... 11 часов, как раз перед полуднем,— произнес он как всегда веско и, что удивительно, весело.

Его не заботили мелочи, как у каждой крупной личности, у него не было комплексов зависти к чему-то или кому-то, он не занимался пустопорожней болтовней и критиканством, так свойственным всем нам. Он был созидатель, он был подвижник:

У него было обостренное чутье на новизну, по собственному определению, его «сверлящий взор» умел «явственно видеть новое».

Поэзию Мартынова критики называют и жизнеописательной, и интеллектуальной, и даже научной. Мне кажется, что прежде всего эта поэзия наделена открытой публицистичностью, гражданским чувством. Вроде бы творческая лаборатория, художественная мастерская писателя — это «святая святых», тайна, приоткрыть которую чрезвычайно трудно, но вот как пишет об этом сам Мартынов: «Моя художественная мастерская, заваленная кипами газет...» А когда его спрашивают, каков сегодня круг его чтения, он отвечает:

— Я читатель газет... Это явление не столь уж частое — вдумчивый читатель газет. Я должен знать, чем сегодня живет мир... Но, конечно, я продолжаю быть и читателем книг, я читаю стихи, как читал их всю жизнь — в пятилетнем, десятилетнем возрасте, испытывая от этого чистое наслаждение. Я читаю научные книги, то есть слежу за всем тем, что происходит в современной жизни, за тем, что делают физики, химики, биологи...— Потом он добавляет со свойственной ему манерой — неожиданно остановиться и прикрыть веками глаза:— Но сейчас я предпочитаю писать. Увы, это удел людей моего, как говорится, преклонного возраста. Надо успеть написать то, что можешь и должен написать...

И он спешил... Почти одновременно, с небольшими промежутками, выходят книги Мартынова «Воздушные фрегаты», «Земная ноша», трехтомное собрание сочинений, «Узел бурь». Книгу «Земная ноша» Мартынов прислал мне по почте. Я прочитала ее, и поначалу лишь несколько стихотворений запомнилось, многое было непонятно сразу и требовало дополнительного чтения, многое казалось написанным как бы второпях.

Мне по-прежнему больше нравились стихи более раннего периода, вот эти особенно:

...И иду я
По этому миру.
Я хочу отыскать эту лиру,
Или — как там зовется он ныне —
Инструмент для прикосновенья
Пальцев, трепетных от вдохновенья.

В это самое время и разыскал меня режиссер Борис Конухов. В руках у него была книга «Земная ноша».

— Надо сделать фильм о Мартынове, настоящий документальный фильм. Эти две передачи — лишь эскизы к этому фильму,— сказал он.— Я уже представляю, каким должен быть этот фильм, он будет называться «Земная ноша»... Послушай, какие замечательные стихи в этой книге...— Он даже побледнел от волнения, открыл маленькую книжку в белой обложке и стал читать:

И брожу я меж соленых луж,
И как будто вижу я, блуждая,
Что блуждаю как ученый муж,
Зарожденье жизни наблюдая
На тебе, планета молодая!

О, твоя еще взойдет звезда,
Поостынет дикая вода,
Кровь и мед появятся и млеко!
Но когда еще? Еще когда!
Высшая премудрость иногда
Преждевременна для человека...

Ты только подумай, какие слова: «...высшая премудрость иногда преждевременна для человека...» Я вижу эти стихи, я представляю, как можно передать их на экране...— Он загорался все больше и больше. Я теперь работаю с очень хорошим оператором Валерием Ахниным, он тоже знает и ценит Мартынова, он и будет снимать фильм. Ты слушай дальше,— почти кричал Борис:— «Что вам снится, горожане, в лени, в неге, тишине? Пусть видений содержанье станет явственным и мне!» — Он прочитал стихотворение до конца и почти наизусть. Потом добавил, что снимать Мартынова надо обязательно в разных местах: в Москве, и в Степановском, и на улицах...— Надо снимать скрытой камерой, мы с оператором можем даже поселиться на некоторое время в Степановском,— закончил он.

Планы были столь грандиозны, что я растерялась. Но все-таки тут же позвонила Мартынову, предложив ему новую идею.

— Фильм обо мне?— удивился он. И потом сказал через

паузу: — Но тогда вы обязательно должны съездить в Омск, город, где я родился... Может быть, там даже сохранилась врубелевская сирень, в том дворе, где размещалось в двадцатые годы училище живописи, ваяния и зодчества...— Мартынов тоже загорелся и стал фантазировать.

Для наметки сценария будущего фильма мы втроем приехали к Мартынову. Нас с Конуховым он встретил как старых добрых знакомых, когда же мы представили ему оператора Валерия Ахнина, он подал ему руку чуть сдержаннее. К появлению нового человека в своем доме он всегда относился настороженно. Мы принялись за работу. Мартынов советовал обязательно снять реку «Тишину» — Омь, впадающую в Иртыш. Он мечтал, чтобы в фильм вошла хроника, зафиксировавшая строительство Турксиба. Мартынов ездил на это строительно в качестве газетного корреспондента и помнит, как приезжали «киношники» и снимали открытие Турксиба.

— Но не только Турксиб, вы должны показать и озеро Балхаш, и Барабинскую степь...— Фантазия поэта не знала предела.— И обязательно в фильм должны войти мои рисунки.— Он вытащил откуда-то из стопки книг альбом, где были аккуратно наклеены рисунки, сделанные цветными карандашами. Видимо, их автор в те годы увлекался художниками-импрессионистами, такое буйство красок присутствовало в них, что даже со временем цвета не поблекли.

— Я думаю, что эти детские рисунки,— говорил Мартынов,— могут дать зрителю гораздо больше представления обо мне, нежели многие фотографии...

Позже я обнаружила такие стихи поэта:

...Увы, не умею писать биографий,
Я больше всего не люблю фотографий —
Их плоская, мнимая точность страшна мне —
Мне ближе литограф, что режет на камне
И, сладко задумавшись, вымысел вносит
Туда, где об этом никто и не просит.
В храм истины вымысел смело стучится.
Чего не случилось, могло бы случиться...

Кажется, и в предполагаемый фильм Мартынов хотел включить то, «чего не случилось», но «могло бы случиться...».

— Вы знаете,— продолжал он,— еще с детства я видел видения, когда в клубах пыли кувыркались разные геометрические фигуры, квадраты, цилиндры... И только потом, став более или менее взрослым человеком, я прочитал, что

Сезанн писал в свое время, будто мир как раз и состоит из этих самых начал, и надо рисовать, писать эти фигуры...— Он закрывает альбом любовно и бережно.

Во время обсуждения наш оператор почти ничего не говорил, он внимательно и сосредоточенно выслушивал всех говорящих и спорящих, чем очень понравился Мартынову. На следующий день он позвонил мне и сказал, что, должно быть, оператор человек дельный и умница, у него пытливый взгляд. Итак, все начиналось хорошо, мы приступили к работе, не предполагая, сколько трудностей, огорчений и несчастий ждет нас впереди.

Вскоре после этой встречи Мартынов тяжело заболел. В следующий раз мы приехали к нему летом, когда он поправился. Он очень изменился: погрузнел, отяжелел, а главное — как-то потухло его подвижное лицо. Но, как всегда, он жил надеждой на лучшее и согласен был начать съемки этим же летом в Степановском. Когда мы вышли на улицу, режиссер сказал, что, пожалуй, следует подождать, пока поэт окончательно не выздоровеет. В Степановское мы не приехали, прошло еще время, и только зимой режиссер с оператором съездили в Омск, сняли улицу Красных Зорь, дом, где родился поэт и, конечно, Иртыш и ледостав на реке «Тишине». Потом мы ездили в Ленинград, снимали университет, в который так хотел поступить молодой Мартынов без вступительных экзаменов, Неву, которую он переплыл в это время... И уже после этого снимали самого Мартынова в московской квартире... Было холодно, стоял январь, стекла на окнах покрылись узорами, но, как всегда, его рабочий кабинет освещали букеты из осенних листьев, цвел розовым цветом багульник, также громоздились книги от потолка до пола, а неподвижные камни как будто с укором взирали на наши приготовления. Съемки продолжались несколько часов кряду и очень утомили поэта. Практически все кадры этой съемки вошли в наш фильм. Мартынов показывал свои рисунки, вырезки из пожелтевших газет, где в юности он печатал стихи, корреспонденции, заметки, статьи о городах, возникших в пустыне, о подземных морях, о яблоневых садах, цветущих в Сибири, о многом. Зрители фильма могли увидеть и тоненькую книжку «Футуристы»... Мартынов поднялся со своего кресла и вынул ее из шкафа...

— Когда меня спрашивают, был ли я футуристом, я отвечаю: конечно был,— говорил Мартынов в камеру.— Эта книжица была издана на агитационном омском пароходе

художником Виктором Уфимцевым, впоследствии он стал народным художником Узбекистана.

О нем, Викторе Уфимцеве, есть в книге «Воздушные фрегаты» прекрасная новелла «Зѣркалщикъ». В творчестве Мартынова была еще одна особенность: он воскрешал забытые имена!

Между тем Мартынов продолжает перелистывать книжку «Футуристы», чувствуется, что она очень дорога ему:

— Здесь напечатаны стихи и даже ноты, музыка... К нашей генерации принадлежал и музыкант — Виссарион Шебалин. А вот мой портрет, художник Уфимцев сделал его на линолеуме,— Леонид Николаевич улыбается.

В фильм «Земная ноша» мы включили много фотографий молодого Мартынова. В молодости он был похож на Джека Лондона, у него мужественное открытое лицо, белокурые волосы, лучистые глаза. Он снят то у борта лодки, то у носа катера... Фотографии эти дают ощущение какой-то широкой, вольной, скитальческой жизни, полной встреч и открытий.

Работая над фильмом, мы очень долго искали те кадры на Турксибе, о которых говорил Мартынов. Кадр за кадром мы отсматривали метры старой кинопленки, и вот нашли.... То же молодое открытое лицо, та же улыбка... Конечно, это он, Мартынов, сомнений быть не может. Он слился с толпой строителей, а среди них — и русские, и украинцы, и узбеки, и казахи. Он — вместе со всеми, и все-таки что-то отличает, выделяет его из общей массы. Ведь только он, молодой газетчик и корреспондент, мог написать тогда такие стихи: «Не худо, сев на важного верблюда, направиться и к югу и к востоку! Дари свободу бедному народу и намечай железную дорогу. Дари свободу! Что же это значит? Дари им воду, букву, цифру, слово и все, на что ты сам имеешь право...»

После зимней съемки мы надеялись еще не один раз поработать с Мартыновым, но практически это была наша последняя съемка. Правда, несколько кадров мы сняли летом в Степановском, куда Мартынов поехал с нами неохотно, больше из чувства долга. Тогда уже тяжело болела Нина Анатольевна. Возвращаясь из Степановского, Мартынов говорил, слушая наши сетования о том, что снять удалось мало: «Вот Ниночка поправится, тогда еще раз съездим».

Но Нина Анатольевна не поправилась, в конце лета она умерла. Я навестила Леонида Николаевича уже осенью. Он вышел навстречу похудевший, какой-то потусторонний, небрежно одетый. Меня поразило, что яркие осенние букеты стояли смятые и пожухлые. Дом казался заброшенным.

холодным, пустым. Мартынов прочитал несколько новых стихотворений, в которых билась одна мысль, одно чувство — огромность утраты. Потом стал читать новеллу «Птица Ундервуд», тоже о ней, о Нине Анатольевне. В фильм мы включили ее фотографии — и в молодости, и в зрелом возрасте. На фотографиях, да и в жизни, она была похожа на жен декабристов, от нее исходили чистота и свет.

Леонид Николаевич очень тяжело переживал утрату и был в это время страшно одинок, хотя друзья и близкие не оставляли его ни на минуту. Мы, телевизионщики, тоже старались окружить его заботой, вниманием. Я часто звонила ему по телефону и бодрым голосом сообщала, как продвигается наш фильм, что мы сделали и что собираемся делать дальше. Иногда Мартынов слушал безучастно, иногда говорил сердито и раздраженно:

— Делайте как хотите, показывайте что угодно, но не надо этих ваших розовых виньеток и заигрывания со зрителем, не надо пошлости...

Режиссер и оператор хотели все-таки снять мартыновское Лукоморье, то место, где горы заходят в луку моря.

— Можно снять это на севере, но с таким же успехом можно поехать и на юг,— говорил Конухов.

— Посоветуйся с Мартыновым, в каких краях, где нам лучше снять Лукоморье.

Я позвонила.

— Вы странные люди!— пробурчал Мартынов.— Да вы нигде его не найдете!— Больше он не сказал ничего.

Только потом мы поняли, что Лукоморье искать, наверное, не надо. У каждого оно свое: это полет фантазии, беспокойство духа, широта сердца...

Иногда Леонид Николаевич звонил сам и спрашивал, когда же будет готов фильм. Он торопил нас, как будто боялся, что так и не посмотрит его на экране. В один из дней режиссеру еще раз удалось приехать к поэту, чтобы записать закадровые тексты, и Мартынов вдруг решил спеть казачью песню.

— Эту песню пела мне мама,— сказал он с грустью и запел:

«Ты скажи-ка мне, сестра,
Чей-то голос у тебя,
Чей-то голос ночью раздавался?»

«Ты послушай, родной брат,
Это струны на разлад —
На гитаре я вечор играла...»

«Ты послушай, родной брат,
Это месяц на закат,
Закатился месяц серебристый!..»

Фильм был готов к 75-летию поэта, в эти дни он был показан и по телевидению. Мартынов смотрел фильм дома вместе с друзьями. Для первых кадров фильма оператор снял огромное ромашковое поле, но не пасторальное, не идиллическое, а стремительный, неровный пробег по этому полю, казалось, что оно уходит в небо и ромашки, очень крупные и яркие на экране, тянутся своими солнечными головками куда-то ввысь, к звездам и в то же время сгибаются под тяжестью земли.

«Пронзят меня лучами, и в свете их огня вдруг крылья за плечами увидят у меня, но не заметят ношу, которую тащу...» Эти строки и дали название фильму.

Ровно через месяц после премьеры фильма Леонида Мартынова не стало. Когда я узнала об этом, несколько дней больно стучали в висок вот эти стихи:

С некоторых пор
Я гляжу как будто
С высоченных гор, чьи утесы круты,
На земной простор, чьи равнины гладки
С некоторых пор, ибо все в порядке
С некоторых пор.
Звезды, как лампадки,
Радуют мой взор, будто все загадки
Разгадал,
И спор
Кончен,
Сны так сладки,
Только очень кратки
С некоторых пор.

Прошел год.

— И все-таки,— сказал мне однажды режиссер Борис Конухов,— я подумал и решил, что фильм о Мартынове надо снимать по-другому.— В руках у него была новая книга стихов поэта «Золотой запас», вышедшая уже посмертно.— Понимаешь, это человек, мир для которого каждый день нов. Каждый раз дерево за окном казалось ему другим, звезды — другими, люди — тоже другими. И все — пласт земли, ветка, камень, курган среди асфальта имел для него особый неповторимый смысл, и все становилось поэзией.

«И вправду...— подумал я.— Недаром же он написал вот это:

Я как будто несколько столетий
Не писал стихов. И вновь берусь.
Промелькнуло, я и не заметил,
Несколько веков. Иная Русь.
И на ней совсем иная осень,
И над ней иные облака.
И как будто бы перо я бросил
Только сутки, а прошли века...»

Может быть, мы сделаем еще один портрет Леонида Мартынова. Тем более что продолжают выходить его книги, живут на свете его верные друзья и близкие, вечерами горит свет в окнах его дома, освещая рабочий кабинет поэта, где все остается в неприкосновенности: и груды книг, и кипы газет, и диковинные камни на подоконнике. А на столе в любое время года стоит букет из осенних листьев.

1983

Агнесса Кун

О ЛЕОНИДЕ МАРТЫНОВЕ

ПЕРЕД ЭТИМ СОНМОМ УХОДЯЩИХ
Я НЕ В СИЛАХ СКРЫТЬ СВОЕЙ ТОСКИ.

Сергей Есенин

Никак не могу прикоснуться к папке с мартыновскими письмами. Духу не хватает. Так-то ведь, вдали от Москвы, частенько кажется — Мартыновы живы, вернее сказать, жив Он. Нина, его жена, умерла, как и Гидаш. Это стало для меня непререкаемым фактом с первого же дня. А почему — не знаю. Таково мое внутреннее ощущение, и, быть может, возникло оно потому, что Нину и Гидаша унесла одна и та же болезнь. Та самая, название которой в наш век страшно произнести.

Хотелось бы мне написать о Леониде Николаевиче, о Ниночке. Хотелось бы дать почитать всем его письма к нам, тем более что большинство из них написаны стихами. Хотелось бы показать и письма Ниночки. Ведь все равно что она, что он — оба едины. Талантом поэта был наделен, конечно, он, а самой поэзией была она. Последними ее предсмертными словами были: «Самое главное поэзия».

Умна была Ниночка не меньше Леонида Николаевича, хотя он и говорил: «Ниночка наивница». На самом деле она видела все на семь саженей вглубь, а уж людей понимала и чувствовала, будто радар сидел у нее в сердце. Правда, не читала Вернадских, Фридманов и уйму тех сугубо научных и научно-популярных книг, которые с жадностью и неимоверной быстротой поглощал сам Мартынов. Но сугубо научные по-настоящему и он, естественно, не мог понимать до конца. Они нужны были ему, скорее, для расширения поэтической фантазии, поэтических горизонтов. Схватывая общую концепцию этих книг, он думал лучше понять современность, для того чтобы он и его поэзия не отставали от этого все быстрее куда-то несущегося века.

Многие называли его стихи-размышления — философскими. Ах, как сердился он, когда его именовали интеллектуальным поэтом, философским поэтом, чуть ли не ученым. Он был и хотел быть просто поэтом. А поэт, ежели он настоящий большой поэт, невольно и даже неизбежно соединяет в себе мысли, образы, музыку, воображение и, если хотите, философские размышления, а также очень глубокие, зоркие представления о жизни — нередко провидческие.

Мартынов и Ниночка (не дай бог случайно назвать ее Ниной, это мгновенно приводило его в ярость. «Слышите, как вы назвали ее?») были, конечно, единым существом. Корнем, надежно приклеплявшим его к земле, была она, с ее устоями истинно русской женщины из российской провинции — таких ведь не сдвинешь с их устоев. Они всю жизнь остаются самими собой с их «спокойною важностью лиц, с красивою силой в движеньях». Недаром, обращаясь к ней, Мартынов писал: «Не отвечай, лишь кивни величаво». Да, с величавой простотой! Так вот корнем его была она — и потому вольно ж ему было, захватывая огромную амплитуду, радугой гулять в поднебесье, вольно было по-хорошему, по-умному спускаться в глубь истории своей страны, бродить по современности с большим пониманием и с «беспощадным оптимизмом», как говорил его лучший друг Антал Гидаш, которого, правда, как и меня, подчас раздражало чрезмерное постоянство его «беспощадного оптимизма», нежелание замечать теневые стороны жизни, хотя бы и старость и смерть (а ведь от них никуда не денешься, как не удалось этого и ему). Вольно было Мартынову взмывать высоко к будущему; давая полный простор своей фантазии,— ничто ему не грозило: корень держал.

А вот когда корень стал хиреть, слабеть, вот когда корня не стало — он весь глубоко скрылся под землей, то в страшных муках отцвел и сам Мартынов. Написал еще о Ниночке дивные, истинно мартыновские стихи:

Это я, может быть, превращусь в горстку пепла,
Которая развеется по ветру,
Но, чтоб он не попал тебе прямо в глаза и от слез
хоть на миг ты не ослепла,
Может быть, даже я, даже я не умру, не умру,
А останусь на белом свете пусть даже тенью,
Потому что надеяться может даже и тень —
На неувядающее соприкосновенье
Со сладчайшим дыханьем твоим в светлый день!

Я не знаю, какой тебе нужен крест — из камня или
металла,
Но твердо знаю только одно:
Я тебя видел, как ты прилетала
Из Нескучного сада
Тогда
В окно!

Сколько тут раскованности, даже больше, чем обычно, будто просто сказалось, не написалось, а главное, сколько глубокой убежденности в том, что она, Нина, птицей залетела к нему. Залетела или нет — неважно! Главное, что он в это верил!

В какие только чудеса не верили мы с ними. Он даже в черную магию — была и такая пора — и вместе в разные приметы, суеверия. Ниночка обязательно должна была шептать ему какие-то колдовские слова перед тем, как он уходил куда-нибудь. И один только Гидаш, видно страшившийся всего иррационального, бунтовал против нас, сердился и все это с «принципиальных позиций» воинствующего материализма. Пуще всего доставалось, разумеется, мне.

Но как же он обрадовался, когда я восхитилась прелестью «Лунного внука», по-моему одного из самых проникновенных стихотворений, связанных с войной:

Этой старой деревни фактически нет —
Она была сожжена во время войны дотла,
И расплавились даже церковные колокола.

Далее Мартынов рассказывает о том, как ее выстроили вновь:

...Девушки изб
Либо пляшут над тихой рекой, либо плетут венок.

А старик
Обязательно смотрит на лунный диск
Через театральный бинокль.
— Что ты видишь? Дай посмотреть и мне!

Но старик не выпускает бинокля из рук,
Потому что там, на Луне,
Живет внук.

Пусть говорят, что старик не здоров, не вполне он в своем уме,
Но ведь внук не убит, и не сгинул в плену,
И не стал перемещенным лицом,—
Он был отважным бойцом на войне,
А после войны улетел на Луну,
И дело с концом.

Он в командировке, секретной пока, этот внук старика.
Он работает там, на Луне, и усовершенствует лунный свет,
Чтоб исправней сияла Луна и плыла, и плыла...

В этом весь настоящий Мартынов! Ученый, философ? Нет! Великий фантазер, мечтатель от всей души, добрый человек!

...Нам светло и нам тепло,
Будто не произошло
Вовсе ничего дурного,
И с тобой мы живы снова,
Крепко-крепко обнялись
И, обнявшись, понеслись
Ввысь!

И этому он верил почти, иначе сразу умер бы, не выдержал, когда жены не стало.

Нас было четверо. Первой ушла Ниночка, вторым Гидаш, третьим Мартынов, и осталась я одна. Не так уж уютно стало на свете. Утрачен и ритм жизни: 10-е, 20-е, 30-е числа. Это были мартыновские дни.

Двадцать с лишним лет подряд сидели мы с Гидашем в нашей будапештской квартире и ждали их звонка: «Целую вас!» — говорила Ниночка, глубоким альтом подтверждая всю значительность своих слов. Потом брал трубку Леонид Николаевич и с ходу начинал делиться с Гидашем своим «беспощадным оптимизмом». Он-то ведь знал, что Гидаш революционный, но по своему складу трагический поэт, веселый человек, однако переменчивый по натуре, бурновзрывчатый. И Мартынов уговаривал его, что надо работать, всегда работать. Гидаш обещал, хотя и не очень твердо. Но, как выяснилось теперь, это был обман. Он тоже, оказывается, всегда работал, и следы его трудов я нахожу везде.

А Мартынов, читая и переводя глубоко печальные стихи Гидаша последних лет, когда зрение все немилосерднее покидало его, каждые десять дней хотел непременно передать ему хоть частицу своей бодрой работоспособности.

Впрочем, и в былые годы, стоило только пожаловаться на усталость, как он произносил всегда одно и то же: «Ничего! На том свете отдохнем!»

* * *

Разумеется, о Мартыновых, дружба с которыми длилась 33 года, я могла написать целые тома. У нас была общая жизнь, даже той порой, когда мы переселились в Венгрию.

О Мартынове-поэте я тоже могла бы немало сказать. Как ни странно, но он гораздо ближе подпускал меня к своему стихотворному хозяйству, нежели Гидаш, хранивший свои стихи как глубокую тайну.

Мы приходили к ним — обедали или ужинали,— и некоторое время спустя я забиралась в другую комнату — она служила и кабинетом, и спальней, и библиотекой,— самовольно выгребала из письменного стола первую попавшуюся груду стихов и начинала, и начинала читать, раскладывая на три части: эти очень нравятся, эти меньше, а третьи и вовсе нет.

Сначала бурная обида за те, которые совсем не пришлись по душе, постепенно наступало примирение: «Нинюша, видишь, сколько Агнесса выбрала. Значит, понравились». И у Нины камень с души. Потом, поспорив еще о том, кто будет читать вслух Гидашу понравившиеся стихи, как правило, я принималась за чтение.

Мартынов сидел довольный, сосредоточенный: вот, мол, как нравятся его стихи Анатолию Францевичу, да и этой вредной Агнессе тоже. Он сам, разумеется, прочел бы их куда лучше, но разве с ней поспоришь. И тут завязывалась обычная буйная перепалка: кто лучше читает его стихи: он сам или я. Той порой я была уверена, что я. А теперь скажу честно: последние десять лет он читал их куда лучше меня, в чем я и не преминула признаться ему. Леонид Николаевич остался премного доволен: «Ну конечно же я был прав, как всегда!» Последнее были не просто слова, а твердая убежденность. И относилась она ко всему на свете. «Он прав, как всегда!»

Перепалка кончалась. Воцарялся мир, чтобы очень скоро вспыхнуть новой ссорой-спором. Мы, как мальчишки, дрались с ним на кулачки, но задирался почти всегда он. Ниночка с Гидашем добродушно улыбались: дескать, опять началось, что с ними поделаешь.

Ниночка была обычно на моей стороне, хотя бы и потому, что Леонид Николаевич дерзил, деспотично утверждал свое превосходство и всячески пытался доказать мое невежество. «Ну а Моравскую вы читали?» — ехидно спрашивал он, вытаскивая из недр памяти имя почти забытой поэтессы. «Представьте себе, читала»,— с не меньшим ехидством отвечала я. «Ну а о Соллогубе и понятия, конечно, не имеете?» Я принималась читать на память соллогубовские стихи и, чтоб еще подлить масла в огонь, заявляла, что начало века знаю не хуже его и недаром Корней Иванович

Чуковский во время одной из прогулок произнес шутливо: «Так как из нашего поколения нас осталось только двое...» — желая этим подчеркнуть, что я очень подробно знаю литературу и литературную жизнь начала века, о которой мы вели с ним бесконечные беседы. Эти слова уже вовсе взбесили Мартынова (надо сказать, что Корнея Ивановича он необычайно почитал, «как лучшего русского критика XX века»).

И тут уже шла в ход глумливая «сударыня»: «А Есенина, сударыня, небось презираете?»

«Есенина?» — мгновенно заводилась и я: полчаса подряд читала любимые стихи моего отрочества, читала Есенина. Победа была за мной, но последнее слово все равно оставалось за ним. «А «Ключи Марии» так и не прочла. Вот!» И Мартынов торжествующе скрывался за дверью.

Наконец Гидашу все это приедалось, тем более что у них отношения были совсем другие — я бы сказала, взаимоуважительные.

Никто ни с кем не задирался, оба охотно и любезно уступали друг другу. В этом сказывалась нежность поэта к поэту. Так вот, Гидаш, которому хотелось поговорить на серьезные темы, спокойно и решительно вставал со своего места в углу комнаты у окна и приглашал Леонида Николаевича перейти в другую комнату покурить.

Наступал блаженный миг — мы с Ниночкой оставались вдвоем и всласть могли наговориться обо всем, о чем женщинам всегда требуется поговорить друг с другом.

Частенько забегала Галина Алексеевна, доктор, друг и ангел-хранитель их семьи, милая, славная, тоже из тех русских женщин, которые знают, что такое самозабвенная любовь. Она вынесла на своих неширoких плечах всю тяжкую болезнь Ниночки, столь любимой ею, после ее смерти болезнь Леонида Мартынова, вливая ему не только лекарства в вену, но и бодрость и жизненную силу. Горестно и страшно перенесла его кончину, а теперь занимается его литературным наследием. Все взяла на себя! Низкий ей за это поклон!

Как и Виктору Уткову, старейшему, вернейшему другу Мартыновых, который до последней минуты мужественно стоял с ними рядом, помогал даже сверх своих сил и с их уходом тоже осиротел.

* * *

Какая была гроза, как громыхал гром. Змеились молнии. Воистину разверзлись хляби небесные.

Хоронили Леонида Мартынова.

Даже природа взбунтовалась, не желала, чтобы он лежал под землей, хотела, чтобы он и дальше на земле воздавал ей хвалу. Неудивительно! В наше время редко кому удавалось сохранять такую живую связь с природой. Может быть, и мартыновский «беспощадный оптимизм» объяснялся этим постоянным ощущеньем вечности природы, а стало быть, и себя «царем природы», принимающим посольство соловьев. Правда, к природе Мартынов настойчиво причислял и высотные дома, и краны, и прочие «дары» цивилизации. «Они же вписываются, ну как вы этого не понимаете!»

* * *

Малюсенький зал Центрального Дома литераторов. Посередке гроб (ах, каким маленьким стал в гробу высокий Леонид Мартынов. И только голова казалась крупнее, чем была). Живой цвет лица, живые, так до самого конца не поседевшие волосы. Еще раз напоследок видишь близкого человека. Еще раз можешь поцеловать его на прощанье, с тайной надеждой, что он это почувствует.

Васильки и ромашки принесла я ему — естественные, живые цветы, их он любил больше всего, как и живую разговорную речь в своих стихах, которые, правда, взмывали иногда до одических высот.

Я приехала на панихиду прямо из больницы вместе со Светланой Коткиной. Мы молча сели с ней вместе в углу. К нам подошел кто-то в полотняной гимнастерке, с палкой в руке и сказал: «Как же это он умер? Я же вместе с ним в больнице лежал. Такой был здоровый мужик».

«Он не был здоров, он был болен»,— сказала я. «А вы что, знали его?» «Немножко»,— ответила я.

Зачем мне было говорить совершенно незнакомому человеку, что познакомились мы с Мартыновыми давно, в очень трудное и для них и для нас время и сохранили любовь и дружбу, когда и им и нам уже лучше жилось на свете. А это ведь так редко случается.

«Первый был поэт!» — промолвил человек с палкой и отошел.

Первый, второй, третий... Поэтов не ставят по номерам,

им не надо рассчитываться слева направо, их не меряют ни пудами, не верстами. Их носят в душе, не на руках, как писал сам Мартынов. В этом и есть истинная «словесная сила». О такой он мечтал. И мечта его осуществилась частично. О, как она осуществится еще в будущем!

А ежели говорить о номерах, то первым поэтом России был, есть и остается Пушкин — и прежде всего потому, что он первый создал ту русскую поэзию, которая жива поныне и пока еще никем не превзойдена.

А остальные поэты — великие и прекрасные — идут уже все по вольному выбору. Поэты, с которыми я прожила всю свою жизнь, чьими словами изъяснялась, пока не умела своими, у которых находила радость и утешение в разные, да и в тяжкие годы жизни, этими поэтами кроме Пушкина были Блок, Тютчев, позднее Цветаева. И не надо спорить со мной, ведь это не оценка и не суждение, а личная душевная и духовная настроенность.

Кто-нибудь другой назовет Баратынского, Ахматову, Пастернака, а третий — Лермонтова, Некрасова, Маяковского... и все они, да еще и немало других — замечательные поэты, притом все разные. И хвала небесам, что столько великих поэтов в той стране, которую, если говорить применительно к поэзии, можно назвать страной Пушкина.

Мартынов наш современник, и не надо о нем судить, уж лучше читать, любить и воздать после смерти все то, что не было додано при жизни. Он ведь не умел устраивать свои «дела». Он, в юности футурист, современнейший поэт до конца своей жизни, совсем не умел создавать вокруг себя ни шума, ни рекламы. Он ничего не просил, ни к кому не пристраивался, умел только одно — творить поэзию. А во всем прочем, при всем своем уме и образованности, был полный несмышленыш.

Я всегда им говорила: «Гидаш, тебе от трех до пяти», имея в виду его внутренний возраст. Дети в эту пору еще наивны, смелы — не ведают опасности, а поэтому, споткнувшись о жизнь, мгновенно чувствуют трагедию, которая, правда, столь же мгновенно от малейшего проявления добра или солнечного луча сменяется жизнерадостностью. «А вам,— говорила я Леониду Николаевичу,— от двенадцати до пятнадцати». Он был вечный подросток, задиристый, очень любопытный ко всему окружающему в мире, втайне нежный и заботливый, легкоранимый, поэтому дерзкий.

Последние тридцать лет оба жили главным образом в

мире и для мира своей поэзии и читали, читали, читали. Гидаш, правда, шире раскрывал свои объятья людям, Леонид Николаевич, как и свойственно его подросточьему возрасту, был более замкнут и опаслив.

Чистые были оба — строго и целомудренно охраняли свою чистоту и непримиримость ко всему дурному.

К счастью, и мы, их жены, поддерживали в этом и считали свою жизнь служеньем, хоть и не формулировали это так. Но об этом надо сказать честно и открыто, хотя бы в назидание женщинам, которые соединяют свои жизни с трудными и прекрасными людьми — доподлинными поэтами. Хочешь не хочешь, а служи и считай, что на твою долю пришлось шесть человек детей и потому с ними столько мороки и счастья.

Кроме того, есть еще и судьба, а поэтам редко достается легкая. И дело не только в видимых всем обстоятельствах, а во внутренней судьбе, особой восприимчивости, особой сверхчувствительности.

Я считаю Мартынова человеком счастливой судьбы. Ему достался могучий поэтический дар, и не получил он к нему в придачу неприличной для поэта «знаменитости» (хотелось ему, конечно, иногда даже очень, но судьба уберегла и от этого). Получил Мартынов от нее в дар любовь исключительной женщины, которую он не только любил, но и преклонялся перед нею, любовь и заинтересованность многих читателей и нескольких, но уж очень верных друзей. На моей памяти Бориса Слуцкого, Николая и Марину Чуковских, Валерия Дементьева, Леонарда Лавлинского, Владимира Сякина... Были, наверное, и еще, да я уже позабыла.

Помню его. Помню ее. Помню нас четверых вместе.

1981

Виктор Соснора

МАРТЫНОВ В ПАРИЖЕ

Вы видели Мартынова в Париже?

Мемориальны голуби бульваров:
сиреневые луковицы неба
на лапках нарисованных бегут.
Париж сопротивляется модерну.
Монахини в отелях антикварных
читают антикварные молитвы.
Их лица забинтованы до глаз.

Вы видели Мартынова в Париже?

Мартынов запрокидывал лицо.
Я знаю: вырезал краснодеревщик
его лицо, и волосы, и пальцы.
О, как летали золотые листья!
Они летали хором с голубями,
они как уши мамонтов летали,
отлитые из золота пружины.
Какие развлеченья нам сулили,
какие результаты конференций!
Видения вандомские Парижа!

А он в Париже камни собирал.

Он собирал загадочные кремни:
ресницы Вия, парус Магеллана,
египетские профили солдат,
мизинцы женщин с ясными ногтями.
Что каждый камень обладает сердцем,
он говорил, но это не открытье,

но то, что сердце — середина тела,
столица тела, это он открыл.
Столица, где свои автомобили,
правительства, публичные дома,
растения, свои большие птицы,
и флейты, и дюймовочки свои...

Был вечер апельсинов и помады.
Дворцы совсем сиреневые были.
Париж в вечернем платье был прекрасен,
в вечернем и в мемориальном платье.

Валерий Дементьев

ОБЖИГАЯСЬ ЕГО ОГНЕМ

1

Лето наступило внезапно: стояла холодная солнечная погода, и вдруг — запах асфальта, бензина от раскаленных мостовых, цветы на газонах, зелень в полный лист.

В такой весенний, вернее, в такой перволетний день я вновь очутился на Ломоносовском проспекте.

Леонид Николаевич Мартынов читал новые стихи... В его чтении всегда угадывалась какая-то неуловимая текучесть слова, движение строк и строф к отдаленной и ясно видимой лишь ему одному цели. Недаром он сказал: «творец стремительных созвучий». Все это и заставляло меня с особым вниманием следить за свободным полетом мысли и воображения поэта, за его стремительными созвучиями, которые он подчеркивал вихреобразным движением руки.

Чтение Мартынова нельзя назвать артистическим. Да по правде говоря, я и не люблю этого самого чтения «с выражением», что проявляется и в неких мелодраматических взвывах чтеца. Нет, когда я слышал голос Мартынова, то ни на одно мгновение не забывал, что это — человек, ощутивший себя Словом. И что это Слово он выражает всем своим существом.

...Потом мы беседовали о вновь прочитанных стихотворениях. И Нина Анатольевна приносила нам чай. Но вот она садится тут же на низкую тахту, подвернув под себя, по давней привычке, ногу. И теперь мы втроем чувствуем себя совсем как в селе Степановском, вблизи от Истры, где Мартыновы всегда проводили лето и куда они вскоре будут переезжать.

Прослушанное мне не дает покоя, не позволяет окунуться в воспоминания о деревне. Я думаю совсем о другом, например о том, как внезапны и вместе с тем закономерны

сдвиги в новых стихах поэта, как от бытовых реалий он возносит меня к понятиям высшего мировоззренческого порядка, к понятиям добра и зла, ангельского и демонического, земного и всесветного...

Вот почему — думаю по ассоциации — при чтении новых стихов мне вспомнилась дневниковая запись Александра Блока: всякое искусство требует, чтобы к нему подходили плавно и смело, бесстрашно обжигаясь его огнем.

Пламя молнии полыхнуло — и в черных полыньях, размытых талой водой, я увидел черные дыры космоса, а в бесчисленных торосах, надвигающихся на рыбачью избушку, инопланетян, застывших еще во времена великого оледенения... Может быть, *так* почувствовал стихи только я, может быть, ледяные торосы на ледниковом озере были обычными нагромождениями льда, а озеро, как подсказывает здравый разум, пусто и мглисто... Однако здравый разум — неважный судья мартыновской поэзии. Нет, его поэзии свойственно то «гейнообразное», которое нашло выражение в строчках: «Не могу понять, где кончается ирония и начинается небо!»

Из всего прочитанного у меня сохранился автограф стихотворения «Видения».

— А я этого не видела,— с удивлением сказала Нина Анатольевна, когда поэт закончил чтение с листа, исписанного его легким, летучим почерком.

Безмятежен сон отца.
Сын не спит: бессонница.
Мать спокойна.
Дочери чем-то озабочены.
Дети стали взрослыми.
Думают родители:
Всякие видения
Мы и сами видели
До вашего рождения...
Особенно —
Вёснами!..

Прочитанные стихи Леонид Мартынов передавал мне сразу же, поскольку мы отбирали цикл для печати. На этот раз он изменил установившемуся порядку и отдал стихи жене.

— Мне нравится!— так просто заключила свое чтение Нина Анатольевна, а Мартынов поверх очков, а стало быть, и не без лукавства посмотрел в мою сторону: мол, говорил я вам, что Ниночка — мой самый строгий критик.

Постепенно мы разобрались в содержимом большой картонной папки, которая всегда лежала под письменным столом и извлекалась вот для таких вот, как нынешний, случаев. В папке хранились новые стихотворения Леонида Николаевича, перепечатанные на машинке и лишь в редких случаях написанные им от руки. Интересно заметить, что в этой папке всегда лежали вторые и третьи экземпляры, может, потому, что их легче было править. Неудачную строку или отдельное слово Мартынов стирал резинкой и вписывал то, что считал нужным, обыкновенной ученической авторучкой. Так в стихотворении «В старой Вологде на пароходике» оказалась вписанной четкими печатными буквами строка: «были созданы лишь для того...» Причем первоначальный текст теперь невозможно прочесть: напечатанное под копирку, как известно, стирается довольно легко и полностью. Именно по этой правке я и определяю, что стихотворение написано в 70-х годах, но никак не раньше.

Все стихи обычно перепечатывала Нина Анатольевна, хотя иногда печатала и племянница Иринка, приезжавшая на лето из Свердловска. И ее машинопись почему-то особенно нравилась Леониду Николаевичу.

Пока я разбирался с папкой, Леонид Николаевич начинал — время от времени — свою речь такой фразой: «Вот мы с вами, Валя...» И это звучало в его голосе вполне естественно и простодушно, хотя я каждый раз улыбался про себя... Дальнейшая наша работа шла так: Леонид Николаевич быстро пробегал глазами текст, про себя повторяя при этом что-то вроде: «Занятно, занятно...» Иногда тут же правил, то есть стирал слово резинкой и вписывал новое. В одном стихотворении он снял целую строфу, причем выждал, когда я прочитаю все стихотворение до конца, вернусь к прочитанному, раздумывая над смыслом этой строфы. Без слов и пояснений Мартынов вычеркнул ее.

Вот так, читая вслух или про себя, мы действительно отобрали цикл для журнала, да еще и для московского «Дня поэзии».

— Однако надо же и для себя оставить!— сказал Леонид Николаевич с тем заговорщическим ликованием, которое обычно свидетельствовало о его глубоком удовлетворении. А картонная папка, которая была извлечена из-под письменного стола, водрузилась на свое место. Она была хорошо знакома многим редакционным работникам и со-

трудникам печати, которые имели полную свободу и возможность в этом большом поэтическом хозяйстве выбирать все, что им нравится.

Однако ни мне, ни им не доводилось видеть, как перепечатывала Нина Анатольевна стихи на пишущей машинке. Тем более не доводилось видеть, как работает хозяин этой квартиры, как он пишет. И я уверен, что никто из нас не заставал его в собственном кабинете среди того поэтического беспорядка, когда все завалено рукописями, книжками с закладками, прочитанными газетами... Нет, на письменном столе Мартынова я заставал всегда одно и то же: стопку новых книг да несколько камней замысловатой формы. Новые книги лежали и на круглом обеденном столе, и на столике при входе в кабинет. Дело в том, что Мартынов безошибочно находил любую книгу, если она ему требовалась по ходу разговора. Он порывисто вскакивал с кресла, устремлялся к столику или к книжным полкам, выхватывал нужный том и сразу же открывал нужную страницу.

Однако до поры до времени я как-то не обращал внимания на одно любопытное признание поэта, а оно многое могло бы мне объяснить в его психологии творчества. Вот что было им сказано в новелле «Неподвижные непоседы», сказано обдуманно и веско: «..Мне лично и самому никогда не нравилось, чтобы за мое перо *хваталась чужая рука*» (курсив мой.— *В. Д.*). Не в этом ли и заключена главная причина того обстоятельства, что почти никому не доводилось видеть, как работает Мартынов. Правда, я знал, что, приглашая гостя в кабинет, он первым делом спешил показать ему на кресло, стоявшее возле книжных полок, чтобы гость ненароком не приземлился или не плюхнулся в кресло, стоявшее возле письменного стола и бывшее его, Мартынова, креслом. А в нем так удобно было беседовать и с посетителями, и с Ниной Анатольевной, присевшей на низкую тахту.

И все-таки меня конечно же волновала святая святых творческого процесса — тот миг или то мгновение, когда «божественный глагол до слуха чуткого коснется»... Вероятно, при желании можно было кое-что вычитать и у самого Мартынова. Ведь сказал же он в одном месте: «Пишем мы разно, не всегда связно, порой безобразно, спотыкаясь о неизвестность, отвлекаясь от первоначальных замыслов к другим, последующим, проваливаясь в чертовы и не чертовы ямы, идя не прямо, а по спирали, но тем не менее вперед и вперед!»

Нет, даже эта ритмизованная проза не давала мне пол-

ного удовлетворения и ответа на вопрос: как поэт работает, как он пишет?..

Мне всегда казалось, что в жизни Мартынова воодушевление или наитие играет исключительную роль, что вот так вот, «вдохновляясь порывно и берясь за перо» (Игорь Северянин), ему не стоило никакого труда взять и исписать стремительным почерком целую страницу. И вероятно, я так бы и остался в своем классическом заблуждении относительно его работы над словом, над строкой, если бы... Если бы однажды я не приехал на Ломоносовский без звонка, рано утром, поскольку добирался из Переделкино через Востряково, а стало быть, и через станцию метрополитена «Юго-Западная». Короче говоря, в прихожей меня, по обычаю, встретили и Нина Анатольевна, и Леонид Николаевич, но Нина Анатольевна сразу же повела на кухню поить крепким чаем, а Леонид Николаевич незамедлительно ушел к себе в кабинет... Он работал! Да, с утра выпил маленькую чашечку кофе, который никогда не может быть слишком крепким,— и сразу же письменный стол. Ну, подумал я, это как у всех у нас... Правда, время от времени в коридор, который вел в ванную комнату и в кухню, выскакивал Леонид Николаевич и бросал какие-то мелко-мелко порванные листочки.

Вот они, горы черновиков!
Сколько я написал...

Эти бесконечные черновики он и рвал с каким-то упоением, даже — ожесточением, рвал на мелкие-мелкие клочки... И тут же относил их на кухню, да что там!— если быть откровенным до конца, то он опускал их в туалет... И я время от времени слышал, как за стеной в бачке столь же ожесточенно шумит вода... Причуда? Как сказать, ибо в том напряженном, нет, в том титаническом усилии, когда необходимо одно: чтобы в слове «материализировался дух», гора черновиков — помост, на котором только и может быть поднято это Слово. Причем добавлю, что Мартынов обладал чудодейственной силой воображения, благодаря которой он и творил мир, где многое происходило совсем как в сказке Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» — «задом наперед и совсем наоборот», где многозначное — просто, простое — символично, невероятное — возможно, а возможное — сотворено вновь! Конечно, для Мартынова не составляло особого труда отыскать те или иные слова, те или иные рифмы. Нет, главную трудность творчества он обоз-

начил сам, имея в виду и свой личный опыт, и вообще опыт современного художника, творца новых произведений.

О нет! Концы с концами он не сводит
Совсем в другом: не может он понять,
Что в данное мгновенье происходит,
И на слова тут нечего пенять...

Жажда познания мира и самопознания, которая была особенно характерна для стихотворения «Река Тишина», мучила его и в дальнейшем. В книгах последних лет — «Гиперболы», «Земная ноша», «Узел бурь», а также в сборниках автобиографических новелл очевидно это стремление выхватить неожиданно возникшую где-то в глубинах сознания, в глубинах души ассоциацию, аллегорию, метафору — называйте как хотите,— которая являлась бы плодом материализации духа, воплощением всех духовных и интеллектуальных возможностей поэта. А для этого каждый раз требовалось величайшее усилие. Ибо совсем не случайно Лаплас сказал, что разуму труднее погружаться в себя, чем идти вперед.

2

...В то памятное для меня утро в работе у Леонида Мартынова находилась новелла «Чара Люстр». Чтобы любой мог почувствовать, насколько сложной оказалась цель, которую стремился достичь поэт, и в качестве вольного изложения темы я обозначу лишь начало этой вещи... У древних исландцев было странное и многозначительное поверие о том, что в этом мире, рядом с нами, вернее как бы «впритирку» с нами, существует и другое, существует инобытие, которое, кстати сказать, Гегель называет «Миром наизнанку»[1]. И там идет жизнь со своими радостями и бедами, но чрезвычайно редко его обитатели оказываются среди нас. И наоборот. И все дело, как видно, в том, что такие «забежники» сразу же теряются в чужом времени и пространстве. А затеряться — значит навсегда исчезнуть, пропасть... В сущности, говорил мне Мартынов, это странное поверие исландцев может помочь кое-что раскрыть в психологии творчества, проникнуть в творческое сознание, поскольку нет большей тайны, чем мгновенные «провалы» творческого сознания в иные времена и пространства.

[1] См.: Гегель. Соч. в 14-ти т., т. 4. М., 1959, с. 86—87.

И столь же мгновенное возвращение. А за этим возвращением, как полагал поэт, и следует тот отзвук или отсвет новых впечатлений, которыми и жив поэт.

Позднее, когда Мартынов дал мне прочитать «Чара Люстр», я не удержался и рассказал ему о встрече студентов-заочников Литинститута с Андреем Вознесенским, который раскрыл в беседе с ними смысл названия своей новой книги — «Тень звука»... Ибо то, что я услышал от Мартынова, странным образом совпадало с пояснениями Вознесенского. Дело в том, что и Вознесенский ссылался, но только на древнеиндийских мудрецов, которые будто бы считали, что звук сам по себе не оставляет впечатления — оно возникает после того, как слово прозвучало. Таким образом, в нашем сознании возникает *тень* звука, то есть некое воспоминание о нем. Впоследствии эту «тень» мы воспринимаем в виде зрительных образов и ассоциаций. Уже тогда я почувствовал, что чем-то заинтересовал Мартынова. И вот в его книге «Золотой запас» один из разделов был назван — «Тень зноя», по одноименному стихотворению.

Поскольку мифосознание Мартынова всегда целенаправленно, то и космический холод для него — не что иное, как обратная сторона космического зноя, его изнанка. А так сказать — значит «...сказать про тебя, северянка,

Что в венце леденистом
Улыбается солнце,
Чей холод
Не больше,
Чем тень!».

Вообще Мартынов непрерывно, не зная ни сна, ни покоя, осмысливал сдвиги в значении привычных явлений и фактов, искал те «особинки», которые бы их обновляли. Причем внутренний толчок, который, я верю, он испытывал каждый раз, когда замечал *такое*, и был первоначалом стиха.

Вот поэт удивительно ловко и вкусно берет книжную новинку и, по обычаю и навыку старого книжника, заглядывает в середину, потом — в самый конец, потом читает оглавление, возвращается к началу — и вздыхает в предвкушении удовольствия: книга попалась дельная — и ее надо будет обязательно прочитать. Кто знает, может быть, именно из этой книги о бионике, вышедшей даже не в Москве, он вычитает поразительный факт, что мать К. Гаус-

са, всемирно известного математика и, стало быть, человека с необычайно развитым пространственным мышлением, видела невооруженным глазом фазы Венеры и некоторые спутники Юпитера.

Видите:
Мать
Математика Гаусса
Все это видела въявь, а не грезила.
Это не мистика, не публицистика,
Это — поэзия!

Так повсеместно, в любой сфере своей жизнедеятельности и обычного домашнего обихода, он отмечал все, что необыкновенно, что сбрасывает с явлений и предметов будничные покровы, что творится вопреки здравому смыслу, но по законам страны чудес — страны Поэзии.

Веру Сергеевну Домашневу, родственницу Нины Анатольевны и близкого друга Мартыновых, в семейном кругу звали Лесей. Она-то и рассказала мне, что в селе Степановском летним вечером, когда длинные тени ложились через дорогу и как бы соединяли прошлое с грядущим, поэт бездумно смотрел на деревенскую, заросшую садами улицу. Правда, это впечатление было обманчивым, ибо «смерчевидный человек» мгновенно преобразился, едва его взор уловил нечто странное. Хозяйская корова, возвращаясь с пастбища, вместо того чтобы щипать траву, задирает голову и начинает есть яблоки прямо с веток... К сожалению, мне не довелось прочитать стихи, основой которых, по словам Леси, послужил именно этот эпизод... Но интересно было бы все-таки узнать, какой образ нашел поэт для этого в общем-то необычного факта деревенской жизни.

И уж не с чьих-нибудь слов, а из наших же встреч и разговоров я знаю, как Мартынов воспламенялся, вдохновлялся и как он поражал меня мелькнувшей, словно проблеск молнии, догадкой... Однажды я начал жаловаться, что нет у меня места, где я мог бы сосредоточиться, обрести состояние душевного покоя, который так нужен пишущим людям... Леонид Николаевич внимательно выслушал меня, а затем вполне серьезно предложил: «А найти бы вам, Валя, когда потеплеет, хорошее, теплое дупло в лесу...» И — замолчал... Однако сказанное было так необычайно и так осуществимо, что я до сих пор помню и это теплое дупло, и эту вольготную жизнь в лесу. В другой раз на мои сетования, что мне трудно дается начало новой вещи, что я совершенно

не знаю, как начать, Леонид Николаевич вслед за мной повторил: «Не знаете, как начать? А вот так и надо начать: «Я построил дом на берегу ледникового озера. И стал Человеком — Маяком!..» Вмиг я почувствовал главнейшую особенность мартыновского мышления: частность — возводить в высшую, вернее, в наивысшую степень обобщения. И добиваться тем самым ошеломляющей новизны... Чтобы из сопоставления несопоставимого у читателя возникало чувство, чем-то похожее на озарение — озарение этой ошеломляющей новизной метафоры. Когда же я высказал опасение, что мартыновский почерк может слишком явно сказаться на моем письме, поэт, как говорится, с ходу одарил меня замечательным афоризмом: «Нет, Валя, истинная преемственность всегда чудесна, она носит единственно правильные формы — формы непохожести...»

Глубокой осенью, когда Мартыновы возвращались из деревни, а я — с Кубенского озера, прекрасного голубизной, раздольем и камнями-валунами, которые остались со времен великого оледенения, наши встречи были еще более сердечными, более насыщенными разговорами и чтением новых стихов. Правда, и летом не прерывались связи — мы переписывались по почте. Вернее сказать, писала Нина Анатольевна, писала всегда обстоятельно и заботливо, предостерегая от опасностей, которые непременно ждут любителя-рыбака... Леонид же Николаевич делал приписки и снабжал текст писем рисунками. На этих рисунках в озарении радужных вод плыла под парусом ладья, на корме которой вырисовывался силуэт человека. Иногда по борту шла пояснительная надпись: «Валерий». Иногда под днищем плескалась огромная озерная чудо-юдо рыба-кит. Приписывались и шутливые стихотворные строки, как, например, в письме, полученном мною в июле семьдесят седьмого года: «Привет, Анахорет! От Кубенских волн сед?.. Нет! Ты не сед, А солнцем Кубенским согрет! Не во вред Пусть пойдет тебе оно, Воспетое прозаиками, Но — и неким стихотворцем заодно!»

В этом дружеском послании намекается на мои книги «Спас-Камень», «Великое устье», «Дар Севера», которые — я знаю — читались в семье Мартыновых, а также на новый стихотворный цикл Леонида Николаевича. И поскольку этот цикл позволил мне глубже познать особенности его самовыражения, услышать первоначальные варианты, а

затем — прочитать стихи в книгах «Узел бурь» и «Золотой запас», то есть смысл остановиться на этом цикле достаточно подробно.

«Сопряжение далековатых идей» как пожизненная и чисто человеческая страсть Мартынова, о которой он безусловно знал и которой он безусловно доверял, полно проявилось в этом цикле. Да и во многих других его стихах обращение к молве, преданию, мифу усиливалось от варианта к варианту. Причем прошлое и настоящее существовали в том диалектическом единстве, которое было характерно именно для Мартынова. Вообще в 70-х годах мифосознание Мартынова обострилось и глубже выражало его лирическое «я». Правда, его мифологизм еще далеко не исследован, не изучен, хотя именно мифологические образы древнего мира, библейские сюжеты, исторические аналогии позволяли поэту как бы напрямую выходить в космос, в мироздание, то есть учитывать гигантские масштабы нашего времени — времени освоения и *обживания* космоса. И не потому ли он вспоминал озорную строку Велемира Хлебникова: «Люди и звезды — братва!» И не потому ли свои произведения он ориентировал на будущее,— ведь там, «пылая горячо, где-то молнии мерцают, бессловесные еще!». Как полагал Мартынов, духовность в искусстве и литературе сохраняется в том случае, если она незримо живет и оживает в прекрасном, если она как бы «затаена» в красоте. Вот почему от него, поэта Мартынова, требуется исключительная изощренность стиха и пристальность видения мира, поскольку он должен создать поэтическую реальность, сквозь которую просвечивала бы реальность человеческих страстей, человеческих художественных форм, человеческих поисков красоты. Именно это, в свою очередь, предполагает, что современный поэт свободно владеет не одной арифметикой, но и высшей математикой стиха — математикой неожиданных ассоциаций и «многослойного» поэтического текста.

3

Еще в 1972 году, памятном мне необычайной жарой и грибовидным облаком, застывшим, казалось бы, навечно над русским Севером, я рассказал Мартыновым, что, алкая тишины и покоя, я наконец-то добрался до чудесного Спас-Камня. Однако застал там лишь руины древнего собора, построенного одновременно почти со знаменитым париж-

ским собором Нотр-Дам. Случилось так, что Спасокаменный собор был взорван в 30-х годах. К великому прискорбию, на островке я нашел и следы нового пожарища. Оказалось, что рыбаки и охотники диким способом приплывавшие к островку, сожгли по небрежию единственно уцелевшее с XVIII века каменное строение. И дым тянулся по озеру, застывшему в безветрии, и вселял он суеверный страх в деревенских старух, и тянулся в сторону все того же грибовидного страшного облака, застывшего на горизонте. В доказательство, что все рассказанное — правда, я вручил Леониду Николаевичу обломок белокаменной капители. Потом были, конечно, другие встречи и разговоры, пока глубокой осенью семьдесят шестого года Мартынов не сказал мне, что он закончил стихотворный цикл, в который вошли стихотворения «Страж», «Когда заря алее кровь-руды», «На Кубенском на озере на «о», «Ледниковое озеро», «В старой Вологде на пароходике», «Север», «Тайна бытия» и некоторые другие. Можно себе представить, с каким жгучим интересом и волнением я держал в руках заветную папку, извлеченную и на этот раз из-под письменного стола.

— Посмотрите вот такое...— говорил Мартынов, передавая мне одно из стихотворений.

Когда заря
Алее кровь-руды
Над Кубеноозерьем нависала,
Синицы-хищницы клевали сало,
И вслед за Нелей около воды
Медведь ходил, лишь нюхая следы,
Которые она в песок бросала,
И то и дело прятался в кусты,
Чтоб настроенье не испортить Неле,
Где ягоды малины пламенели,
Попав в ея прелестные персты.

Этот медведь-сластена, вероятно, и забрел в кусты только для того, чтобы обсасывать ветки, осыпанные ягодами, а может быть, и собирать рыбу на приплеске. Был ли в действительности такой случай, была ли такая вероятность встречи с хозяином северных лесов — неважно. Важно то, что под пером Мартынова «просто» случай обрел свою историческую родословную. Именно так: элегическая поэзия начала прошлого века, в первую очередь поэзия Батюшкова, отозвалась в этих изящных и слегка старомодных стихах, отозвалась в лексике последних строк, контрастно

оттеняющих и в чем-то родственных первобытной девственной северной природе. Не об этом ли Мартынов писал в новелле «Хлоя»: «Мне даже казалось, как, впрочем, кажется и до сих пор, что поэзия может прекрасно уживаться с житейской прозой. Легкий наивный узор не портит добротной ткани...»

Да, легкий наивный узор не портит добротной ткани ни этого стихотворения, ни всего северного цикла.

Чтобы подтвердить правдивость своих воспоминаний, я бы мог показать автографы почти всех стихотворений, сохранившихся, к счастью, в моих бумагах. Так, например, стихотворение «Страж» было больше приближено к моему рассказу о развалинах Спасокаменного собора[1], хотя главная его идея — идея стража вечности — исключительно мартыновская. По не зависящим от автора причинам была снята и такая вот строфа:

И я не вспоминаю, потому что это было
сравнительно уже давно,
Как районные власти обратились к командованию
воинской части
С просьбой взорвать древний храмик,
мешавший строительству новых
коро́вников, но
Генерал отказал им, по счастью...

Сохранилась у меня и записка поэта, в которой он убедительно просил: «Дорогой Валерий!.. Я сделал одно исправление: не подмосковных, а позабытых буграх, что дает более широкую картину. Леонид Мартынов. 9.XI.76. М.» И еще. Прежде чем процитировать стихотворение «Страж», одно из лучших созданий поэта в последние годы жизни, я добавлю, что история древнего заволоцкого края, его старинная архитектура, его народные промыслы — все это, казалось бы, уже было в лирике Мартынова... Однако чего не было, так не было глубокой обеспокоенности поэта нашим нерадением, нашим невниманием к культурным богатствам прошлого, к тем духовным ценностям, которых не воссоздать. И эта обеспокоенность придавала стихам внутреннюю напряженность, тревожность, которая и разрешилась исключительно сильной — и поэтически и эмоционально — концовкой стиха:

---

[1] «Рыбаки и охотники преобразили его в унылый пустырь»,— писал Мартынов о Спас-Камне.

...на радужном озере
Видится мне
Монастырь,
Превращенный когда-то в маяк,
А теперь и на месте маячных развалин
Остается, печален, лишь черный пустырь
и пожравший и камень, и пламень очаг.

Словом,
Есть у Вечности что-то
Всепожирающее
В ясных ее очах,
Будто Вечность такой преотчаянный весельчак,
Что порой и заплакать от смеха охота.

Новый стихотворный цикл впервые был напечатан в газете «Красный Север» с моим кратким вступительным словом, напечатан спустя сорок с лишним лет после того, как на страницах этой газеты стали появляться информации, подписанные инициалами Л. М. Насколько я помню, за все это время Мартынов в газете не публиковался. Однако цикл показал, что ему по-прежнему была близка лукоморская тема, где действительность смешалась с вымыслом и где невозможно было отличить реальные очертания жизни от прозрений и дерзких фантазий поэта.

Вот почему я уверен, что заряд жизненной мощи, который, по словам Новалиса, и определяет эстетическое величие художника, никогда не иссякал в поэзии Мартынова. Этот заряд толкал его к письменному столу, вселял сознание, что ни при каких обстоятельствах не следует обкрадывать себя, а следовательно, и всех других, что надо побеждать эти обстоятельства, вставать выше их, подчинять их своей творческой воле. Во имя других поэт должен все осмыслить, добраться до сути, закрепить в слове мимолетное озарение, увидеть переходный миг, который на наших глазах превращается в миг истории самой. Поэтому-то он и говорил: «Хотя задача эта нелегка, но я возьмусь...» И брался за разрешение самых сложных задач, стоявших перед искусством.

«В самом деле, что такое художественное творчество, поэзия? — вопрошал Мартынов в 1966 году.— Не есть ли это стремление открыть то, что скрыто в тебе и в других, скрыто во времени часто не кем иным, как самим Временем?.. Не есть ли это потребность заглянуть в прошлое, чтобы понять, что надо делать в настоящем?..»[1]

---

[1] Мартынов Л. Поэзия Ильи Эренбурга.— Лит. Россия, 1966, № 5, с. 18.

Вновь и вновь возвращаясь к свободе творческого самовыражения, Леонид Мартынов и в 70-х годах создавал вещи, которые отвечали на эти им самим же поставленные вопросы. Так в стихотворении «Мокрый ветер» (1971) он отвечает на вопрос: не есть ли твое стремление заглянуть в себя — стремлением увидеть окружающих? И наоборот, вглядываясь в себя, не увидишь ли ты и окружающих?..

Зачин стихотворения «Мокрый ветер» дает перевернутый — или «наоборотный» — план осенней непогоды: близится зима, но все еще идут непрерывные дожди, и в асфальте по-прежнему «гуляют отражения вниз головами». Эта парадоксальная метафора, как обычно у Мартынова, склонна к развитию, к переходу в иносказание. Так случилось и в «Мокром ветре». «Не правда ли,— говорит поэт,— довольно-таки странно... гулять у себя под ногами, на свое отраженье ступая! Расплываться большими кругами, будто только в себе утопая!» И здесь интонационный жест поэта внезапно изменяется:

Углубляйся в себя, углубляйся,
Сам являйся своим окруженьем,
Но особенно не удивляйся,
Коль в асфальте с другим отраженьем
Вдруг твое отраженье столкнется...

Через образ «отражений» здесь передается и осенняя слякоть, и непогода, и городская сутолока в ранних сумерках... Но и не только это! В результате развития стиха возникает следующая мысль: в твоем внутреннем «я» может отразиться «я» другого и третьего. И вероятно, потому твое «я» и «я» другого в поэзии фактически неразделимы.

...Комментируя стихотворение, впрочем как и всю проблему лирического самовыражения, Леонид Мартынов высказал мне ряд интереснейших суждений, касающихся не только поэзии, но и литературы и искусства в целом. По его мысли, в самовыражении есть момент творческой одержимости.

— Надо самовыражаться! — воскликнул он несколько раз. И как всегда, в момент эмоционального подъема или просто возбуждения, вскочил с кресла и забегал по комнате.— В каждом человеке сидит художник. И каждый может выразить себя. Но только в исключительном случае — это высшая ступень вдохновения, одержимости, экстаза!.. И такое бывает у нас с вами.

Мартынов вспомнил, что видел в притонах Омска в своей ранней молодости волшебные шарики факира: прямо на глазах они распускались в цветы, в каких-то диковинных рыбок или в чудесных птиц, словно слетевших с китайских манускриптов. Если же поискать сравнение посовременнее, то мысль о самовыражении можно сравнить с произрастанием зерна, которое — при убыстренной киносъемке — множит корни, тянет вверх стебель, цветет, плодоносит и тут же осыпает зерна в почву... Лирическое «я» современного поэта не может быть выражено только сквозь призму своего личного бытия. Поэт не живет без общественных или даже без космических страстей. Поэт как человек — часть вселенной, а вселенная — частица человеческого «я»... И здесь он вспомнил Якова Полонского: «Писатель, если только он волна, а океан — Россия...» Да, именно так: лишь для мелких личностей в самовыражении кроется что-то опасное, только слабые натуры впадают в откровенный субъективизм. Конечно, в душе любого могут быть «черные пятна», равно как не все лучезарно и в нашем общественном деле. Однако он, Мартынов, никогда не боялся, говоря языком публицистов, негативных явлений, он не боялся отвратительного... В 20-е годы, когда впервые им был прочитан сонет «Магазин самоубийц» французского поэта-декадента Мориса Роллина́, он долго находился под сильным и тягостным впечатлением от этого сонета. К счастью, преодолеть душевную смуту, отыграться иронией, скрасить прочитанное гейнообразным смехом ему удалось после встречи с «девицей-осьминогом». Вот так эта самая мадам Вампир превратилась в веселое и забавное приключение.

— Однако лучший пример всей проблемы самовыражения,— сказал в заключение Мартынов,— это пример вашей работы. Ведь вы даете свое истолкование другого. Именно *свое*, то есть перевоплощаетесь в другого и наделяете его и своей радостью, и своим негодованием, и своей заботой. И еще я заметил: чем больше вы даете себя, тем это больше похоже на меня!

...Какое-то время спустя побывал я в Болгарии и услышал от известного болгарского поэта Любомира Левчева следующее: «Все мы вышли из шляпы Мартынова!..» И — понял: это — перефраза известного выражения о рукаве гоголевской шинели.

4

Своеобразие лирического самовыражения Леонида Мартынова определено своеобразием его философско-эстетических взглядов и воззрений. Для него прошлое — это субстанция, где победу одержало случившееся, а стало быть, и единственное. И наоборот, будущее — субстанция возможных решений («Чего не случилось, могло бы случиться!»), субстанция свободы и выбора цели. Между ними — настоящее, которое Мартынов, как уже говорилось, и принимал как «переходное мгновение», ощущая его изменчивость и текучесть. Известно, что еще Лейбниц сказал: настоящее обременено прошлым и чревато будущим. Настоящее всегда чревато будущим — вот основа основ той сквозной необходимости, в которую с юношеских лет пылко уверовал Мартынов. Потому-то в лирическом самовыражении и должен был быть момент наивысшего подъема душевных сил, момент творческой одержимости, которого никто из других не видит, даже экстаза, ибо непросто прозреть завесу времен, ощутить «грядущее въявь», услышать будущего зов», как однады по тому же поводу сказал Б. Пастернак.

Но опять-таки услышать этот «зов будущего», различить его в гудках автомашин и сиренах тепловозов, в реве турбин реактивных самолетов возможно лишь в том случае, если художник обладает пылким воображением. А что такое воображение?.. В стихотворении «Дар воображения» (1970) Мартынов, по существу, воссоздал свой творческий путь с того самого дня, когда стал печататься в маленькой ведомственной газете «без подписи, петитом, нонпарелью». Позднее он брался «за оформление автобиографий орденоносцев сельского хозяйства», еще позднее — писал краеведческие заметки. Но и тогда он не боялся безвестности, анонимности творческого существования, но и тогда он твердо верил и знал, что он — участник великого преобразования жизни, «упорный борец за становление Советской власти». А так думать о себе, молодом и незнаменитом, мог лишь поэт, который конечно же имел «чудный дар воображенья».

Вообще для Мартынова жить — значило быть обладателем творящего разума и деятельной фантазии, деятельной мечты. Потому-то в его творчестве воображение играло ни с чем не сравнимую роль. Воображение всегда многократно и многозначно усиливало его переживания. И я обжигался

пламенем его воображения, шел по горячему следу его стихов, одно твердо зная: воображение поэта еще свершит чудеса. Оно не походит на наглядные картинки, которые складываются из отдельных кубиков. Нет, его воображение — это предвосхищение реальности! Реальность в его стихах становилась какой-то иной, более сильной, более ослепительной, более космичной. Ведь у Мартынова совершенно отсутствуют описания природы, зарисовки природы, этюды природы. И хотя все, что существует в стихах поэта, существует и в реальности, но существует, может быть, в частностях и деталях... И только его стих дает нечто законченное, завершенное, становится *предвосхищением* твоего видения мира, твоих переживаний, твоих чувств.

Устав
От дрязг
Стальных колес
И рева сопл с небес,
Я радовался:
Удалось
Уединиться в лес.

Но столь роскошно торжество
Безмолвия в лесу,
Что показалось мне:
Его
Я не перенесу.

В чтении самого Мартынова я слышал, как эта последняя строка произносилась не просто по слогам, а на каком-то затаенном, как будто бы даже безмолвном крике. И я сразу же почувствовал, что это небольшое стихотворение предвосхищает мою встречу — встречу современного человека с живой природой — и такую, которая была, и такую, которая произойдет в грядущие годы.

Конечно, почитателям классических строф об «усталой нежности природы», о вечерних «трелях соловья» эти стихи могут «не показаться», не удовлетворить их,— ведь они созданы не на принципах «картинности», «лицезрения», а на принципах прозрения, на принципах *предвосхищения*, они обращены к глубинам нашей психики и нашего мировосприятия.

Насколько действенными и по-современному впечатляющими были все эти принципы, показывает и творчество Мартынова в целом, и такая, например, частность или деталь. В стихотворении «Закат» из книги «Узел бурь»

поэт писал: «Вот дерево одно зеленопламенным закатом оранжево озарено...» По традиции — и для вящей картинности — следовало бы сказать: «*Оранжевым* закатом одинокое зеленое дерево озарено...» Но Мартынов, конечно интуитивно, конечно неосознанно, переосмыслил этот образ — и создал то, что соответствует импрессионистическому видению природы: *зеленый* закат и *оранжевое* дерево могут существовать лишь на картинах импрессионистов[1]. Об этом в мае семьдесят пятого года довольно долго мы и толковали с поэтом.

Мысль Мартынова сводилась к тому, что наиновейшие исследования физиков, в частности в области теории света, подтверждают то, что открыли художники-импрессионисты,— предмет сам по себе бесцветен, все дело в его освещении. Медведь, говорил мне Мартынов, на вечерней заре может быть темно-бурым или даже — алым, а заяц, вставший столбиком в низине, в которой клубится туман,— голубовато-синим...

«Узел бурь» — последняя книга стихов Леонида Мартынова, вышедшая при его жизни. И в стихотворении «Закат» он дал именно в таком вот импрессионистическом освещении одинокое дерево только потому, что ему необходимо было выделить и даже предвосхитить одинокость этого дерева и тьму, которая все стремительнее наступала на него. Примечательно, что в стихотворении название рифмуется лишь с самой последней строчкой.

ЗАКАТ

Когда
В лесу уже темно,
Бывает дерево одно
Зеленопламенным закатом
Оранжево озарено.
Вот так и ты давным-давно,
Когда кругом темным-темно,
В лесу блуждающим закатом
Остался будто бы объят.

Когда я слушал это стихотворение, у меня возникло то смутное состояние, которое, как я позднее узнал, было знакомо и другим, например, К. Г. Паустовскому: «При

---

[1] Не случайно Гоген ссылался на Делакруа, который однажды написал коня фиолетовым.

созерцании прекрасного возникает *тревога*, которая предшествует нашему внутреннему ощущению всего другого»[1]. Какое это точное и прозорливое восприятие красоты! Оно свойственно современному человеку. И я ощущаю в этих словах писателя, который любил и глубоко понимал жизнь русской природы, не умиление, не отдохновение, не восхищение, а именно тревогу, которая и возникает в сердце художника. Эту тревожную, так внезапно и вроде бы случайно прозвучавшую в стихотворении Мартынова «Закат» ноту я горько ощущаю и до сей поры.

1985

---

[1] Паустовский К. Собр. соч. в 8-ми т., т. 3. М., 1967, с. 51.

Л. Лавлинский

КУРС ВОЗДУШНЫХ ФРЕГАТОВ

«У поэтов не существует возраста»,— любил повторять Леонид Мартынов. Видя его постоянную одержимость работой, я готов был поверить, что это действительно так. Тупиковых ситуаций его творческая мысль решительно не признавала. В его художественных произведениях (а нередко и в повседневных речах) торжествовала логика острой метафоры, неожиданного парадокса. Будь то стихотворная миниатюра или обширное повествование — лучшим из них присущи непредсказуемые, но вполне естественные сюжетные повороты.

В книге его мемуарных новелл и эссе «Черты сходства» (М., «Современник», 1982) есть один весьма мрачный заголовок — «Пучина Забвенья». Речь тут идет о совершенно забытых ныне поэтах, встречавшихся автору на заре молодости. Примеры к размышлению о мирской тщете? Но это было бы совсем не в духе программного мартыновского жизнеутверждения. Повод посетовать на эфемерность иных дарований, на слабость характеров, не одолевших тяжкой ноши поэта? Нет, ход для читателя совершенно непредусмотренный. Автор рассказывает, как однажды сам оказался в роли забытого. Впрочем, даже и не поэта еще — он тогда только начинал. Просто юного омского футуриста перестал замечать бывший школьный учитель (прежде он ему благоволил). Возможно, это было проделано в воспитательных целях (чтобы не зазнавался), а быть может, словеснику Труневу не нравились стихи питомца. Но так или иначе, его демарш произвел впечатление. «Если он и забыл обо мне, так неспроста. А видать, он, старый педагог, забыл обо мне для моей пользы, чтобы премудро одарить меня чувством забытости, чтоб я познал, что такое забвение,— чувство, с которым не шутят!.. А для того

чтоб я с величайшей осторожностью, величайшим тактом говорил о всех тех, кто настолько мне далеки, что я не помню, о чем они писали...» Так Л. Мартынов вывернул наизнанку само понятие, обозначенное в заголовке. Забвенье, оказывается, служит памяти: автор бережно восстанавливает эпизоды давних встреч и знакомств, все уцелевшие в закоулках сознания имена, смутно мерцающие строки... Ведь все это было когда-то жизнью и его молодостью.

В мемуарах Леонид Николаевич, конечно, мог в сюжетных целях позволить себе некую дозу шутливого домысла (кто знает, для чего, в самом деле, перестал его замечать старый словесник?). Но легкого обращения с истиной поэт никогда не допускал. Он был верным рыцарем действительности, а не ее льстецом, поэтому и негодовал, встречая иногда в печати приукрашенные портреты спутников юности. Рассказав, например, о некоторых неблаговидных поступках одного из них, автор пояснял: «Я прекрасно представляю, как это встретят настоящие и будущие биографы Антона Сорокина, пытающиеся сейчас создать не живой, а благочестиво-иконописный образ этого интересного, странного противоречивого человека. Быть может, скажут, что я клевещу на него...» И Леонид Николаевич подкреплял свое мнение вескими историко-литературными фактами. В работе с документами он был весьма щепетилен, и если в другой новелле прибегал к цитате, а затем сообщал об авторе: «Я забыл его настоящую фамилию»,— мы не должны обманываться и считать цитату вымышленной. Даже в том случае, если мемуарист уверяет, что «эта моя забывчивость не литературно-дипломатический прием, а чистая правда, психологический факт, ибо людям свойственно забывать те или иные прискорбные факты». На самом деле память Леонида Николаевича была превосходной и опиралась на многочисленные газетные и журнальные вырезки. Но истине его утверждение тоже не противоречит: он умел забывать намеренно (как его герой словесник Трунев) — забывал, когда считал это нужным, нравственно обоснованным.

Страсть к метафорам и парадоксам вовсе не означает, что в обиходе Л. Мартынов говорил отточенными афоризмами. Нет, его устная речь была выразительна, но корява (в моих статьях она выглядит глаже и бесцветнее). Он строил ее как придется (особенно в минуты волнения), причудливо соединяя начала одних фраз с окончаниями других. Мысль, пробиваясь к формулировкам, встречала

сопротивление материала. При рождении стихотворений (или, говоря словами Л. Мартынова, «новых юных звезд») происходит нечто подобное. «И к себе протест во мне взрывается...» Поэтическая идея рождается из внутренних противоборств. Только одни авторы откровенно показывают читателю тайные муки ее развития, а другие предпочитают знакомить нас лишь с конечным итогом — образной формулой. Гражданская муза Л. Мартынова знает обе разновидности лирических самовыражений.

Около трех лет минуло со дня кончины поэта, и я уже стал привыкать к тому, что его нет, но в моей памяти все еще звучат отголоски наших бесед и споров.

— ...Меня, Леонид Николаевич, больше всего ранит и изумляет в истории человечества одновременное нарастание света и мрака, их странная совмещенность и взаимозависимость. Крепнет один полюс — другой не слабеет, а, напротив, тоже как бы удваивает силы. Момент величайшего подъема гуманистической культуры может быть также и апофеозом дремучего невежества, дикой бесчеловечности. Ведь костры инквизиции пылали особенно часто и рьяно не в средние века, а в бурную эпоху Возрождения! Когда творили Шекспир и Фрэнсис Бэкон, Галилей и Кеплер!

— ...А Рим? Рим во времена Цицерона был охвачен массовым и долголетним безумием,— подхватывал поэт.— Историки будущего еще к этим временам вернутся и будут изучать всю сложность причин, все капиллярные взаимосвязи. А в сердцах живых людей, в характерах исторических деятелей разные полюса тоже иногда совмещаются или, по крайней мере, разные достоинства и недостатки существуют в сложных пропорциях... Вы обвиняете Цицерона в том, что он иногда кривил душой, выступая на судебных процессах... А вы что же, хотите привесить человеку (великому человеку!) некий счетчик, который бы издавал треск, если он допускает нравственную фальшь? В наш век это обернулось бы усовершенствованным детектором лжи... Нет, никаких счетчиков не надо — просто мы должны выше ценить разум, одолевающий любые хитросплетения зла. И в окружающем мире и в себе самом...

Перечитываю теперь:

Галилей
Ослеп от старости
Или от трубы подзорной?
Галилей
Ослеп от ярости,
Ибо жил, как поднадзорный.

Не могу, разумеется, утверждать, что эта миниатюра — итог наших разговоров. Они — лишь бытовой фон, на котором засверкала образная формула...

Даже будучи больным, Л. Мартынов не оставлял усиленного и разнообразного чтения: то вникал в новую монографию об А. Фете, то штудировал какую-то работу об истоках российской арабистики, то углублялся в книгу знаменитого немецкого физика Макса Борна. Почерпнутые сведения вовлекались в главное дело, становились строительным материалом его метафор. Как-то, провожая меня до троллейбуса (на улице, как обычно, было много машин), поэт рассказал: «Макса Борна однажды спросили, есть ли в окружающей природе какая-либо закономерность и последовательность. Ученый ответил, что есть лишь бессмысленная толчея атомов, но из нее вырастают закономерности...»— «Случайность как частный вид необходимости?» — отозвался я. «Ну конечно. И все мы такие же детерминисты...»

Не знаю, было ли к тому времени уже написано стихотворение, которое сейчас приведу,— оно интересно тем, как поэт использовал образ первозданной материи, осмысливая человеческую жизнь, окружающую действительность:

На наших улицах
Не день ли ото дня
Ужасней и ужасней суетня,
Как будто бы машины без людей
Туда-сюда, как люди без идей,
Лишь тычутся бессмысленно с утра
До ночи нынче, завтра и вчера!
Но это вздор! Таится смысл во всем:
В машинном газе, в девушке со псом
И в мальчике, идущем колесом...

В толченье атомов как будто смысла нет,
Но соразмерен стройный бег планет,
И кто дерзнет, тот станет невесом!

Мартыновский «смысл во всем»— это законы высшего порядка и гармонии, ради постижения и утверждения которых существует поэт.

В его жизни нет ничего такого, о чем было бы неловко упоминать, и все же я колебался, принимаясь за эту статью: чем поделиться с читателем? О чем умолчать? Ведь рас-

сказываешь прежде всего о том, чему лично был свидетелем, и, значит, о себе тоже — есть риск показаться нескромным. Но как, например, не говоря о своих делах, объяснить отношение поэта к редакционной работе? И, что еще важнее, как передать его дружеское участие, заботливость и доброту, которые ты ежедневно ощущал? Страх проявить неблагодарность к его памяти сильнее боязни читательского непонимания: я решил не умалчивать ни о чем.

Как близкий друг, Л. Мартынов одним из первых узнал о возможных служебных переменах: секретариат Союза писателей предложил мне взять на себя руководство журналом «Литературное обозрение». Видя, что я намерен его принять, Л. Мартынов сначала энергично пытался этому воспрепятствовать. «Что такое критический журнал? — ворчал и иронизировал поэт.— Я таких не знаю. Ваше «Обозрение», пожалуй, отдаленно напоминает брюсовские «Весы». Но затея издавать такой журнал на сложном рубеже эпох себя не оправдала — эти издания выглядели как сборники рецензий, не больше. А потом брюсовцы были вынуждены перейти к публикации стихов и беллетристики — это естественный конец всех специальных критических изданий. И вообще это не для вас. Вы писатель, а дело писателя — создавать хорошие книги. Не заседать в президиумах и на разных совещаниях подкомиссий. Эти занятия несовместимы в принципе...»

Говоря так, Л. Мартынов исходил из собственного опыта и был, разумеется, предельно искренен. Он желал мне добра. Когда же Леонид Николаевич понял, что переубедить меня не удастся, он изменил тактику: «Но если уж туда идти, то только для того, чтобы совершить чудо. Делать интересный журнал и одновременно писать хорошие книги». Я возразил, что моя профессия не чудотворство, а журналистика. «Должны овладеть смежной профессией,— пошутил поэт.— Пусть эти ваши критики (Мартынов скорчил кислую гримасу) научатся писать рельефно, пластично. Пусть овладеют словом и делают настоящую литературу. Тогда и разговор о них будет другой. И еще пусть будут чуткими к новым идеям, помогают обществу до них дорасти... А то, знаете, когда Ползунов изобрел свою паровую машину, ею приходили любоваться. И даже снисходительно похваливали автора: смотрите, мол, как красиво там струйки пара вылетают, поршеньки двигаются и всякое такое. До промышленного переворота в транспорте было очень-очень далеко»...

Потом, когда мой переход в «Литературное обозрение» стал фактом, поэт подписался на журнал, и кажется, не было случая, чтобы он не прочел очередного номера от корки до корки и я не услышал бы подробного мартыновского отзыва. Чаще всего — язвительного разноса. Как все поэты, Л. Мартынов был горяч и пристрастен, как немногие — предельно искренен и открыт. Это и делало его часто субъективные отзывы интересными, плодотворными.

— Только вы на меня не рассердитесь?— спрашивала телефонная трубка, и я улавливал в голосе поэта дрожь нетерпения. Через минуту он уже говорил:— Статья о Шукшине и интервью с Плисецкой хорошие, остальное гораздо бледнее... Мало цитируете стихов. Скажите авторам, пишущим о поэзии: если хвалят книги, пусть почаще цитируют хорошие стихи. Чтобы похвалы звучали убедительно. А то ведь читатель — «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лаяй...». Особенно «лаяй»... Он, читатель, не признает таких дискуссий, в которых авторы швыряются обоймами имен, показывая свою эрудицию. Для тех, кто не читал произведений, спор непонятен, даже следить за движением мысли трудно. А ведь вы рассчитываете не только на профессиональных литераторов...

Я одно время подумывал, не записать ли на магнитофонную пленку один из таких разборов. Но все было недосуг, да и оценки Л. Мартынова в отрыве от конкретных текстов мало что говорили бы слушателю. Привожу свои записи только потому, что они передают стиль его устной речи.

— Пойдем от конца,— начинал поэт очередную просветительскую беседу.— Возьмем статью «Судьба, досказанная читателем». Очень интересная, много информации. Прочел не отрываясь. (Внимание Л. Мартынова к этому материалу, думаю, объясняется и характером публикации: на нескольких страницах рассматривалась жизнь несправедливо забытого революционера-народовольца, а Мартынов считал такое воскресительство и своим писательским долгом.— *Л. Л.*) Идем дальше... Заметка Пабло Неруды... Слабенькая заметка. Я знал Неруду: он мог бы написать гораздо ярче... Ну ладно, напечатана по торжественному случаю, а делалась когда-то для радио... Словом, принимаю... Идем дальше, через выступления иностранных друзей к вашему «круглому столу»: «Личность, общество, образ жизни»... Я вижу ваши немалые усилия оживить этот основательно повыдохшийся в нашей периодике жанр

коллективного обсуждения... Но простите за откровенность... Вот упоминают Сартра. Черт возьми, так покажите мне, массовому читателю, что это за штука такая — Сартр. Совершенно не хотят анализировать, не умеют говорить образно, не думают о пластике фразы... Вот, правда, хороший думающий парень (имярек). Говорил дельно. Но зачем же он берет у поэта Соколова для подтверждения своих критических идей слабые стихи, когда у того есть превосходные? Можно ли так неумело цитировать? Извините, но меня, массового читателя, вы не убедили...

В таком роде поэт мог продолжать более часа, нанизывая упреки и перемежая их извинениями. Выговорившись по номеру, он переходил к приближающемуся юбилею Эндре Ади, и я выслушивал получасовую лекцию о выдающемся венгерском поэте. «Я вас не утомил?»— мило спрашивала к концу беседы телефонная трубка. Л. Мартынов был истинный друг, к тому же старший, и это в моих глазах давало ему право на неограниченные регламенты. И вдобавок: разве я всегда щадил здоровье старого провидца, засиживаясь у него допоздна и волнуя, быть может, ненужными ему расспросами и рассказами? Но хозяин ни разу не выказал при этом нетерпения...

Я говорил уже, что его отклики при всех моих несогласиях были интересны страстной увлеченностью, деловым азартом. Они заряжали энергией. Но, конечно, истинным подарком было, когда услышал я однажды в голосе моего всегдашнего оппонента некоторую как бы растерянность:

— А знаете, Леонард Илларионович, что-то начинает меняться или в характере журнала, или в моем отношении к нему. Не жалею, что подписался, и на будущий год возобновлю подписку. Надеюсь, вы не возражаете?

Против чудес я никогда не возражал, хотя и не мог принять их на свой счет. Дело, конечно, было в нем самом, старом романтике с молодой душой. Он принял порученные мне хлопоты как свои собственные и по обыкновению увлекся.

Стал активно сотрудничать с журналом, предлагая для публикации не только свои стихи и эссеистические новеллы, но даже маленькие рецензии для раздела «Панорама». Это-то не диво. Ведь, несмотря на ворчливость, Л. Мартынов был на редкость доброжелателен и всегда живо интересовался критикой, а читал наших работ столько, что ему могли бы позавидовать профессионалы.

В последние десятилетия мастера и подмастерья нашего критического цеха занимались его творчеством часто, охотно и плодотворно. Но истинное значение его поэзии, необычайные маршруты его воздушных фрегатов, думаю, нам еще предстоит постигать. Многое в его стихах звучит иначе теперь, после кончины поэта. И давнее, написанное в год великой победы над фашизмом стихотворение о Геркулесе («Мне кажется, что я воскрес...») наполняется почти пророческим смыслом.

В творческой жизни Л. Мартынова было немало удивительных метаморфоз. В 30-е годы бывший футурист углубился в далекое прошлое страны и создал несколько исторических поэм, в том числе и знаменитого «Тобольского летописца». А в 40-е — громадный фактический материал, собранный поэтом-историком, стал оформляться в прозе: возникла «Крепость на Оми», а следом за нею еще одна — «Повесть о Тобольском воеводстве»[1]. Конечно, эти метаморфозы покажутся менее удивительными на фоне всеобщего патриотического подъема[2], какой переживала советская поэзия, да и вся литература, накануне и во время Отечественной войны. Когда решаются судьбы Родины, неодолимо растет национальное самосознание, а из глубин народной памяти поднимаются тени великих предков — наших заступников и подвижников. Они поднимаются, чтобы сражаться вместе с живыми за достойное будущее родной земли.

Правда, Л. Мартынов не создал произведений, рассказывающих о борьбе русского народа с ордами иноземных захватчиков. И все же внутреннему богатству и широте его гражданских замыслов не устаешь дивиться. В исторических поэмах и повестях оживают образы могучих патриотов, мысли и чаяния которых подчинены общенародным заботам. О «Тобольском летописце» нашей критикой было сказано в свое время немало доброго и точного — прозе Л. Мартынова повезло меньше. Однако «Повесть о Тобольском воеводстве» — по-моему, тоже блестящее творческое достижение, и оно было бы для автора неосуще-

---

[1] «Повесть о Тобольском воеводстве» выходила двумя изданиями: 1945, Омск, тир. 10 000 экз. и 1970, Новосибирск, с послесловием и комментариями В. Уткова. Тир. 30 000 экз. *(Прим. сост.)*

[2] Думаю, никто не вправе сомневаться в масштабах этого подъема, хотя предвоенные годы и совпали со временем жесточайших сталинских репрессий — в этом трагическом парадоксе истории нам предстоит еще разобраться. Но сила патриотизма советских людей явилась главной твердыней, о которую разбились дотоле непобедимые германо-фашистские полчища *(Прим. автора)*.

ствимо без глубокого духовного и эстетического перевооружения. Это, по сути, великолепная мозаика, состоящая из множества переосмысленных летописных эпизодов,— она повествует об освоении русскими людьми богатейшего сибирского края. И хотя автор поневоле задерживается на отдельных ярких судьбах (письменный голова Данила Чулков, князь Иван Катырев-Ростовский...), главное достоинство этой панорамной живописи в том, что в ее красках ощущаешь горячее дыхание огромных человеческих масс. Перед глазами проходят судьбы многих и многих поколений. На собственном опыте, иногда трагически сложном и кровавом, училось разноплеменное население края (в том числе и русское) законам добрососедства и дружбы, завоевывало первые, еще дальние подступы к нашему сегодняшнему всенародному единству.

Если глянуть на эту повесть из поздних лет Л. Мартынова — из времени, когда им создавались мемуарно-критические эссе и новеллы, можно увидеть стилевые превращения его прозы как бы в обратной перспективе. Словарь автора качественно меняется, вбирая в себя корневую старинную лексику и утрачивая многие новообразования (например, научные термины и сложносокращенные слова)... Ослабляется метафоричность, синтаксис становится проще и строже, фразы укорачиваются и выпрямляются по смыслу, сбрасывая тяжкие ветви придаточных и деепричастных оборотов. Слог приобретает суровую и выразительную сжатость доподлинно летописной речи. Отличная и своеобразная проза!

Задачи эти еще ждут исследователя — сопоставить стилистику его исторических поэм и повестей, определить значение для поэта прозаического опыта, понять соотношения жанров в творчестве Л. Мартынова, условия для их взаимопревращения. А сколько в «Повести о Тобольском воеводстве» найдется острых коллизий и колоритных фигур для поэмного разворота характеров! Чем же определен выбор, почему остановился поэт на судьбе безвестного ямщика-летописца, а не поведал стихами об обстоятельствах жизни Данилы Чулкова, служившего отчизне оружием и «остро отточенным гусиным пером»? Однако не менее прочными стилевыми узами лирика Л. Мартынова объединяется с автобиографической прозой «Воздушных фрегатов» или книги «Черты сходства» (кстати, некоторые из новелл раскрывают психологическую почву, на которой возрос тот или иной поэтический замысел).

Становятся
Совсем бессвязны
Стихи, лиричны до отказа.
А не поддаться ли соблазну
Засесть за прозу, за рассказы,
Чтоб вымышленными именами
Действительных не заменяя
И, как это бывает с нами,
Ничем себя не опьяняя
И без лирического зуда
Изобразить за дивом диво,
Нагромоздить на чудо — чудо
Еще правдивей,
Чем правдиво!

Стихотворение это, правда, не из лучших у Л. Мартынова (рядовая дневниковая запись, лабораторное самонаблюдение). Но в нем передано особое творческое состояние, которое позволяло автору дерзко ступать за грань, отделяющую поэзию от прозы. В нем есть правдивый образ самого творческого процесса — его единство и живое движение противоречий. Поэт рассказывает о переходе на язык прозы, но... рассказывает стихами, к тому же довольно звучными (обратите внимание, сколько тут звонких согласных — з, г, д, б).

Внутренняя целенаправленность его исканий в разные годы определила и протяженную во времени перекличку тем и имен, мыслей и образов, сюжетных мотивов и звучаний — ею (этой перекличкой) отмечены самые разнообразные произведения. Думаю, весьма наблюдательным оказался И. Шайтанов, интересно писавший о посмертно изданной книге Л. Мартынова «Золотой запас» (Связь случайных совпадений.— «Литературное обозрение», 1981, № 10). Рецензент верно отметил, что отдельные стихотворения и подборки поэта, рассыпанные по многочисленным изданиям, воздействуют на читателя куда слабее, чем его же книги: «Его жанром был сборник, где за каждым стихотворением видны основания поэтической системы, без понимания которых Мартынов казался странным или не производил впечатления. Он должен был обратить читателя в свою веру, во всяком случае, истолковать ее». Правда, сделав точные наблюдения и обоснованно указав на некоторые истоки мартыновской поэтики (филологическое учение А. А. Потебни, творчество В. Хлебникова), критик, по-моему, все же невольно обеднил представление о художественных принципах Л. Мартынова. Это ощущение возникает, по-видимому, оттого, что звуковой стороне марты-

новского стиха придан слишком широкий, чуть ли не всеобъемлющий смысл. Действительно, с младых ногтей поэт отдавал дань поискам смысловых соответствий между сходно звучащими словами. Дань эта, по-видимому, была даже чрезмерна, поскольку некоторые его стихи превращались в прихотливо-замысловатую (не оправданную лирической темой) филологическую игру. Бывали тут, разумеется, и счастливые открытия, но «открытие», пришедшее благодаря случайному совпадению звуков,— все-таки лишь частность в поэтической системе Л. Мартынова.

Что же касается усилий поэта обратить читателей в свою веру — я думаю, оно не чуждо любому мастеру, чья муза имеет «лица необщее выраженье». Правда, здесь важно, пожалуй, не столько понимание читателем «системы» (не каждый читатель — ученый-литературовед!), сколько живое и целостное ощущение судьбы, характера, личности, гражданской позиции художника, выраженных с максимальной полнотой и исчерпанностью. И если уж говорить о наивыгоднейшем для Л. Мартынова жанре — это, конечно, собрание сочинений, в котором отсеяно лишь самое случайное и слабое. Всегдашний признак большого поэта: его произведения выигрывают от количества, происходит многократное укрупнение общего смысла, усиление общего звучания, а также каждой вещи в отдельности. Наоборот, несколько даже очень сильных стихотворений автора меньших масштабов рискуют затеряться, остаться не замеченными в пестрой скуке объемистого сборника.

Действительно, всю свою жизнь Л. Мартынов занимался поисками насущных для человека взаимосвязей: наводил, к примеру, мосты между наукой и искусством или между разными национальными культурами (только поэтических переводов, сделанных им, хватило бы для оправдания иной литературной судьбы). Он любил, столкнув сходно звучащие слова, высечь из них искру потаенного смысла. Но не менее увлекали, захватывали его взаимопревращения жанров. «Таится смысл во всем»— не только в созвучиях. Правда, и созвучия помогают его выявить («заглянуть в незнаемое»). Но нередко они лишь намекают на возможность разгадки, не больше. Если же поэт сочтет их главными опорами художественного смысла — намного ли содержательнее будет эта игра, чем давние упражнения К. Бальмонта, который «соображения свои высказывал о букве И»? Не кто иной, как Л. Мартынов, давно высмеял мистические поиски смысла в отдельных звуках.

Звуковая выразительность мартыновского стиха имеет мало общего с песенной мелодичностью, хотя в «Воздушных фрегатах» я вычитал, что какой-то его перевод был положен на музыку и даже стал песней. По крайней мере, мне неизвестны случаи, чтобы Леонид Николаевич пробовал напевать свои стихотворения или хотя бы читать их в музыкальном сопровождении. Ему, например, показалась бы дикой сама мысль взять в руки гитару — по язвительному определению М. Горького, «любимый инструмент парикмахеров». То, что было естественно для Вл. Высоцкого и не менее органично для Б. Окуджавы, совершенно не подходило для творца интеллектуальной поэзии с ее прицелом на краеугольные философские категории, усложненной метафоричностью, нередко с громоздким синтаксисом и слишком частым несовпадением фразы со строкой. К гитаре Л. Мартынов относился с большим недоверием, даже, что греха таить, с неприязнью. Эта неприязнь была изначальна, она зародилась еще в душе любознательного и ершистого подростка, когда он «бешеным свистом окарины в весенних сумерках нарушал сладостность гитарных серенад».

В те годы непримиримый подросток с сомнением встретил и романтику А. Грина, предпочитая ей реалистические произведения этого писателя: «...все это казалось менее интересным, чем Джек Лондон, потому что у Лондона, думал я, все — чистая правда, а у Грина — выдумка. Все эти Лиссы, Зурбаганы, капитаны Пэды и юнги Аяны не выдерживают сравнения с доподлинными Сан-Франциско, Клондайками, Гавайскими островами, с доподлинными героями, будь то пират Дрейк или сам юный Джек Лондон в роли устричного пирата».

В течение более полустолетия вкусы и пристрастия Леонида Николаевича не слишком изменились — только получили более развернутое обоснование. Правда, ему было не по душе, что в иные времена романтику А. Грина прямолинейно и грубо осуждали. Но романтическая флотилия его собственных воздушных фрегатов пошла совсем иным курсом: устремилась в ледяные штормы русского Севера, обрела многие черты национально-исторической реальности. В той же «Повести об Александре Гинче», откуда я взял приведенные строки, поэт не очень-то приветствует возрождение интереса к бригантинам и алым парусам. Ибо «...теперь, когда повсюду клубы туристов и то и дело объявляют новый и новый набор на курсы гитаристов,

наоборот, все это — предмет слащавых восторгов под треньканье туристских гитар». Иными словами, Л. Мартынову определенно не нравится, что гриновская романтика становится предметом ширпотреба, превращается в легкодоступную игру красивыми символами и экзотическими именами. Надо оговориться, что выводы поэта о романтических произведениях А. Грина меня мало убеждают, но его протесту против опошления духовных ценностей я, разумеется, сочувствую. Нетрудно понять, отчего слегка раздраженный тон в начале «Повести» набирает силу и переходит в едко-иронический, причем, акцентируя свою мысль, Л. Мартынов прибегает к рифмованной прозе, чуть ли не к стиху: «И я, конечно, понимаю, что это не зря: видя и слыша, как тренькают на гитарах туристы, я вспоминаю, как тренькали на гитарах семинаристы, канцеляристы, телеграфисты и военные писаря, а я из чувства протеста насвистывал на черной, похожей не столько на гусенка, сколько на вороненый браунинг окарине. Да, именно окарина была у меня во дни становления Грина, когда, убегая от опостылевшей ему повседневности, он бросал якоря в экзотические моря». (Кстати, в разговорной речи Леонид Николаевич тоже выделял иные мысли не только голосовым нажимом — нередко пользовался созвучиями и скандировал окончание фразы. Скандировал, произносил нараспев одно из любимых слов: «О-ка-ри-на!..»)

Итак, злополучная гитара исстари была для Л. Мартынова эмблемой пошлости и мещанской псевдоромантики. Однако его неприязнь вовсе не распространялась на истинных артистов, в чьих руках этот музыкальный инструмент принципиально менял свое назначение. Поэт, например, очень любил цыганские песни, а среди исполнителей есенинских стихов, положенных на музыку, особенно ценил Н. Сличенко. Думаю, если бы Леонид Николаевич услышал есенинскую программу артиста МХАТа А. Н. Покровского, он и ее принял бы с пониманием и сочувствием. При этом он скорее всего просто не заметил бы гитар — счел бы их какими-то другими инструментами.

Но об одном критике, который увлекался исполнением классических и современных романсов, Л. Мартынов сказал: «Он не понимает, что в наши дни нельзя повторить Аполлона Григорьева с его гитарой». Хотя к самому Аполлону Григорьеву современный поэт относился более чем уважительно — нередко перечитывал.

А флейты и окарины Л. Мартынов когда-то даже,

говорят, коллекционировал. Герой его ранней лирики — романтик сурового Лукоморья, внешне чудаковатый фантазер с флейтой. Мне, правда, никогда не доводилось слышать, как поэт в действительности играет на этом инструменте — скорее всего, флейта (или окарина) была все же поэтической условностью, вроде как эллинская лира для русских классиков. Была она также символическим противовесом омещаненной гитаре, но душевной потребности в музицировании поэт, видимо, не испытывал. И собирательство флейт было впоследствии вытеснено у Леонида Николаевича другим, более прочным увлечением — коллекционированием найденных во время прогулок камней.

Примерно так же, как к гитаре, относился Л. Мартынов и к эстраде вообще. Правда, он не ставил знака равенства между исчадиями массовой культуры Запада и какой-нибудь глупой песенкой «Ландыши»— примитивным изделием отечественного образца. Конечно, эстрада эстраде — рознь. Но формальная благонамеренность нашей эстрадной халтуры тоже ведь не преображает ее в полноценное искусство. Продукция песенного ширпотреба, будь она даже внешне безобидна, дурна прежде всего тем, что не имеет ничего общего с народной традицией. Не имеет потому, что корни этого лжеискусства находятся у самой поверхности сознания. По видимости, отвечая на насущные запросы людей (чем и объясняется ее распространение), давая человеку готовые рецепты поведения, она оставляет в косной неподвижности его мысль, его духовные ресурсы. По сути, она глубоко равнодушна к гражданскому пафосу, к национально-патриотическим святыням, хотя при нужде охотно рядится то в русскую поддевку, то в горский бешмет. Именно поэтому она не может быть и подлинно интернациональной. Ведь Дон Кихот для нее просто нелепый и смешной чудак, даже немного «того», чокнутый. Пенелопа (античный идеал супружеской верности) — вздорная и ревнивая дура. «Шла бы ты домой, Пенелопа»— вот уровень ее плоского юмора. Пошлость — трясина, которая хотя и не способна утопить прекрасное, но не упустит случая, чтобы его запачкать. Увы, наша эстрада тоже повинна в массовом тиражировании пошлости, и у меня не хватало духу возражать старому поэту, когда он, по запальчивости, не делая никаких исключений, клеймил популярных певиц и гитаристов. Это была, по-моему, вполне извинительная крайность.

В его взаимоотношениях с читателями и критикой к концу жизни наметилась благотворная стабильность, но никаких идиллий тут не было. Правда, он непрерывно печатался, его переводили у нас и за рубежом, он был по-настоящему широко известен, даже знаменит. О нем писали статьи и книги, на его имя как на прочный поэтический авторитет ссылались и ссылаются в дискуссиях. Однако не будем строить иллюзий: в самые широкие читательские массы его философская муза еще не проникла, а может быть, и проникнет не скоро. На то есть свои причины, и главная из них: Л. Мартынов никогда не подлаживался к моде, не жертвовал сложным содержанием своей поэзии в угоду расхожим вкусам. Искусственно раздувать свою популярность он счел бы ниже своего достоинства. Под старость поэт ограничил даже вполне естественное общение с читателем, перестал выступать на литературных вечерах, весьма редко его можно было услышать по радио или увидеть по телевидению. Говоря откровенно, общественной деятельностью Леонид Николаевич тоже почти не занимался. Участие в работе приемной комиссии Союза писателей надолго выбивало его из колеи; необходимость выступить где-либо с публичной речью примерно за неделю до срока повышала его температуру. Неоднократно я слышал от него фразу: «После заседаний я болен». Вопреки любимому афоризму (об отсутствии у поэтов возраста) годы все-таки брали свое, хотя главная тут беда не старческие недуги, а особенности впечатлительной творческой натуры. Не следует на этом основании считать ее хрупкой. Л. Мартынов прожил долгую жизнь и в самые трудные времена — в годы ссылки, например,— выказал себя человеком на редкость стойким. Но масштабы его поэтической работы (а он ни за что не хотел снижать ее напряженность и темпы) заставляли беречь силы.

Разумеется, сказанное вовсе не означает, что Л. Мартынов был (или стремился быть) этаким небожителем, взирающим на муравьиные заботы людей с высот сооруженной элитарности. Его лирика — конечно, сама по себе — лучшее свидетельство неуемных забот гражданской мысли. Со своей стороны могу лишь подтвердить, что Леонид Николаевич горячо и остро переживал все общественные события, воспринимал их куда ближе и непосредственнее, чем иные присяжные ораторы наших писательских собраний. Помню, в дни XXV съезда КПСС я позвонил поэту, и Леонид Николаевич буквально обрушил на меня ворох

своих впечатлений. Он внимательно следил за ходом партийного форума, высказывал надежду, что съезд даст сильное движение умов.

— ...И я все жду, что эта огромная работа должна как-то отозваться в поэзии... Не то чтобы я уповал на художественную самодеятельность масс... Но из них должны прийти в литературу настоящие поэты, которые знают жизнь строек не по киноочеркам... Я сам, в сущности, всю жизнь писал об этом, и вы, конечно, тоже... Каждый из нас делает посильное, но я жду чего-то нового... какого-то качественного сдвига в гражданской лирике, ради которого все и работаем...

Свою поэтическую значимость Леонид Николаевич не преувеличивал, но ждал от собственных печатных выступлений постоянного глубокого резонанса. Удивлялся поверхностным откликам, злился на непонимание. Расстраивался, если критика подолгу о нем не высказывалась. Допрашивал близких, пытаясь выяснить, почему так.

— Бывали периоды,— рассказывал поэт,— когда обо мне словно забывали. Я имею в виду не те особые годы, когда не печатался. Гораздо более поздние. Казалось бы, много пишу, часто публикуюсь — никакого отзвука. Почему? Потом вдруг опять начинается взлет популярности... Интересно было бы все-таки понять, чем вызваны такие приливы-отливы... Это тем более важно, что по времени они слишком не совпадают с твоими удачами и провалами...

Но изучить закономерности, управляющие вниманием критики, вероятно, куда сложнее, чем вычислить периодичность морских приливов и отливов. Остается предположить, что она, подобно словеснику Труневу, способна в педагогических целях одаривать поэтов «чувством забытости». Впрочем, жаловаться на критику у Леонида Мартынова не было оснований. Да он, собственно, и не жаловался — ворчал иногда по-стариковски и, как любое явление, желал глубже понять. Да, Л. Мартынов был всенародно признан, отмечен высокими премиями и наградами, но кое-кто из авторов, одержимых групповыми пристрастиями, нелегко с этим мирился и при возможности пытался критически уязвить поэта. А однажды на весьма представительном писательском собрании разыгрался даже скандал. Молодой поэт, в котором многие хотели видеть надежду нашей литературы, подверг с трибуны беспардонному разносу творчество некоторых своих коллег — в том числе и позднюю лирику Мартынова. При этом, как водится, одним

именам оратор предвзято противопоставлял другие, а чтобы эта операция выглядела убедительно, цитировал лучшие строки одних и самые неудачные — других. Это выступление прозвучало тем более несправедливо, что действительные подделки под поэзию, которых пруд пруди, ораторского гнева не удостоились. Хуже всего было, однако, то, что Леонид Николаевич находился в зале, пришел, хотя незадолго до события перенес несколько тяжких сердечных приступов. Оскорбленный проявлением открытого недоброжелательства, он, правда, тотчас покинул собрание.

Вскоре я позвонил ему — поэт, естественно, кипел от негодования и едва мог говорить. Он ушел из зала, не дождавшись даже выступлений других ораторов, которые горячо взяли его под защиту. «Простите, я сейчас слишком расстроен, я позвоню вам через час, ладно?» Я не ожидал звонка, но в указанный срок он раздался, и в трубке прозвучал более ровный голос Леонида Николаевича. Мы, как обычно, поговорили о литературных новинках и о всякой всячине, правда время от времени возвращаясь к нелепой и досадной истории. Постепенно поэт совершенно успокоился, но история получила неожиданно комичное продолжение.

Несколько дней спустя супруги Мартыновы оказались у меня дома — я потчевал нежданных гостей тем, что нашлось в холодильнике, поил чаем. За столом поэт быстро сделал из конфетной обертки какую-то замысловатую птицу и поставил ее рядом с чашкой. Пока мы беседовали, наша бесхвостая кошка (в домашнем просторечии «Кот») внимательно приглядывалась к птице, а потом вдруг цапнула ее и спрыгнула под стол. Л. Мартынов развеселился: «Кот сделал мне величайший комплимент». А на другой день позвонил мне и прочитал новое стихотворение:

Я сделал птицу из конфетной
Обертки гладко-незаметной,
Но эта птица ожила,
Так растопырив два крыла,
Что кот, ее увидев, выгнул
Себя дугой и хищно прыгнул,
Чтоб этой птицы красоту
Поймать когтями на лету,
Сам сделавшись при этом барсом,
Подобные планетам Марсам,
Два грозных глаза устремив
На птицу, дивную
Как миф!

Дочитав до конца, автор громко расхохотался. Я подумал: он смеется над тем, что простая кошка сумела оценить

его дар художника лучше, чем иные собратья по перу. Стихи, конечно, вполне непритязательные (сам Л. Мартынов их не печатал — они опубликованы в книге «Золотой запас»). Но я привожу эти строчки как достойный выход поэта из неприятной ситуации — выход с помощью шутки. Больше об этом случае он ни разу не вспоминал.

У Мартыновых был очень скромный, но хлебосольный, радушный дом — точнее, небольшая городская квартира, которая особенно оживлялась по праздникам — сдвигались столы и уставлялись напитками и яствами (в большей чести были всевозможные пирожки — с мясом, с капустой, с грибами, с вязигой и сладкие). Напитки предназначались в основном для гостей, впрочем, и Леонид Николаевич наливал себе немного коньяку, разбавляя его минеральной водой. За сдвинутыми столами на протяжении многих лет собирались одни и те же люди (хозяева не меняли привязанностей), звучали литературные споры, стихи и шутки. Каждый месяц календаря имел у поэта свое прозвище: пьянварь, всевраль, кошмарт, взопрель и т. д.— всех уже не вспомню. Иногда Леонид Николаевич предлагал гостям тащить фанты из шапки — каждому доставалась бумажка с собственноручным рисунком хозяина и предсказанием будущего. Л. Мартынов был добрым прорицателем, одному сулил издать книгу, другому — объездить всю страну, третьему — прославиться на всю Европу. Предсказания зашифровывались в ребусах. В этом доме умели радоваться, в нем всегда можно было отдохнуть и отогреться душой. И чем больше я думаю о том, как удавалось поддерживать здесь ровное, приветливое настроение, тем чаще мне рисуется скромный и обаятельный облик Нины Анатольевны — «хозяйки корабля», как назвал поэт свою жену в одном из стихотворений.

Ну а потом под натиском неизбежности все начало быстро рушиться. В августе 1979 года Леонид Николаевич потерял Нину Анатольевну — с нею была прожита большая часть жизни, прожита, как говорится, душа в душу — жена умела удивительно смягчать его характер, иногда способный на резкие вспышки... Как-то, вернувшись с работы, я узнал от своих, что звонил Л. Мартынов и сообщил о смерти Нины Анатольевны. Я поехал. У Леонида Николаевича застал некоторых его друзей и родственников жены. Поэт возбужденно ходил по комнате, присаживался нена-

долго, чтобы снова вскочить, много, лихорадочно говорил. Конечно, все разговоры были о его Ниночке. Не плакал, даже не всхлипнул ни разу — видимо, был оглушен несчастьем. Начал не очень связно делиться своими творческими делами и планами: «Я еще должен напечатать «Явленье птицы Ундервуд»... Это о ней... Ниночка не любила, когда я писал о ней... Но я все-таки доволен, что успел при ее жизни кое-что сказать о ней... Впрочем, я, наверно, говорю глупости... В последние минуты она слегка бредила... Говорила: «Только не читай мне этих стихов. Не нужно никаких роз, главное — поэзия...» Близкий друг поэта В. Утков не преминул, как мог, его утешить и ободрить: «Это, Леонид, тебе завещание»... «Потом она три раза глубоко вздохнула,— продолжал Л. Мартынов,— и перестала говорить. Умерла...»

Вернулся я домой поздно. А на другой вечер мы снова сидели с Леонидом Николаевичем и говорили так же много и бессвязно. Конечно, я старался хоть на минуту чем-нибудь его отвлечь — выкладывал какие-то новые известия о поисках Атлантиды, о разных археологических раскопках. На такие разговоры в иные часы поэт был большой мастак и охотник. Но теперь он едва меня слышал. Начинал говорить о поэзии, о критике. Пришел один из друзей и завел речь о книге «Молодой Мартынов», которую надумали выпустить в издательстве «Молодая гвардия». Друзья делали в минуты несчастья что могли. Но могли они, к сожалению, слишком мало.

Вскоре после того, как разъехались, с Леонидом Николаевичем случился тяжелый обморок, и поэт настолько занемог, что не сумел подняться на другой день, чтобы участвовать в похоронах. По возвращении с кладбища все мы поочередно сидели вокруг его постели, а Леонид Николаевич снова безудержно рассказывал о последних минутах Нины Анатольевны. Он лежал на тахте с неотступным страданием в глазах. Коротко и совершенно беззвучно всплакнул. Потом рассказал, как вчера упал в обморок: «Сперва я вошел в эту комнату и вижу, в окно влетела ночная бабочка, стала кружиться. Я вдруг подумал: а почему? В природе существуют взаимопревращения. Вдруг это Ниночка? Потом я отошел от мистики и удалился в другую комнату... И вот тут...»

А. Вознесенский однажды верно заметил, что стихотворения не пишутся поэтом, а происходят с ним, случаются. Душа чем-то изумлена, подавлена, обрадована, огорчена

или, наконец, тяжко потрясена... Остальное — дело художнического инстинкта и профессиональной техники. Тяжелейшее горе, пережитое Леонидом Николаевичем, по-видимому, имело мимолетные просветления. Вероятно, одно из таких мгновений запечатлелось в тихих, легких, почти воздушных строчках — они как бы примиряют поэта с бедой:

Прилетел в окошко мотылек
И у рук моих доверчиво прилег.

Прилетела вслед за ним пчела,—
Может быть, Тобой она была!

И покуда сам я не исчез,
Я не трону никаких живых существ!

А ручьи?
Вы воплощенья чьи?

А цветы?
Ведь это тоже Ты!

Только по непривычности для лирики Л. Мартынова этих интонаций, этих ритмов и образов можно догадаться о глубине испытанного поэтом потрясения. Когда написаны эти строки? Опубликованы они в книге «Золотой запас» вместе с другим стихотворением, которое кажется вариантом того же мотива, но отстоит дальше от устного рассказа Леонида Николаевича.

После кончины Нины Анатольевны что-то начало неотвратимо разрушаться и в характере поэта. Его скорбь и долголетние болезни приняли слишком жизнеопасную форму. Его нужно было буквально спасать от гибели. При нем, правда, почти неотлучно дежурила Галина Алексеевна Сухова — врач, на протяжении многих и многих лет лечившая эту семью. Отношения трех людей давно уже переросли в прочную и нежную дружбу, и не случалось праздника, чтобы я не заставал в доме поэта Галину Алексеевну. Мне даже известно, и думаю, что я вправе об этом сказать: за несколько дней до кончины Нина Анатольевна, предчувствуя ее приближение, наказывала Суховой не оставлять поэта заботой. Завещание это было выполнено.

И теперь, годы спустя, бывая иногда в квартире Мартыновых, я не могу не испытывать к этой женщине благодарного чувства. Все осталось в комнатах, как было при

жизни поэта. Так же вдоль стен наподобие причудливо-складчатого горного хребта громоздится циклопическая мартыновская библиотека. На журнальном столе — вазон с охапкой осенних листьев и груда разнообразных камней, экспонаты собранной Леонидом Николаевичем коллекции. На письменном столе — хищная рыба (изделие из рога) разевает пасть, из которой торчат цветные карандаши. И книги, книги, книги... Кажется, хозяин куда-то отлучился на минуту... Но кое-что в квартире все-таки изменилось. Появилась, например, библиографическая картотека — тысячи карточек с отметками не только публикаций поэта на разных языках, но и всех наших статей, рецензий, откликов на его творчество. За свой век Л. Мартынов печатался несметное число раз, иногда в самых неожиданных изданиях, и кто знает, сколько поисков еще потребуется, чтобы привести в порядок это хозяйство...

А «Явленье птицы Ундервуд» все-таки состоялось еще при жизни автора — новелла была опубликована в журнале «Смена» и теперь вошла в его книгу «Черты сходства». О чем же так неудержимо хотел поведать Л. Мартынов читателям? Неудержимо настолько, что это заставляло его жить, бороться с наступающим мраком? Быть может, это рассказ о первой встрече, которая повернула судьбу? На чей-то взгляд может показаться странным, что не о ней,— о том, что этой встрече предшествовало. Точнее, как могли встретиться, но тогда еще не встретились он и она, два юных сердца, предназначенных друг для друга. И о суровой молодости века, которую оба поняли и приняли в душу. О гражданской войне и послевоенной разрухе, о трудных маршах краснозвездных армий и голоде, о прекрасных надеждах юности и о культурной политике молодой Советской власти... Леонид Николаевич хотел рассказать вот о чем: у людей, глубоко почувствовавших необыкновенность своего времени, и любовь должна была стать необыкновенной.

Автор, которому повезло дружить с выдающимся художником, садясь за воспоминания о нем, не должен упускать ни одной подробности. Поскольку лишь все они, взятые в совокупности, могут составить живой портрет ушедшего. И я по примеру самого Л. Мартынова, основательно занимавшегося мемуаристикой, пытаюсь восстановить все, как было, записываю подряд существенное и второстепенное. Но чего не было, того не было: я никогда не видел Леонида

Николаевича пишущим стихи — наблюдал только, как он беспощадно черкает, выправляя написанное. Обдумывая рождающееся произведение, он не вышагивал по комнате его ритмов, не старался их закрепить телесно-мускульным напряжением, как, судя по собственному признанию, это делал В. Маяковский. Он работал не отрываясь от письменного стола, часами сидел неподвижно, заложив ногу за ногу. И хоть я этого не видел, но хорошо представляю, потому что поэт сам однажды описывал: «От этого у меня даже портняжная судорога бывает. То есть профессиональная судорога портных — знаете, как они сидят за шитьем, скорчившись?»

Я никогда не видел Л. Мартынова пишущим: естественно, что, встречаясь с друзьями, он давал себе волю отдохнуть, занять ум непринужденной беседой, а то и просто шутливой болтовней. Но, разговаривая о чем угодно, он нет-нет да и сворачивал к тому, что всего сильнее занимало, а это всегда была очередная работа, самая неотложная, лучшая, наиглавнейшая. Многие сюжеты будущих новелл он, очевидно, специально проговаривал заранее, как бы прикидывая, с какого боку это удобнее положить на бумагу. Иногда пересказывал уже существующее в набросках. При этом по ходу пересказа к произведению, очевидно, добавлялись какие-то неожиданные штрихи и детали. И наконец, Леонид Николаевич нередко зачитывал вслух черновые варианты почти готовых вещей. Нина Анатольевна обычно против этого возражала, полагая, что автор слишком торопится и докучает гостю. «А ты думаешь, что я должен читать другу только шедевры!— не соглашался поэт.— Почему я не могу поделиться с ним своими сомнениями? Пусть откровенно выскажется, как идет дело...»

Будучи знаком со многими поэтами, я довольно отчетливо представляю, насколько по-разному они работают. Одни — безоглядно и неотрывно, тратя за один раз, за один присест всего себя, что называется, дотла. Однако ежедневно возрождаются для новых высоких напряжений. Деятельность таких авторов бывает иногда судорожна и жизнеопасна, потому что огромные затраты энергии скудно восполняются, да об этом человек чаще всего и не помышляет. И глядишь, организм ломается раньше срока, не выдержав постоянных перегрузок. Другие творят с не менее бурной самоотдачей, но знают в работе сравнительно долгие паузы. Причем это происходит вовсе не оттого, что художник сознательно бережет силы и дает себе передышку.

Спасительные для организма, эти паузы могут быть нестерпимо мучительны для души. Но, вероятно, человеку не дано перепрыгнуть через барьеры собственных жизненных ритмов: в момент спада энергии автор сколько угодно может понуждать себя к труду — из-под его пера все равно не выйдет ничего путного. Классиком сказано: «без божества, без вдохновенья». И наконец, третьи. Работают с непрерывностью действующих вулканов, но инстинктивно чувствуют край. Умеют, подойдя к нему, своевременно отвлечься, переключиться на другое: стихи не идут — берутся за переводы, с теми заминка — есть прозаические заготовки. Таким был Л. Мартынов — он не всегда знал, чем будет заниматься завтра.

Однако в работе любого автора наступает вожделенный момент, когда внутреннее чувство безошибочно ему подсказывает: тут ни убавить, ни прибавить. Или хотя бы так: я сделал с этой вещью все, что мог. У авторов, подобных Л. Мартынову, такие счастливые моменты нередко весьма удалены от начала работы. В поэзии время идет иначе, чем в жизни. Иная лирическая миниатюра, на чтение которой уходит всего минута, зрела долгие годы. Какое-то время она существовала в сознании художника не очень уверенно: смутно всплывала на поверхность и снова погружалась в неведомые потемки. Но вот начала оживать: сначала неуклюжая черновая запись, странный негатив мысли. И вдруг молниеносное превращение — сверкнула точная формула:

Есть книги —
В иные из них загляни
И вздрогнешь:
Не нас ли
Читают
Они!

По-видимому, мне уже никогда не удастся узнать, в какие сроки создал Л. Мартынов это маленькое чудо. Но если чудо все-таки произошло, какое читателю дело — сразу или замедленно оно далось автору? Важен ведь, в конце концов, результат.

Быть может, следует оговориться, что между тремя типами художников, о которых речь шла выше, существует множество переходных, что иногда в жизни одного и того же поэта возникают различные творческие ритмы. Но, говоря о Леониде Мартынове, надо подчеркнуть и непрерывность и одновременность его работы на многих направ-

лениях: каждый день он что-то набрасывал и что-то дописывал, что-то извлекал на свет из дальнего угла и в корне переделывал, а что-то только еще обдумывал или зарисовывал цветными карандашами. При этом он был постоянно недоволен и качеством и количеством сделанного.

«У поэтов не существует возраста»,— он сетовал на нездоровье и старость лишь за то, что они мешают ему трудиться столь же много, безостановочно и успешно, как прежде, все-таки создавая непредвиденные перебои в ритмах. «Так много хочется сделать!»— это восклицание звучало в наших беседах как постоянный припев. Иногда поэт переходил на шутливый тон — сообщал о своих критических замыслах. «Одна беда, врачи запрещают мне сердиться. Да я и сам чувствую: только настроишься, выберешь жертву, распустишь когти, а сердце начинает бухать»,— он морщился и показывал ладонью, как бухает больное сердце. Однако поэт умел одолевать и происки давнего недуга — «хваткого черта». Пренебрегал ими в работе.

Вот скачет гонец!
Заныло в груди.
— Так, значит, конец?
— Да нет, погоди...
— А что прискакал?
— Другого ищу!—
Кого б ни искал,
А я трепещу,
Кричу ему вслед,
Что их не найдешь,
Что дома их нет...

О мелкая ложь!

Буквально в нескольких строчках передал поэт холод стремительно приближающейся смерти и свою нераздельность с людьми: если ударит не меня, разве мне легче? Беглый разговор с символическим вестником и — никакой надежды, только гнетущее чувство неизбежности. Только ли? Что, в самом деле, осталось от прежнего «геркулеса», от неукротимо жизнелюбивого Л. Мартынова? При первом чтении меня как-то царапнуло определение «мелкая». Желать спасти других от гибели — разве «мелко»? Почему не «грубая» ложь или, скажем, не «горькая»? Вчитался и понял: предложенные мною эпитеты — и тот и другой — недостаточно сильно осуждают ложное, хотя и вполне извинительное движение души: желание обмануться, закрыть глаза на неотвратимое. Поэт же не хочет позволить себе

и такой слабости. Вот что осталось от прежнего Л. Мартынова — побеждающее рок бесстрашие мысли. Поэт томился в предчувствии близкого конца — воздушные фрегаты дерзко летели в вечность...

Одному реакционному мыслителю принадлежит мнение, что при любом социальном строе количество счастливых и несчастных людей остается в одном соотношении. Иными словами, философ переводил понятие «счастье» в чисто субъективную категорию. Античный раб, вероятно, мог чувствовать себя наверху блаженства, если попадал в руки сравнительно милостивого господина, если ежедневно получал обильную еду, если был женат на красивой рабыне... Но счастье — категория не только субъективная, но и мировоззренческая, и человечество не зря платило реками крови за каждый шаг социального прогресса. Потому-то наши мерки, прилагаемые к счастью, чрезвычайно высоки. И все-таки на своем веку мне доводилось видеть счастливых людей. При разительном несходстве характеров, вкусов, профессиональных занятий и всего прочего в них было что-то общее, из чего я заключил: прекрасная доля выбирает тех, кому ее ноша по плечу. Сильных и добрых. Свободных и беззаветно трудолюбивых. Тех, в чьи сердца постоянно светит Родина.

Быть может, эти немудреные соображения объяснят читателю, почему в больном, тяжко страдающем Л. Мартынове я видел подлинного счастливца. Он прожил трудную, но очень большую и очень достойную жизнь. Он все изведал сполна: любовь, творчество, дружбу, даже всеобщее признание. «Блаженны нищие духом»,— утверждает священная книга. Ни себе, ни кому-либо другому поэт не пожелал бы такого счастья. И теперь у Леонида Мартынова действительно нет возраста.

1983

ПАМЯТИ Л. Н. МАРТЫНОВА

В небе знаки печатая
Нелюдского письма,
Огневица зубчатая
Расплескала тома.

И не шутка — попробовать
На родном языке

Светоносную проповедь
Воскресить по строке.

Так Мартынов заучивал,
Над собой уловив
Прорицания жгучего
Бессловесный извив.

И ветвистая молния
Отверзала уста,
Рассекая безмолвие
Чернового листа.

Инструментом доверия
Из глагола зарниц
Создается материя
Долговечных страниц...

И над сумрачным кладбищем
Засверкали басы,
Разбегаясь по клавишам
Вихревой полосы.

Через лужи и рытвины
Перекопанных троп
Своевольными ритмами
Плыл мартыновский гроб.

Меж кленовыми лапами,
Возле самых оград,
Негасимыми лампами —
За разрядом разряд.

Г. Сухова-Мартынова

«ВОСПОМИНАНИЯ ТЕСНЯТСЯ...»

В ноябре 1956 года после длительного периода жизни в Зауралье я вместе с мамой и дочкой вернулась в Москву и стала заведовать терапевтическим отделением в районной поликлинике.. Мы получили комнату в районе Университета, по Боровскому шоссе, в доме № 11. Окна нашей комнаты выходили на новый, достраивающийся дом. В этом доме в мае 1957 года получили квартиру Мартыновы. Вместе с Леонидом Николаевичем и его женой Ниной Анатольевной переехала и ее мама — Елизавета Семеновна. Она была тяжело больна. Вскоре после переезда Нина Анатольевна была у меня на приеме и попросила быть лечащим врачом ее мамы...

Знакомый мне литератор, узнав, что я буду у Мартыновых, сказал:

— Вы идете в дом интересного человека. Мартынов талантливый поэт и человек с нелегкой судьбой... Возьмите книжку его стихов, прочтите,— и он дал мне небольшую зелененькую книжечку, изданную в 1955 году в издательстве «Молодая гвардия».

Дома я прочла стихи. Прочла, вновь перечла, стихи вызвали раздумья, многие запомнились.

В первое свое посещение Леонида Николаевича я не видела, но помню ровную, полную достоинства приветливость милой Нины Анатольевны.

Следующий мой визит был в дождливый день. Я была в пальто. Открыла мне Нина Анатольевна.

— Раздевайтесь, Галина Алексеевна,— сказала она.

В эту минуту из двери справа стремительно вышел Леонид Николаевич. Он церемонно поклонился мне и помог снять пальто. Был он высок, строен и показался мне не по годам молод. Я почувствовала, что он внутренне напря-

жен. Откинутая назад голова и пристальный пытливый взгляд создавали на первых порах впечатление заносчивости. Позже, когда я узнала его лучше, поняла, что это его защитная реакция перед новым человеком.

В новой квартире, после жизни в Сокольниках, Мартыновы были счастливы: радовались простору, тишине.

О сокольническом периоде жизни, вернее о трудностях тех лет, Леонид Николаевич говорить не любил, а если и вспоминал, то о людях, окружавших их. Так он рассказывал о создании стихотворения «Балерина», персонажи которого — дворничиха и ее дочка — были соседями по дому. Добрым и благожелательным отношением к людям преобразил Леонид Николаевич далеко не поэтическую действительность.

Мартыновы вели скромный и замкнутый образ жизни, хотя Леонид Николаевич принимал участие в работе секции поэтов Союза писателей, часто бывал в центре в букинистических магазинах, уходил гулять на Ленинские горы. Нина Анатольевна редко выходила из дома.

Визиты мои к Мартыновым были часты, порой ежедневны, этого требовало состояние мамы Нины Анатольевны. Очень скоро у меня с Ниной Анатольевной установились простые и сердечные отношения, разница в возрасте не мешала нашему общению ни в начале знакомства, ни все последующие годы. Из фраз, оброненных Ниной Анатольевной, я узнавала,что Леонид Николаевич много работает, не любит прихода посторонних без предварительного звонка. Все это я принимала к сведению, и, хотя мне в последующие годы неоднократно говорилось, что меня это не касается, я все равно старалась не нарушать заведенного порядка.

Первая поездка Леонида Николаевича за рубеж в 1957 году (он был в составе делегации советских писателей в Италии) была событием в семье Мартыновых. Помню волнение Нины Анатольевны за все время пребывания его за границей. Помню и его приезд, его окрыленность, даже некоторую раскованность на время. Интересно рассказывал Леонид Николаевич о поездке, людях и встречах за рубежом, городах, в которых бывал. И при этом как-то особенно тепло говорил о Москве, хорошо помню его слова: «Мы многого не ценим, пока не видим другого...»

В последующие годы Леонид Николаевич опубликовал ряд стихотворений, навеянных пребыванием в Италии: «Когда раскапывали Помпею...», «В мире ангелов с выломанными крыльями...», «Стикс» и др. Разбирая теперь его записные книжки периода поездки по Италии, нахожу строки стихотворений, набросанные карандашом, слова не до конца дописаны, видимо во время поездки в автобусе, например стихотворение «Стикс». Можно думать, что стихотворение это сложилось еще во время поездки, так как напечатанный текст стихотворения соответствует этим наспех набросанным строкам.

Истоком произведений Леонида Николаевича были реальные факты, наблюдения, встречи, разговоры, сама жизнь. Уже много позже, когда стихи, те или иные, были напечатаны, он иногда рассказывал об их истоке, и я не переставала удивляться, как, казалось бы, незначительный мимолетный эпизод становился толчком для создания прекрасного стихотворения. Так связки веревок в окне хозяйственного магазина, мимо которого он проходил, вдохновили его на создание интересного стихотворения «Верви». А спустя много лет в новелле «Студия стужи», вошедшей в книгу «Черты сходства», вышедшей уже посмертно (М., «Современник», 1982), он упоминает об одной встрече в Италии, послужившей истоком для стихотворения «В мире ангелов с выломанными крыльями...». Он умел глубоко видеть и чувствовать то, что другие порой и не замечали.

Прекрасно сказал Антал Гидаш:

Поэзия Мартынова —
фантазия,
в реальность бросившая якорь...

Мама Нины Анатольевны умерла в сентябре 1960 года. Последние месяцы ее жизни были тяжелы, я бывала у Мартыновых по нескольку раз в день. К этому времени я стала уже близким человеком в их доме, всем сердцем привязалась я к Нине Анатольевне и Леониду Николаевичу, дорожила их вниманием, добротой. Надо сказать, что Леонид Николаевич всегда чувствовал внутреннее состояние собеседника и, если видел, что я чем-то удручена или была утомлена после тяжелого дня на работе, всегда старался интересным разговором отвлечь от тягостных мыслей. После разговоров с ним я смотрела на окружающее другими глазами: трудные вопросы, тревожащие меня, уже не казались

безнадежными — так много интересного и непознанного было вокруг.

Леонид Николаевич был в курсе многих событий, открытий, новых исследований в разных областях науки. Обо всем, что, с его точки зрения, заслуживало внимания, он старался прочитать. А как он читал газеты! Казалось, что он будто бы только просматривает, перелистывает газетные листы, на все это уходило утром 35 — 40 минут. Закончив, он рассказывал самое важное и интересное из прочитанного, а затем вырезал интересующие его статьи, заметки, сообщения, которые иногда служили толчком для создания стихотворения («Радиоактивный остров», «Никогда», «Подземный водолаз»).

Я следила за публикациями его стихов, читала отзывы на его книги, статьи о нем. Будучи человеком скромным, Леонид Николаевич не показывал ни восторженных писем поклонников его поэзии, ни стихов, ему посвященных. Все это я увидела значительно позже...

Все чаще печатались стихи Леонида Николаевича в периодических изданиях, выходили его новые книги, появились книги его стихов и в ряде социалистических стран — в Венгрии, в Чехословакии, в Польше, в Югославии. Об этом он писал:

Я стихи писал
В период гроз,
Ночью, полон внутреннего жара.
И однажды
Ветер их понес
Будто бы вокруг земного шара.
....
Вижу:
Снова он в моих руках,
Результат трудов моих полночных,
Но теперь на разных языках...

Просто и строго жили Мартыновы. Обстановка в их доме, уклад жизни не менялись годами, росли лишь стопки книг. Это тоже одна из особенностей характера Леонида Николаевича, с одной стороны — он не любил изменений, был постоянен в своих привычках: одни и те же люди в доме, редко новый человек. Вещи годами на одних и тех же местах, книги — в определенном, раз навсегда установленном порядке. А с другой стороны, я не знала более отзывчивого человека на все новое, будь то живопись, музыка, архитектура и даже мода... И все это находило отклик в стихах.

В связи с этим вспоминаю такой случай. Было это в начале 60-х годов. В Москве, в Сокольниках, открылась выставка современного французского искусства: живопись, скульптура. Было лето, тепло, солнечно. Леонид Николаевич, когда мы проезжали станцию метро «Ленинские горы», обратил мое внимание на простоту и оригинальное архитектурное решение этой станции. В дальнейшем он написал стихотворение:

Лазоревая станция
Меж небом и волной...

Выставка была развернута в одном из павильонов, на лицах многих посетителей было удивление, а порой и явное разочарование. Я тоже с некоторым изумлением смотрела на странные скульптуры, уж очень все было непохоже на то, к чему привык глаз. Леонид Николаевич воспринимал все с интересом, рассказывал об авторах выставленных работ, о новых течениях в искусстве... Он говорил, что новое часто далеко не всегда понятно, но неминуемо будет принято рано или поздно, если это настоящее, что это закон жизни, закон движения вперед и необходимо стараться понять новое... До конца своих дней он оставался восприимчивым к новому, сохраняя своеобразие мышления и воображения. И когда читаю я стихотворение «Мнимая незавершенность», помещенное в книге «Узел бурь», последней книге, вышедшей при жизни Леонида Николаевича, то невольно думается, что, может быть, замысел этого стихотворения мог возникнуть и тогда, при посещении той далекой выставки:

...И преобразилась вдохновенно
Эта мнимая незавершенность
Поздних озарений Микеланджело
В будущее мастерство Родена.

И лениво усмехался Хронос,
Хронос, усмехающийся хмуро,
Видя, как роденовская юность,
А затем роденовская зрелость —
Эта мнимая незавершенность —
Порождала железобетонность
Генри Мура!

Ведь писал Леонид Николаевич значительно больше, чем печатал. Далеко не все, что было написано, сразу шло в печать. Порой стихи лежали годами, ожидая своего часа...

Круг интересов Леонида Николаевича был чрезвычайно широк. Несмотря на то, что в годы, когда я его знала, он не бывал в театре, на концертах,— музыка всегда интересовала его. Время от времени, уединившись в кабинете, он слушал музыку: записи классических произведений, старинных русских романсов, эстрадной музыки в хорошем исполнении.

Увлекательно рассказывал он о старых постановках в Камерном театре и Театре Мейерхольда, да и книги библиотеки Леонида Мартынова свидетельствуют о его интересе к театральному искусству.

Леонид Николаевич мог ответить на множество вопросов. Он написал в стихотворении «Диодор Сицилийский»:

Меня
Привыкли спрашивать о многом.
Вопросы всяческие: кто был богом
Поэзии? И правда ли, что вьются
Над Англией «летающие блюдца»?

А вот звонят:
— Арбитром будьте в споре
О Диодоре...

В рассказах Леонида Николаевича было столько интересных и новых сведений, что их было достаточно для размышлений надолго. Потребность знать больше после разговора с ним становилась сильнее.

Библиотека Леонида Николаевича обширна и включает много интересных книг. Вот несколько строк о библиотеке из записей Леонида Николаевича: «...Во все времена, даже самые трудные в материальном отношении, не мог я ежедневно не бывать у букинистов и не приобрести по крайней мере две-три книги, заходя в лавки, либо в Камергерском, либо на Арбате... Я покупал подряд все попадавшиеся мне в руки издания поэтов 20-х годов нашего века — футуристов, акмеистов, имажинистов, как известных, незабываемых поэтов, так и забытых, канувших в Лету... Кроме поэзии и художественной прозы я приобретал немало книг по истории, не только русской, но и польской, и чешской, и болгарской, и венгерской, не говоря уже о французской и английской. Это мне было необходимо при переводах поэзии, ибо жили мы в данное сокольническое десятилетие именно переводами...»

В жизни Леонида Николаевича было достаточно трудностей, а поэтическая судьба его знала не только чистое

небо, но и черные грозовые тучи. Одно оставалось неизменным — работа, невзирая ни на что. Он часто повторял, что нужно уметь ограничивать свои желания: «Если хочешь чего-то добиться, нельзя разбрасываться, необходимо беречь время, человеку отпущено его очень мало...» Он верил в себя, в свои возможности. Об этом писал он давно:

...Да будет твой путь беспокоен,
Но знай: побеждает в борьбе
Художник,
Ученый
И воин,
Сумевшие верить себе.

Его жизненный принцип был прост: жизнь нужна, чтобы трудиться, творить. Постоянный труд — это и есть жизнь. Другого не признавал, считая, что даже в наш век чудес продлить жизнь можно лишь уплотнением своего времени, а потому и трудился, пока рука держала перо...

Жизнь его не была в эти годы богата внешними событиями, она отличалась простотой быта и строгостью в выборе друзей. Многолюдные компании в доме почти не бывали, Леонид Николаевич предпочитал встречаться с близкими ему людьми в тиши кабинета, он любил спокойную беседу. Привычный, выработанный ритм жизни он не любил нарушать.

Я нечасто видела Леонида Николаевича шумно веселым. Однако был случай, когда он как будто вдруг позволил себе вернуться в свои юные годы. Это было в один из дней рождения Нины Анатольевны в январе очень суровой зимы. Были в тот вечер Марина Николаевна Чуковская, Виктор Григорьевич Утков и родственница Нины Анатольевны из Вологды Вера Сергеевна Домашнева. День был среди недели, рабочий. Утром, когда я шла с рынка, торопясь поздравить Нину Анатольевну, неся любимые ею гиацинты, и старалась сократить путь, чтобы не заморозить цветы, я перешла улицу в неположенном месте. А вечером, когда с работы к Мартыновым ехал Виктор Утков, его задержали на этом же самом месте. Все смеялись, когда я рассказывала, как просила милиционера взять с меня штраф поскорее (а он непременно хотел прочитать мне лекцию о правилах уличного движения), но, узнав, что я нарушила правила из-за такого необычного случая, отпустил меня и даже не взял штрафа. В. Уткова оштрафовали, да еще обязали

явиться на лекцию, вручив повестку. Все это настроило всех на веселый лад. Леонид Николаевич в этот вечер был необычный: он хотел танцевать, напевал песенки Вертинского, рассказал что-то смешное из времен своей юности. И так молод был он в эти минуты, как будто открыл потайную дверцу и не израсходованный в трудные годы молодой азарт выплеснулся...

Никогда не слышала я от Леонида Николаевича о том, как он работает. Когда же его об этом спрашивали, он говорил: «Вот ведь спрашивают, как я работаю... Значит, не читают моих стихов, я в них все написал...» Во многих стихотворениях и в книге новелл «Воздушные фрегаты» писал он об этом. Вот что писал Леонид Николаевич, отвечая на вопросы: «Думаю, что языковой строй моих произведений возникает непроизвольно, «сам собой» потому, что когда я пишу, я не думаю ни о какой проблеме языка (если только, конечно, пишу не о проблеме языка), а просто стараюсь как можно точнее выразить в словах то, что ощущаю, переживаю, вижу, слышу, то, чем восхищен или чем возмущен. Так было всегда, так, надеюсь, будет и впредь... Мне кажется, что надо следовать системе: сперва отрежь, потом отмерь, в чем писательский труд, труд художников слова, отличен от труда работников прилавка, хотя и среди них есть художники своего дела. То есть сначала напиши что можешь, чтоб ничего не ускользнуло, насколько можешь вырази себя, а затем, посмотрев, сколько у тебя нагой простоты, густоты, метафоричности, разговорности, характерности, книжности и литературности — выкинь книжность и литературность в верленовском отрицательном их понимании и, критически перечитав все оставшееся, думай о том, пора ли предлагать это в печать или надо повременить потому, что еще не хватает ясности».

В его архиве нет дневниковых записей изо дня в день. Все, о чем он думал, что его удивляло, вызывало интерес, о чем он размышлял, он чаще выражал в форме рифмованных строк. Эти наброски в дальнейшем могли стать законченными стихотворениями, хотя порой от первоначального замысла оставалось немного. Все это становится очевидным, когда разбираешь его бумаги.

В последней им собранной книге «Золотой запас» он еще раз сказал:

Свои виденья записать
Мне никогда не лень,
Поскольку надо запасать
Фонд грез на черный день...

А фонд грез его был неистощим. Даже в те годы, когда его не печатали, он продолжал писать, потому что не мог не писать.

О некоторых особенностях творчества Леонид Николаевич написал:

Даты
Расставляются
Не без труда!
Есть стихи, что написаны много раньше, а
напечатаны позже когда-то...
....
И ты впопыхах напоследок
Расставляешь лишь только примерные даты
в стихах,
Как будто даже не ты их писал, а твой собственный
предок!

И это правда, он не датировал своих набросков, вариантов и даже беловых автографов. Его многие стихи писались порой годами, он к ним возвращался даже тогда, когда они прошли публикацию в периодических изданиях. А некоторые стихотворения много лет лежали — в книги Леонид Николаевич их вносить не торопился. В его последней, им самим собранной книге «Золотой запас» наряду со стихами, созданными в последние годы и даже месяцы, есть стихотворения, написанные десятки лет тому назад. Так стихотворение «Я не прощаюсь», впервые опубликованное в «Литературной газете» в 1963 году, в книгу внесено лишь в 1979 году, а когда написано — этого уже теперь никто не сможет сказать... Еще большей неожиданностью явилось установление даты стихотворения:

Дебатам, прениям, стычкам
Приходит желанный конец...

Это стихотворение также помещено Леонидом Николаевичем в книгу «Золотой запас» и не датировано. В найденной юношеской тетради оно им датировано 1922 годом, когда ему было 17 лет.

О своем архиве Леонид Николаевич писал:

Следовало бы
Перерыть архивы,—
Там найдете прозу и стихи вы...

Архивом своим он пользовался до последнего дня, черпал из него для новых публикаций, но систематизация написанного и изданного его не интересовала. Разбирать и раскладывать свои бумаги он не торопился, ему нужно было успеть высказать все то, что он считал необходимым. И оставленные на одном из листочков строки и говорят об этом:

Я начал
В стихах разбираться,
В столе им тесно.
За кипою кипу я в руки беру,
Мне в старых стихах копаться
Неинтересно.
Пусть в них разберется,
кто может, когда я помру...
А я пока жив и здоров я.

За многие годы общения у меня сложилось убеждение, что творческий процесс у Леонида Николаевича шел беспрерывно. Сколько раз во время разговора он вдруг умолкал, прикрывая глаза. И тогда мы с Ниной Анатольевной либо совсем замолкали, либо начинали говорить чуть слышно. Погруженный в себя, он не замечал нас, поднимался и уходил на некоторое время в кабинет.

Как тревожился Леонид Николаевич, когда выходила его новая книга: вдруг она будет лежать на прилавке? Вдруг ее не купят? И так каждый раз. Иногда я шла в магазин, пытаясь, правда всегда безуспешно, найти его новую книгу. Помню, как однажды удивила продавщицу радостным восклицанием в ответ на ее слова, что книжка и была-то в продаже всего несколько дней. «А вы спрашиваете ее через месяц!»— сказала она мне с укоризной, не понимая, чему я так рада.

Сколько душевных сил требовалось ему, чтобы написать заявку в издательство на новую книгу! Об этом Леонид Николаевич сказал мне незадолго до смерти, когда говорил о замыслах на будущее: «Для меня всегда это было неимоверно трудно!..» — и умолк, прикрыв глаза. Чувствуя боль и горечь в его словах, я не посмела уточнить почему.

Теперь же, разбирая старые бумаги, нашла рукописи двух собранных книг. Одна из них — «Чистое небо»— была возвращена в 1947 году из московского издательства с заключением, что рукопись читали шесть (шесть!) рецензентов, члены редакционного совета и мнение не в пользу

ее издания. Заметки на полях рукописи не делают чести рецензентам, они оскорбительны. Книга эта в то время не была издана. А в ней бóльшая часть стихотворений, вошедших в 1955 году в книгу стихов, изданных «Молодой гвардией»! Вторая рукопись — «Стихотворения и поэмы» — была возвращена секретарем одного известного литератора в 1953 году. Через несколько лет многие стихи и поэмы вошли в изданные книги.

Какие вам стихи прочесть?
Могу прочесть стихи про честь,
Могу прочесть и про бесчестье —
Любые вам могу прочесть я,
Могу любые прокричать,
Продекламировать вам грозно...
Вот только жалко, что в печать
Они попали все же поздно,—

написал Леонид Николаевич в 1964 году. Он никогда об этом не говорил, имен не упоминал.

...Да эти раны бередить
Бывает и себе дороже.
Столетье можно погодить,
Пусть правда выяснится позже.

Никогда не спрашивала я, над чем он работает, не просила почитать новые стихи. Терпеливо ждала, когда он приходил с листами рукописи, садился на кушетку и говорил:

— Хотите, почитаю?

А иногда язвил:

— А может быть, не интересно?

Нина Анатольевна в таких случаях сердилась:

— Леня, не ломайся, или читай, или уходи!

Леонид Николаевич, усмехнувшись, послушно устраивался на кушетке и начинал читать.

Когда он готовил книгу новелл-воспоминаний, Нина Анатольевна очень волновалась. Помню, как-то вечером вошел в комнату, где мы с ней сидели, в руках у него были листы рукописи.

— А вот, Ниночка, мы сейчас и проверим.— И, обращаясь ко мне, продолжил:— Я вам почитаю, а вы, только не хитрите, скажите, что думаете.

Я взглянула на Нину Анатольевну, ее лицо было тревожно.

— Галина Алексеевна,— сказала она.— Леня чудит, думает, что это будет интересно кому-то, что он пишет, а я думаю, что и в печать-то не возьмут.

Прочитанные страницы, которые вошли потом в главы «Детские грезы» и «Семейные предания», были очень интересны, вызвали много вопросов, хотелось знать, что же будет дальше.

После первых появившихся в журналах новелл стали приходить письма от тех, о ком он писал, от их родственников и потомков. После выхода из печати «Воздушных фрегатов» в 1974 году отдельным изданием поток писем увеличился, и это доставило большую радость и Леониду Николаевичу и Нине Анатольевне. Возникла переписка с некоторыми старыми друзьями юности. Однажды Леонид Николаевич получил бандероль из Омска, в которой были автографы его стихотворений, написанных им в ранней юности. Среди них была и поэма «Арлекинада», первая поэма, написанная юным Леонидом Мартыновым и помеченная им 1920—1922 годами. Эта юношеская поэма не была напечатана, а через два года, в 1924 году, на страницах журнала «Сибирские огни» появилась поэма Леонида Мартынова «Адмиральский час», в которую вошли строки из «Арлекинады». Эту бандероль прислала Е. Н. Андреева, которая в 20-е годы вместе с Леонидом Мартыновым была членом омской «Артели поэтов и писателей».

Каждый раз, получая письма, Леонид Николаевич много рассказывал о прошлом, часто и о том, чего не было написано в новеллах. Так я узнавала о многих людях, с кем жизнь его сталкивала.

Летние месяцы последние 15 лет, проводимые в деревне Степановское близ Истры, были и отдыхом и источником новых впечатлений для Леонида Николаевича. От его взгляда ничто не укрывалось: ни буйно разросшийся куст шиповника, ни яркое пятно на стволе дерева от луча заходящего солнца среди уже темнеющего леса, ни опавшие листья вокруг молодого деревца — все рождало поэтические образы.

Даже каприз подросшей за год хозяйской внучки не прошел мимо него:

— Я не ласточка,
А я — ворона!—
Закричала девочка Алена —
До того ей надоели
Все ласкательные имена.
 — Карр!— воскликнула она, и ввысь
 Руки, словно крылья, поднялись.

Это начиналась оборона,
Дни сознательности начались.

Леонида Николаевича интересовал сельский труд и быт, отличный от прежнего, а главное люди с новыми взглядами и интересами. Помню, шли мы на автобусную станцию — Леонид Николаевич с Ниной Анатольевной провожали меня, а навстречу нам шло совхозное стадо и при нем не старик пастух, а молодая девушка с модной прической и спидолой на плече. Но и кнут, настоящий, пастуший, был в ее руках. Леонид Николаевич с доброй улыбкой смотрел на девушку. Но за сельской идиллией, напишет он позже:

...Я как-то все увидел в новом свете,
И, кажется, я различил цвет лиц
И тени ликов, их морщинок сети
На ровных бревнах горниц и светлиц...
. . . .
И видывал, как вихри выминают
В недобрый час и вику и овсы,
И слышал я, как люди вспоминают,
Как про слепня укус или осы,
Про то, о чем теперь мы строго судим,
Но истиной считалось прописной...

В Степановском Леонид Николаевич свел знакомство с жившими по соседству художником Владимиром Алексеевичем Милашевским и ученым-биологом Алексеем Асинкритовичем Титаевым. И в стихах, и в прозе он написал об этих интереснейших людях.

К Леониду Николаевичу часто обращались молодые и начинающие поэты со своими произведениями, желая получить от него совет, критическое замечание, одобрение, рекомендацию или отзыв для печати. Звонили по телефону, присылали письма с рукописями. Несколько раз я была свидетельницей его разговоров. Он говорил всегда только от своего имени, высказывал только свое мнение, разбирал и отмечал достоинства, указывал понравившееся, отмечал недостатки, но никогда не обещал «протолкнуть» стихи в печать.

Не принимал в расчет ссылки на неудачи в жизни, молодым людям советовал не бросать основную работу, много и упорно учиться и постоянно читать, читать, прежде всего классиков, следить за событиями в стране, в мире и «не считать количества написанных строк», как однажды

сказал Леонид Николаевич одному молодому автору в ответ на его слова о том, что им написано уже много стихов, а их не печатают.

Среди бумаг нашла я стихотворение, которое было написано Леонидом Николаевичем, возможно, после одного из таких разговоров:

Я получаю многие посланья
От стихотворцев молодых и старых!
. . . .
Когда я был и юн, и неизвестен,
То жил, на письма времени не тратя,
А занимался сочиненьем песен —
Одним лишь этим мог людей пленять я,
И у меня была одна забота,
Чтоб взять и сочинить стихотворенье,
А чтоб просить совета у кого-то,
Чьего-то добиваться одобренья —
Нет! Пусть они почувствуют и сами,
Что эту песню я недаром спел им!
Вот так под молодыми небесами
Я и висел плодом еще незрелым
В листве для птичьих клювов незаметным,
И толковал лишь с солнцем я и с ветром,
И ни к каким не обращался мэтрам
С мольбой меня измерить сантиметром![1]

Шли годы. Даже видя Леонида Николаевича ежедневно, я стала с грустью замечать, что он уже не так резво бежит по улице, прогулки его стали короче. Несколько лет периодически беспокоило сердце, и, как всегда, он это выразил в стихотворении:

Опять
Вокруг меня летает
Какой-то черт,
И на лету
За сердце он меня хватает,
Но жизнь моя еще в цвету,
И хваткому посланцу ада
Я возглашаю на ходу
Все то, за что мне взяться надо
Не нынче — в будущем году...

Все чаще повторял он: «Надо торопиться, времени остается немного...» Дорожил каждым часом: много писал, читал, не позволял себе ни на минуту прилечь днем, рано

[1] Публикуется впервые.

вставал и поздно ложился. А письма в ответ на изданные «Воздушные фрегаты» все шли... и создавались все новые и новые новеллы, вошедшие в книгу «Черты сходства», увидеть которую изданной ему не удалось, она вышла через два года после его смерти...

И все-таки тяжелое заболевание, внезапно развившееся в марте 1978 года, было неожиданным. Оставлять дома было нельзя, требовалось стационарное лечение, и, несмотря на отчаянное нежелание, Леонида Николаевича пришлось положить в больницу. Через несколько дней его самочувствие улучшилось, однако соблюдение строгого постельного режима было необходимо. Но и здесь, в больнице, в момент острого тяжелого заболевания Леонид Николаевич оставался самим собой — никаких скидок на болезнь, нельзя терять ни времени, ни привычного ритма... И вот в одно из посещений (Нина Анатольевна была в палате у Леонида Николаевича, а я разговаривала с врачом) лечащий врач пожаловалась мне, что Леонид Николаевич нарушает режим: часто что-то пишет, а отдать записную книжку и карандаш отказался.

Пришлось мне рассказать доктору, что Леонид Николаевич привык работать ежедневно, что ему необходимо записывать свои мысли, что это для него менее вредно в данный момент, чем постоянно думать об этом, помнить... Я просила не препятствовать ему, уверяя, что это не может повредить.

Когда Леонид Николаевич вернулся домой, то спустя некоторое время сказал, что в больнице сделал наброски многих стихотворений, что ему там неплохо думалось и что книжка теперь почти сложилась... Он имел в виду книгу новых стихов «Узел бурь».

Пишу об этом потому, чтобы еще раз подчеркнуть, что поэзия была для него жизнью и никаких особых условий для творчества он не требовал, все было в нем...

Леонид Николаевич был человек сложный, далеко не однозначный. В последней книге «Золотой запас» он писал:

...И встанет
В солнечных лучах
Автопортрет,
Где на плечах
Сидят
По голубю
И ворону!

Вспоминаю, что спустя несколько лет после знакомства с семьей Мартыновых я как-то в разговоре сказала, что благодарна счастливому случаю, который свел меня с ними.

Леонид Николаевич тут же возразил:

— Значит, так должно было быть!

Через несколько лет я прочла его стихотворение, где он писал:

Все то,
Что случилось,
В себе мы несем
И то, что случиться должно...

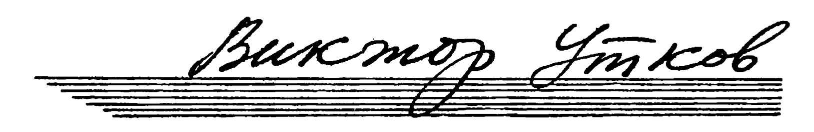
Он отрицал слепой случай.

В одном из последних стихотворений, опубликованном незадолго до смерти Леонида Николаевича, он написал:

Воспоминания теснятся,
Порой не знаешь, как и быть,
Чтоб все запомнить, не забыть...

Да, всего написать невозможно... Наверное, я не рискнула бы писать воспоминания о Леониде Николаевиче, но еще много лет назад как-то он сказал мне: «...еще и воспоминания писать будете...» Его слова, конечно, я приняла за шутку. Но осенью 1979 года, когда он был тяжело болен, он вновь вернулся к этому разговору, попросив меня отнестись к его словам серьезно: «Помни — не будет меня, ты должна написать о том, чему была свидетельницей в течение четверти века, и не мудрствуй, напиши то, что сможешь и как сумеешь, но свое и правду — это главное».

1981—1983



«КАК ЭТОТ САМЫЙ МИР ВОЗНИК...»

А ЕСЛИ СМЕРТЬЮ ВСЕ КОНЧАЕТСЯ,
ТО НЕЧЕГО И НАЧИНАТЬ!..

Л. Мартынов

Мне трудно писать о Леониде Мартынове, с которым я был близок более 40 лет, а знаком более полувека. И, хотя я всегда чувствовал дистанцию таланта, это не мешало нашим отношениям. Было разное — споры, несогласия, подчас взаимные обвинения, а в трудные времена — помощь... Не было только разрывов. Нити, связывающие нас, подвергаясь испытаниям, становились только крепче.

Характер Леонида Мартынова был сложный, на поверхность порой выходили только результаты большой внутренней работы, которую он не всегда считал нужным пояснять.

Но с годами у нас выработалось понимание — достаточно было слова, намека, порой жеста или гримасы, и подспудное выступало наружу... Мне иногда кажется сейчас, что я не только был знаком с Леонидом Мартыновым, не только близок с ним, а вся моя жизнь как бы вошла в его жизнь, а его в мою... Это, конечно, обманчивое ощущение. Но близки мы были очень...

Трудно сказать, что нас сблизило. Мы были во многом разными людьми, но много было и такого, что сближало, переживалось и чувствовалось одинаково... Истоки нашей близости рассеяны по жизни, по отношениям к событиям личным и общественным, по детским годам, проведенным в одном городе, по книгам, с которыми мы знакомились почти в одно и то же время, еще не зная друг о друге, по местам, где каждый из нас побывал в молодости и в зрелые годы, по биографиям родных... Словом, чувство к человеку редко поддается рациональному объяснению — сблизились, и все...

С середины 30-х годов и до кончины Леонида Мартынова мы общались почти каждый день, за исключением военных лет — в июле 1941-го я ушел в армию. Были и потом, в 60-е и 70-е годы, во время моих частых поездок по стране, перерывы в общении, но и в поездках редкий день проходил без телефонной связи...

Встречи и беседы оставляли след в памяти и в моих записных книжках. Теперь, когда Леонида Мартынова не стало, да и мой жизненный предел уже близок, образ друга не уходит от меня... И, как всегда бывает, жалеешь, что не обо всем удалось переговорить, не все записывал... Но теперь уже не вернешь...

Все настоятельнее становится ощущение необходимости рассказать обо всем, что осталось у меня от общения с Леонидом Мартыновым, чему я был свидетелем в его жизни и творчестве... Все это уже не принадлежит мне и, мне кажется, должно сделаться достоянием читателей, которые, я не сомневаюсь в этом, с годами все больше и больше будут нуждаться в поэзии Леонида Мартынова — он всегда шел по грани прошлого с грядущим, смотрел вперед, и многие его читатели и почитатели, может быть, только сейчас познают грамоту...

ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ

Первая запомнившаяся мне встреча с Леонидом Мартыновым произошла во второй половине 20-х годов в Омске, на Иртыше...

В те годы Иртыш еще хранил черты природной нетронутости. Пароходов по нему ходило сравнительно мало. В его водах под Омском ловились осетры, нельмы, стерлядь, язи, не говоря уже о чебаках и ершах. Заречье, где сейчас растут кварталы города, славилось речкой Замарайкой, полной разной летающей, плавающей и ползающей живностью. Для нас, мальчишек, Иртыш и его берега были местами, где мы проводили все свое свободное время. Река нас закаляла, учила мужеству, кормила — все мы были заядлыми рыбаками...

Любил Иртыш и молодой Мартынов, в его стихах и прозе мы находим немало свидетельств этому. Он воспринимал реку как дорогу, ведущую из прошлого в будущее, как стержень, вокруг которого нанизывались эпизоды истории, люди, события. Иртыш был неотделим от его творчества, особенно в ранние годы...

Иртыш свел меня и моих сверстников-друзей с Сергеем Н., заведующим продовольственным магазином, как тогда называли — Церабкоопом,— на улице Красный путь, недалеко от места, где я тогда жил. Сергей имел небольшой парусный ялик, который казался нам роскошной яхтой, и мы беспрекословно выполняли самую черную работу для Сергея, лишь бы приобщиться к этому летящему по волнам Иртыша чуду. Да и хозяин ялика ничего не нес в себе от прозаической профессии, которую мы, по нашей зеленой молодости, склонны были несколько презирать. Сергей был превосходно физически развит, гармонически сложен, с мощной грудью, могучими бицепсами, сильными красивыми ногами. Он казался нам эталоном мужской красоты, воплощением мужества... Вскоре он покинул магазин и стал работать в цирке. Многие любители арены, наверное, и сейчас помнят его атлетическую фигуру в группе партерной гимнастики. Он держал на себе трех подобных ему силачей...

...Жарким июльским днем Сергей и я со своим приятелем шли на ялике по Иртышу, от улицы Проломной, где была стоянка ялика, к устью Оми. Мы уже владели терминологией парусного дела — всеми этими фордевиндами, бейдевиндами, гротами, кливерами, шкотами и тому подобной премудростью, которой мы охотно щеголяли в разговорах с однолетками...

Ветер был свежий, я сидел на кливере, радостно ощущая его наполненность, Сергей управлял гротом и рулем, а мой приятель изнывал от нетерпения — когда я передам ему шкот кливера?.. Ялик наш бойко шел вперед, вода, журча, убегала из-под его кормы, мы были счастливы, чувствуя себя подлинными морскими волками...

И вот, когда мы вышли на простор Иртыша, неподалеку от впадения в него Оми, откуда ни возьмись стремительно нагнала нас яхта. Она бесшумно пролетела мимо, обездвижив на мгновение наш парус, закрыла солнце и лихим поворотом «срезала» нам нос...

В этот миг я увидел Леонида Мартынова. Переброшенный грот яхты открыл мне его — он стоял у мачты, держась за ванты, в одних трусах, бронзовый от загара, стройный, светловолосый... Пожалуй, для нашего тогдашнего идеала мужчины он был тонковат, но соразмерность всех частей его фигуры, гордая постановка головы и какое-то непередаваемое изящество его облика на фоне белоснежного паруса яхты искупало недостаток мускулатуры...

Белопарусная яхта, синее небо, желтый береговой увал вдали, под которым раскинулась зеленая пойма Замарайки, и бронзовотелый юноша у мачты — вся эта мгновенно промелькнувшая картина так врезалась в память, что и сейчас, спустя более чем полвека, она стоит перед глазами...

Но это был лишь миг!.. Мы увидели корму яхты и на ней старого по нашим понятиям человека, который, смеясь, показывал нам кончик веревки, зажатый в кулаке. Это было тягчайшее оскорбление!..

Сергей стал багровым от обиды, пытался сгоряча пуститься вслед за яхтой, на корме которой мы различили надпись «Шалунья»... Но куда там! Яхта уходила от нас, как от стоячего бакена...

— Профессор... математик! — мрачно сказал Сергей, скомандовал мне: — Отдай шкот! — и повернул ялик на другой галс...

Настроение наше было испорчено. Полные негодования на хозяина яхты, мы короткими галсами, против ветра, пошли обратно, на место стоянки нашего ялика...

Потом я не один раз встречал Мартынова на мосту через Омь, в те годы единственному (второй был наплавным и разбирался осенью), где всегда можно было встретить знакомого, и в редакции газеты «Рабочий путь», где мы, учащиеся школы-девятилетки имени Парижской коммуны, считались юнкорами, и на берегу Иртыша. Мартынов выглядел иным, чем в тот миг, на яхте. Постановка головы, несколько откинутой назад, казалась нам надменной, а шея тонковатой для роста и крупной головы. И все же первое впечатление, полученное тогда, на Иртыше, оставалось непоколебленным — движения Мартынова были легки и точны, походка стремительна, словно летящая, взгляд светлых глаз — проницателен. Чувствовалось, что человек он непростой. Но самым необыкновенным в его облике были кисти рук — сухие, с тонкими подвижными пальцами, удивительно соразмерными по своим очертаниям, они сразу останавливали на себе внимание. Привлекало нас, иртышских мальчишек, в нем и то, что он был превосходным пловцом — для него ничего не стоило переплыть Иртыш туда и обратно, без передышки...

Мартынов был известен в Омске как поэт и как смелый журналист, который не боялся посещать воровские притоны в мариупольских землянках, давать о них корреспонденции в газету, писать о заиртышских казахах, живших в ауле Каржас, против города, об их бедах, борьбе бедняков с бая-

ми, о судьбах казашек... И эта его жизнь привлекала меня, казалась мне романтичной. Мне очень хотелось познакомиться с ним, но я был крайне стеснительным, недавно излечившимся от тяжкого недуга — заикания, мучившего меня с пяти лет, да и разница в годах — Мартынов был старше меня на семь лет — тогда казалась непреодолимой... Встречи на Иртыше — его нередко можно было видеть на профессорской яхте, совершенно недоступной для нас, мальчишек, явлении чужого, как нам казалось, мира,— совсем отделяли меня от него. Впоследствии, когда мы стали друзьями, я вспоминал об эпизоде на Иртыше, которого Мартынов, конечно, не помнил, но яхту «Шалунью» и ее хозяина помнил хорошо, и он говорил мне:

— Я был на ней случайным гостем, профессорская среда лишь терпела меня, недоучку, не окончившего даже четырех классов гимназии и дерзнувшего служить музам... Притом еще и газетчика, который давал в «Рабочем пути» разные бытовые, уголовные и другие заметки. Ни профессор Иозеффер, талантливый математик, служитель науки, в которой я был полным профаном, ни профессор Драверт, признанный поэт, минералог и уже тогда занимавшийся проблемами космоса, не воспринимали меня, мальчишку по их понятиям,— мне же было чуть за двадцать,— серьезно. Во всяком случае, ты — иртышский мальчишка — был ближе мне, чем вся эта профессорская компания... Дело было только в возрасте. Семь лет разницы тогда казались очень большими...

И все ж все это было не совсем так. Мартынов уже в те годы отличался глубоким пониманием современности, умел смотреть вперед, об этом достаточно убедительно говорят его ранние стихи, и, конечно, по знаниям, по общему развитию, по житейскому опыту намного опережал меня. Работая в газете корреспондентом, он сталкивался с многими явлениями тех лет, как положительными, так и отрицательными. Ему уже в ту пору было присуще острое чувство времени. Именно оно спасало его от подражательности — истинным источником его творчества была жизнь, ее движение. Даже увлечение футуризмом в юные годы никак не отразилось на его поэзии, недаром он писал в своем раннем стихотворении (1921) тогда — «мы футуристы невольные...». Стихи ранних лет поэта носят признаки *мартыновских* стихов, их не спутаешь со стихами других поэтов того времени. Его удивительное писательское дарование проявилось сразу, и не только в поэтических произведениях, но порой и в самых, кажется, обыденных газетных корреспонденциях. В боль-

шинстве из них виден угол зрения таланта, смотревшего дальше и глубже нас, обычных людей. И лишь потом, когда мы сблизились, выяснилось, что среда, в которой мы жили — и семейная, и дружеская,— имела много сходных черт. Наши матери были сельскими учительницами, отцы — выходцы из неграмотных низов дореволюционного общества, пробившиеся в жизни своим трудом. Мы читали одни и те же книги, оба были непоседами, и того и другого занимала история края...

Я не сразу разобрался в этом. А когда начал понимать и почувствовал себя в силах сблизиться с Мартыновым, он почти уже не бывал в Омске. Корреспонденции его шли из Казахстана, из Кузбасса, с целинных земель Прииртышья, с Алтая, из Средней Азии, со строительства Турксиба.

В журналах «Сибирские огни», «30 дней», в газетах то и дело появлялись его очерки на острые темы, насыщенные конкретными фактами, именами. Они были полны верой в перемены, которые приносит Советская власть на окраины страны, порой восторженным отношением к перспективам, открывавшимся молодому журналисту...

Дружбы с Мартыновым у меня в те годы так и не получилось, несмотря на многие встречи. Но все, что попадалось мне на глаза из прозы и стихов Мартынова, уже воспринималось мною как что-то очень близкое, уже неотделимое от самого себя. Особенно это ощущение стало сильным в начале 30-х годов, когда мне пришлось побывать в тех же местах европейского севера, где тогда был и Мартынов, и, не встречаясь с ним лично, читать в газетах и журналах Вологды и Архангельска его стихи и заметки...

Прошло отрочество, наступила юность, появились новые заботы, планы. Время было сложное, жизнь заставляла нас рано взрослеть. Я начал печататься в журналах и газетах...

Во второй половине 1935 года Мартынов приехал в Омск и вместе с женой — Ниной Анатольевной Поповой, вологжанкой,— поселился на улице Красных Зорь, в доме, где жил и раньше. Теперь мы встречались в редакциях газет, в издательстве, которое недавно возникло в Омске. Мы перешли на «ты», звали друг друга по именам, но близости еще не было, мы как бы присматривались друг к другу...

Сближение произошло неожиданно...

В четвертом номере журнала «Сибирские огни» за 1937 год появилась поэма Мартынова «Правдивая история

об Увенькае, воспитаннике школы толмачей в городе Омске». Поэма поразила меня при первом же чтении. Получив журнал, я уже не расставался с ним, читал и перечитывал поэму, ощущение необыкновенной волшебной находки не оставляло меня. С каждым прочтением я находил в поэме новые и новые достоинства. Удивительным было проникновение Мартынова в прошлое, необыкновенно выразительными рисовались мне картины Омска, крепости, Иртыша, живыми вставали персонажи поэмы, казалось, она дышала воскресшей историей. Самым удивительным был язык поэмы — свободный, разнообразный, гибкий, удивительно музыкальный и, что больше всего меня поражало в нем — при чтении забывалось, что поэма написана стихами, ни тени условности в ее тексте не было, в поэму входил, как в жизнь, захваченный сразу же течением ее действия, персонажами, музыкой слова. Казалось мне, что Мартынов достиг в этой поэме высшего мастерства, когда не замечаешь формы произведения и в то же время единение писателя с читателем достигается именно через эту форму, через ее совершенство. Такое ощущение появлялось у меня ранее при чтении поэм Пушкина и Лермонтова... Так примерно думал я о поэме Мартынова в то время...

Я читал поэму с карандашом в руке, испещрил ее пометками, подчеркиваниями, восклицательными знаками. Я уже не мог молчать о ней, мне казалось, что ее должны знать все, разделять со мною восхищение ею, я надоел своим близким разговорами о ней и чтением вслух отрывков, прочно осевших в моей памяти, рассказывал о поэме в редакциях газет, в издательстве, знакомым. Пытался я начать разговор о поэме и с ее автором, но Мартынов как-то уклонялся, избегал разговора о своих напечатанных вещах, и беседы у нас не получалось. А тут произошел казус — один из омских литераторов «предупредил» Мартынова, что я готовлю разгромную рецензию на «Увенькая»...

Положение Мартынова в то время было крайне неустойчивым. Он жил только литературным трудом, возможности которого в Омске были ограниченными. Жена Мартынова работала секретарем-машинисткой в одной из омских контор, получала мизерную плату. Поэма Мартынова «Патрик», напечатанная год тому назад в «Сибирских огнях», была встречена прохладно... Словом, жилось Мартыновым нелегко. От того, как будет встречена поэма об Увенькае критикой, зависело многое в жизни и даже в судьбе Мартынова...

Одним из свойств натуры Мартынова было то, что он никогда не уклонялся от опасности — явной или воображаемой,— а всегда шел ей навстречу... В теплый день «бабьего лета» он пришел ко мне на Кузнечную улицу (ныне улица Маяковского), где я жил тогда,— объясняться. Ранее он не бывал у меня, а я у него дома. Его приход обрадовал меня...

Но Мартынов был каким-то странным. Он прятал свои глаза от меня, был напряженным и отчужденным. Я сразу же почувствовал это и тоже напрягся, следя за тем, как Мартынов, отказавшись сесть на стул, ходил из угла в угол, говорил что-то пустяковое, противоречащее его виду и той внутренней скованности, которая исходила от него. Он не умел фальшивить и притворяться.

Чувство неловкости все более охватывало меня...

Мартынов был в белой рубашке с короткими рукавами, в старых, много раз стиранных и хорошо отглаженных белых брюках и дешевых матерчатых полуботинках, старательно начищенных зубным порошком... Странно, но эти дешевые полуботинки, такие же, как и у меня, неожиданно сняли неловкость встречи, и я, еще не понимая, чем вызван приход Мартынова, просто желая помочь ему и себе, вынул из ящика моего стола — кухонного, на письменный я еще не заработал,— номер журнала с «Увенькаем», раскрыл его, готовый передать Мартынову то необыкновенное чувство радости, которое охватывало меня при чтении этой поэмы...

Но прежде чем я сказал слово, Мартынов увидел текст поэмы, испещренный моими пометками, подчеркиваниями и знаками на полях...

Лицо его сразу стало жестким, угловатым, глаза потеряли голубизну и уставились на меня.

— Так! — сказал он, выпячивая нижнюю челюсть, что, как я уже потом начал понимать, означало у него крайнюю степень возбуждения.— Так!.. Значит, правда, что мне сказали!..

— Что сказали? — спросил я.

Мартынов молча пересек комнату, вернулся ко мне и, бешено взглянув на меня, взорвался:

— Что ты понимаешь в поэзии, ты — мальчишка!.. Ты же ничего не смыслишь...

Это было так неожиданно... Я молчал, глядя на Мартынова, а он, уставившись на меня побелевшими глазами, скривив рот, процедил сквозь зубы:

— Показывай, что ты там натворил!..

И тут мне все стало ясно... Чувство несправедливости и обиды подкинуло меня, я вскочил стула и, встав перед Мартыновым лицом к лицу, заикаясь со волнения, накинулся на него, говоря... Впрочем, не буду повторять, что я наговорил тогда, мы оба были слишком возбуждены, чтобы выбирать выражения,— он, обвиняя меня в том, что я, ничего не смысля в поэзии, хочу опорочить его работу из мелкой зависти, а я его — в легковерии и потакании гнусным сплетням...

После бурной перепалки истина прояснилась. Мартынов успокоился, глаза его снова стали голубыми, но я, возмущенный наговором, не мог успокоиться, порывался немедленно пойти к виновнику сплетни и с помощью физических мер доказать ему, что он подлец и негодяй...

Мартынов остановил меня:

— Не нужно, Виктор... Может быть, тебя не поняли, да и я погорячился зря...

И мы вместе пошли на улицу Красных Зорь, к Нине Анатольевне, которая, как поведал мне Леонид, была расстроена не меньше, чем он сам.

По дороге, а она была не длинной и шли мы быстро, случившееся стало восприниматься нами уже в комическом виде...

Едва переступив порог маленькой, без окна, комнатки, где жили тогда Мартыновы, Леонид сказал жене, сидевшей на кровати с книжкой в руках, которую, судя по ее озабоченному виду, она не читала:

— Не волнуйся, Ниночка, все оказалось неправдой... Виктор наш друг.

И тут я увидел, как мгновенно переменилось лицо Нины Анатольевны, как слетели с него озабоченность и тревога, и стало оно милым и красивым, хотя и были его черты самыми простыми. Прекрасными, меняя лицо, стали ее глаза, взглянувшие на меня...

В этот вечер, беседуя о разных разностях, мы долго сидели за маленьким столиком-тумбочкой в тесной комнатке, скорее закутке, где помещался только один стул, предоставленный гостю. Мартыновы сидели на кровати, застеленной серым суконным одеялом...

С этого дня наша дружба, которая исподволь подготовлялась уже давно, стала житейским фактом и не нарушалась до смертного часа Нины и Леонида Мартыновых...

«КАК ЭТОТ САМЫЙ МИР ВОЗНИК...»

В сентябре 1939 года Леонид Мартынов и я были командированы в Тобольск. Исполнялось 75 лет со дня рождения украинского поэта-демократа Павла Грабовского, погибшего в 1902 году в тобольской ссылке. Из Омска в Тобольск вместе с нами ехала на пароходе и делегация украинских писателей — Б. Буряк, П. Вильховый и А. Киселев. Была с нами и Нина Анатольевна.

Путь в Тобольск лежал по Иртышу — мимо редких селений, мимо берегов, поросших нескончаемыми сибирскими лесами, о которых еще в конце XVII столетия Милеску Спафарий — молдавский ученый, литератор, дипломат, проехавший через Сибирь с русским посольством в Пекин,— писал, что лес этот простирается «до самого Окианского моря, который преславной есть и превеликой и именуется от землеописателей по-эллински «Эркиниос или», а по латыни «Эрциниос сильва», то есть Эрцинский лес, и тот лес идет возле берега Окиана и до Немецкой и Французской земли и далее, чуть не по всей земле...».

Далеко окрест были видны берега, уже раскрашенные красками осени. Мы часто находились на палубе,— дни стояли погожие,— любуясь картинами, которые открывались нам после плавных поворотов реки...

Я ехал в Тобольск уже не впервые — однажды и навсегда очаровал меня этот город, словно короной увенчанный белостенным каменным кремлем, единственным в Сибири. Леониду Мартынову, много ездившему по Зауралью, здесь бывать еще не доводилось. И тем не менее он подарил уже читателям неповторимый облик этого старинного русского города на Иртыше. В поэме «Рассказ про Федьку-варнака и про Ильюшку ямщика», напечатанной в 1939 году в журнале «Сибирские огни», Мартынов точно, не погрешив даже в малом, воссоздал древнюю столицу края; трудно было поверить, что он не бывал в ней ранее. Впоследствии Мартынов кое-что изменил в поэме, дал ей новое название — «Тобольский летописец»,— свидание с Тобольском не прошло даром. Однако изменения, внесенные в поэму, не касались облика этого города. Мартынов безошибочно передал его и в журнальном варианте, изучив город по старинным книгам...

В Тобольске, после работы в архиве и музее, мы знакомились с городом. Часами ходили по его улицам и переулкам, мощенным толстенными плахами. В обликах домов,

многие из которых были построены еще в XVII и XVIII веках, массивными стенами напоминавшие крепости, в разнообразии архитектурных стилей тобольских храмов в нижней части города — от готики до пышного барокко,— в стреловидных минаретах за Абрамовским мостом, в каменном ущелье Прямского взвоза, сооруженном пленными шведами,— во всем этом была слышна поступь истории, скрыты переломы людских судеб...

Мы поднимались на крутую двадцатипятисаженную береговую гору, стояли под мраморной пирамидой памятника Ермаку Тимофеевичу на Чукманском мысе, восхищались Рентереей, изумительным творением Семена Ремезова, любовались великолепной резьбой оконных наличников и надворотных плах, дивились мастерству безвестных строителей многочисленных тобольских церквей. Город словно сбрасывал с себя покрывала, надетые на него столетиями, книгами, рассказами знакомых нам тоболяков, и представал перед нами в своей первозданной сущности...

Мы выходили в Подчуваши, на Княжий луг, где произошло последнее, решающее сражение Ермаковых казаков с войском Кучума, бродили по пристани, полной запасами пиленого леса и смолы, спускались в подвальчики и вместе с громогласными иртышскими матросами и водоливами пили там водку из мутно-зеленых бутылочных стаканов, закусывая ж и в о й стерлядью, уничтожали в столовой горы пельменей — стародавнего тобольского угощения...

Мартынов во время этих прогулок видел много и зорко, в своей целеустремленности он был похож на одержимого, впрочем, так оно и было, мы оба тогда были одержимы этим великолепным городом, подобным для нас интереснейшей книге, и если бы Нина Анатольевна не возвращала нас к реальности, мы, наверное, и ночами бродили бы по Тобольску, впитывая в себя его звуки, запахи, краски... Одержимость Леонида Мартынова была особой. В ней не было поверхностного, только чувственного восприятия увиденного. Он входил в Тобольск, в его жизнь, в прошлое и настоящее, как во что-то вполне естественное для него, словно давно знакомое. Его одержимость была рабочим состоянием, в нем в эти дни шла тайная, незаметная для постороннего глаза работа. Потом, спустя много времени, читая его стихи, вдруг наталкиваешься на какую-нибудь обыденную деталь, мимо которой в свое время ты прошел без внимания, а Мартынов заметил и отметил ее и, оттолкнувшись от нее, создал поэтический шедевр...

Я узнавал в стихах и поэмах Мартынова, написанных после этой поездки, то тюменские ковры, развешанные на стенах музея, то гравюры из старинных книг, виденных нами в книжном древлехранилище (и то и другое появилось в поэме «Домотканая Венера»), то остатки древнего городского вала в верхнем городе, вдоль которого мы как-то гуляли вечером... Описание леса в книге Спафария и картины бесконечного урмана на берегах Иртыша, который мы видели, едучи в Тобольск, дали толчок стихотворению «Эрцинский лес»; упоминание в сибирских легендах и летописях о Лукоморье и Златой Бабе преобразились в прекрасные стихи... Все эти впечатления обогащались в стихах ассоциациями, богатым знанием прошлого, настоящего и мыслями о будущем...

Тобольск вдохновил Леонида Мартынова и на книгу «Повесть о Тобольском воеводстве», написанную прозой, удивительной прозой поэта... Я помню, как он читал первые главы этой книги в той темной запечной каморке, где дверь заменяла занавеска... В этом закутке были написаны Мартыновым большинство поэм и сотни стихотворений, которые увидели свет только спустя многие годы...

Венгерский друг поэта Антал Гидаш как-то назвал Леонида Мартынова — беспощадный оптимист. Это определение, на первый взгляд странное, как нельзя точно характеризует поэта — невзирая на труднейшие условия быта, на тяжелую атмосферу, которую создавали вокруг него некоторые критики, Мартынов всегда находил в себе силы для работы. Он беспощадно подавлял слабость и отчаяние, которое подчас охватывало и его...

Мы уезжали из Тобольска спустя день, после того как на берега Иртыша пришла весть о начале освободительного похода нашей армии в Западную Белоруссию и Украину. Был митинг. Мы слушали речи и вспоминали украинских друзей, которые уже покинули Тобольск. В этот час особенно остро ощущалась связь между Тобольском и далекими от него западными землями России. Много выходцев из Львовщины и Волыни, Подолии и Беловежья, Гуцульщины и Галиции были в минувшие времена жителями этого города на Иртыше, оставили свой след в архитектуре церквей и домов, в рассказах и легендах о прошлом...

Потом мы пошли на старинное тобольское кладбище, которое называлось Завальным, ибо находилось за древним валом, возведенным еще сподвижниками Ермака,— предмостным укреплением тобольского кремля... Долго бродили

мы по его сумрачным аллеям... А после этого в поздний вечерний час сидели в комнатке с побеленными стенами, которая была предоставлена нам троим,— гостиницы в Тобольске тогда не было,— и мы вновь и вновь, как бы итожа тобольские дни, возвращались к увиденному и услышанному...

На город, на его деревянные мостовые, на бревенчатые стены домов с кружевами оконных наличников, на купола церквей и стены кремля опускалась медленно долгая осенняя ночь... Из сгущавшейся темноты, казалось, проступало то тревожное, что надвигалось на нашу страну в эти предвоенные годы, что было слышано и пережито нами на городском митинге несколько часов тому назад. Радость от вести освобождения западных земель нашей родины омрачалась горьким сознанием — сапоги немецких солдат уже топтали землю самой близкой к нашим границам славянской страны...

В промежутках
Между штормами
Воды кажутся покорными.

В промежутках
Между войнами
Очень трудно быть спокойными...

Мы пытались заглянуть в грядущее. Уже тогда нам виделось многое, это, конечно, не назовешь предвидением, скорее это была поэтическая мечта. Мы знали прогнозы Дмитрия Ивановича Менделеева о судьбах Зауралья и других ученых, внимание которых было обращено к Сибири. В Омском музее, с которым мы состояли в большой дружбе, хранилась карта с отметками нефтяных и газовых выходов по берегам рек, в болотах Обь-Иртышского междуречья и Приуралья. Наш добрый знакомый, старый коммунист П. А. Россомахин — человек большого ума, житейского опыта и широких знаний — верил в предвидение академика Губкина, говорил нам о реальных перспективах поисков нефти и газа в Западной Сибири. Леонид Мартынов работал над рукописью Россомахина о гражданской войне в Северном Приобье, часто беседовал с ним...

Не зажигая света, вели мы свой тихий разговор... От событий дня, от попыток заглянуть в будущее мы перешли к прошлому, с которым соприкоснулись во время прогулки по Завальному кладбищу. Судьбы многих и многих замечательных людей, чьи имена мы видели на памятниках, стали для нас как бы мостиком из минувшего в современность. Мы воочию, остро и ярко ощутили великий закон связи

времен, без понимания которого история мертва... Крупицей, которую достаточно бросить в концентрированный раствор, чтобы начался мгновенный процесс кристаллизации, стали слова Нины Анатольевны, женщины мудрого и доброго сердца.

— А вы заметили,— сказала она,— что хорошие люди и на кладбище рядом друг с другом...

И мы как бы заново увидели, что Вильгельм Кюхельбекер и автор «Конька-горбунка» Петр Ершов, скрасивший последние дни жизни декабриста; Петр Словцов, тобольский вольнодумец, побывавший в руках кнутобойца Шешковского, домашнего палача Екатерины II, и врач-декабрист Фридрих Вольф, оставивший светлую память у тоболяков; поэт Павло Грабовский, завещавший похоронить себя рядом с декабристами, и отец великого Менделеева — Иван Павлович Менделеев,— все они покоятся на кладбище недалеко друг от друга, как бы и здесь, в обители мертвых, образуя некое знаменательное содружество...

Аллеи Завального кладбища были пустынны и сумрачны. Деревья-великаны стояли еще в листве. Но близок был срок — осенний ветер обнажит их ветви... Поднимутся над могильными холмиками золотые надгробья из павших листьев — прощальный привет уходящего лета перед долгим зимним сном... Через несколько лет вырастет такой же червонный холмик и над последним пристанищем Марии Николаевны Костюриной — с ней мы встретились несколько дней тому назад. Семидесятилетняя женщина, в которой были живы воспоминания прошедшего века, сидела на крыльце старого бревенчатого дома. Беседа была скупой на подробности. Народоволка, жена Виктора Федоровича Костюрина, народника 1870-х годов, она смотрела на нас старыми мудрыми глазами, настороженно и с опасением... Времена стояли сложные... Так и расстались мы, не сказав друг другу нужных слов, не расспросив ее о далеком прошлом, о ее муже, носившем революционное имя Алеша Попович, богатыре, каторжанине, а потом жителе Тобольска; ушли, унося с собой чувство виноватости перед этой старой женщиной, чья молодость была отдана во имя будущего, то есть и ради нас...

Ощущение движения истории не покидало нас во все время этой поездки. Особенно сильным оно было у Мартынова. Именно тогда мне стала ясна одна из главных черт его творчества — восприятие сегодня как мига перехода от минувшего в грядущее. Исторические события, биографии

людей, их взаимосвязанность воспринимались им как узлы пересечения путей, ведущих из прошлого в будущее:

О человек,
Следы твоей ноги
Ясней всего во времени я вижу,
Как шел ты от Лютеции к Парижу,
К Улан-Батору от Урги...

Поездка в Тобольск закрепила и расширила понимание Мартыновым исторических процессов, как бы подвела итог сложному и важному периоду творчества поэта, начавшемуся до 1930-х годов и прошедшему через понимание исторических судеб европейского Севера нашей страны, связей их с прошлым Сибири и зарубежным миром. После поездки в Тобольск Мартынов завершает работу над поэмами на исторические сюжеты — в 1940 году в Москве и в Омске выходят из печати два его сборника, в которые вошли 12 таких поэм, пишет книги по истории Омска («Крепость на Оми») и «Повесть о Тобольском воеводстве»... На этом он расстается с историческими сюжетами, его талант уже полностью отдан современности и будущему, хотя прошлое, точнее движение истории, всегда присутствует в его поэтических произведениях...

Из Тобольска в Тюмень мы выехали на автобусе. Пассажиры были разные: командированные с раздутыми портфелями, обитатели сел и деревень с тяжелыми мешками на плечах, несколько военных... При посадке шофер стойко отражал натиск штурмующих автобус... Нам достались места в последнем ряду...

На ухабах, а их было немало и на улицах города и на пути к переправе, автобус наш издавал странные звуки, похожие на стоны старой телеги...

У переправы через Иртыш близ Подчувашского мыса мы оказались в хвосте громадной очереди: машины, телеги, люди, скот. С противоположного берега, далекого, порой закрываемого полосой дождя, доносились крики, призывающие паром, они долетали до нас похожими на имя перевозчика грешников через Стикс... А над очередью, как рой навозных мух, вилась непрекращающаяся брань...

— Мы на пороге неприятных событий,— мрачно заметил Мартынов. Помолчал и философски добавил: — Впрочем, мир всегда на пороге событий...

Тогда я не обратил внимания на созвучие криков из-за реки, призывающих паром, с именем загробного перевозчи-

ка, но в память Леонида Мартынова это запало, послужило толчком к созданию одного из замечательных его стихотворений «Переправа»:

Туман. Река. Клубятся облака.
Я жду. И вместе ждут у переправы
Охотники, солдаты, гуртоправы,
Врачи, крестьяне... Всех томит тоска.
Толкуют, что сюда не для забавы
Пришли. И переправа не легка.
И вообще дорога далека...
Так говорят. И я в ответ:
— Вы правы! —
Тут кто-то вдруг: — Паром! Паром! — кричит,
А изо мглы не эхо ли звучит:
— «Харон! Харон!»
Я слышу это имя...

Через Иртыш мы переправились поздно вечером, в сумерках. Автобус с натугой поднялся на береговой увал, и мы покатили по старинному сибирскому тракту. Быстро стемнело. Освещенная желтыми фарами, дорога бросалась под колеса автобуса, по обочинам ее темнел лес... Шофер, чтобы не заснуть, пел песни, перемежая старинные ямщицкие с современными, две женщины, сидевшие рядом с ним, подпевали ему, а когда он вдруг замолкал, толкали его кулаками под бока и пронзительными голосами, от которых мы вздрагивали, затягивали проголосную...

Все было фантасмагорично в эту ночь, на зыбкой грани прошлого, настоящего, будущего...

Переполненные впечатлениями, томимые смутными предчувствиями предстоящих испытаний, мы мчались этой ночью на запад от Тобольска, и история каждое мгновение настигала нас, и не только в песнях ямщика-шофера...

...лес, бесконечный, темный, свидетель многих событий минувшего и настоящего, хранитель бессчетных сокровищ, которые еще будут открыты, переполненный душами погибших на этой страдной российской дороге, проносился мимо, перемежаясь с пустолесьем...

...деревни и села мелькали в темноте черными безмолвными силуэтами, то с церковью, то с мечетью в центре, охваченные глубоким сном...

...Ермак и опальный Меншиков, пленные шведы и французы из войска Наполеона, сотни тысяч кандальников, позор царской России — Распутин, чья деревня в темноте пронеслась мимо,— молодая слава Советской Республики, солдаты Блюхера, громившие в этих местах армии Колчака...

...в полночь, скрипя и жалуясь на свою судьбу, автобус подъехал к другой переправе, через Тобол, и снова в темноте кричали: «Паром!.. Паром!..» — а слышалось: «Харон!.. Харон!..»

Нина Анатольевна дремала, сидя между нами, иногда спрашивая, где мы едем, далеко ли еще осталось до Тюмени... Мы же не спали всю ночь, полные необычного ощущения движения истории. Потом мы не раз возвращались к этому ночному пути, к дороге, которая кончилась только в рассветных сумерках на улицах Тюмени, и каждый раз ощущение ее необычности вставало перед нами. Во многих стихотворениях Мартынова я находил отголоски ощущений, мыслей, слов, которыми мы обменивались во время этого ночного пути...

Спустя много лет, уже в Москве — сначала в тесной комнатке на Одиннадцатой Сокольнической, а с 1957 года в квартире на Ломоносовском проспекте, где стали жить Мартыновы, впервые за свою жизнь обретя скромное, но вполне удобное человеческое жилье,— мы нередко вспоминали нашу поездку в Тобольск. Она еще больше сблизила нас, троих... И каждый раз во мне возникало радостное чувство — судьба подарила мне великое счастье побывать в сказочном Тобольске вместе с Мартыновыми, пожить с ними одной жизнью и как бы проникнуть в самое сокровенное поэта — его внутренний мир, присутствовать при зарождении его произведений...

ГОДЫ ВОЙНЫ...

21 июня 1941 года, вечером, Леонид Мартынов, Нина Анатольевна и я, как часто бывало летом после дневных забот и дел, переправились на лодке через Иртыш. На противоположном берегу, пустынном в те годы, было удобное, давно облюбованное нами местечко, где мы и расположились...

После купания, сидя на скамейках лодки, обсыхая, мы продолжали разговор, начатый еще днем. Предстоял очередной «литературный понедельник», на котором должна обсуждаться недавно вышедшая книга Мартынова «Крепость на Оми» о прошлом Омска. Мартынов не был спокоен, он видел, как это обычно бывает, когда держишь в руках уже напечатанную книгу, ее недостатки. Видел их и я, правда, иные, чем он. Мартынов не во всем был согласен со мной. Вот

мы и спорили. Нина Анатольевна пыталась выступать в роли примирителя...

— Ленечка,— говорила она,— не спорь с Виктором, он же прав, ты действительно многое упустил...

Мартынов выпячивал нижнюю челюсть и сердился:

— Я же не летописец, не фиксатор фактов!..

И у нас начинался давний спор об отношении писателя к историческим фактам. Мартынов утверждал, что ему нужен факт не сам по себе, а как трамплин, оттолкнувшись от которого увидеть как бы с высоты, прошлое и будущее...

Перед нами лежал освещенный закатным солнцем город, об истории которого мы говорили. Черты нового в его облике просматривались еще слабо. Дома были преимущественно одноэтажные, реже двух-трех этажей, к реке, как и большинство сибирских городов, он стоял тылом — складами дров, горами бревен, свалками мусора... Крупные чайки — мартыны — лениво пролетали у берега, высматривая рыбешку. Над городом, над рекой, мирно шел летний вечер...

На следующий день, рано утром, я уехал на велосипеде за город. Это была моя обычная воскресная прогулка. День начинался ясным, тихим, жарким. Город еще спал. Я быстро проехал по Сыропятскому шоссе, миновал Биокомбинат, безмолвный в этот ранний час, и свернул на проселочную дорогу. Долго, не спеша, я колесил между березовыми колками, между полями, на которых озимка уже выбрасывала колос, отдыхал на опушках леса. Думалось хорошо, вставали передо мной герои будущего романа, наполовину уже написанного,— жители Большой реки,— прояснялись сюжетные линии. Порой издалека доносились крики «Ура!», звуки маршей... Я не придавал этому значения — под городом были военные лагеря, куда по воскресеньям обычно приезжали шефы, встречались с красноармейцами, проводились спортивные соревнования, митинги...

Сделав более ста километров, к середине дня, я вернулся в город. На улицах было необычно многолюдно, люди толпами возвращались из Новой загородной рощи, где должно было проходить празднование сабантуя. Кучки горожан, о чем-то оживленно говорившие, виднелись то там, то здесь... Я видел все это как бы краем глаза, фиксировал, не осмысляя, занятый своими думами, желанием скорее добраться до письменного стола...

Отец открыл мне двери и сразу же сказал:

— Война!..

Все мгновенно встало на свои места — и крики «Ура!» в лесу, и многолюдие на улицах...

В воскресной газете о войне не было ни слова. Ее полосы заполняли мирные сообщения — публиковалось письмо мастеров комбайновой уборки, рассказывалось об успехах ишимских железнодорожников, о футбольном матче между сборной СибВО и Омской командой «Динамо»...

Среди городских новостей было и объявление, которое я, как ответственный секретарь областной литературной организации, дал в «Омскую правду» несколько дней назад:

Завтра, 23 июня, в ОМГИЗ'е (помещение «Омской правды») состоится очередной литературный понедельник — обсуждение книги Леонида Мартынова «Крепость на Оми». Начало в 7 ч. 30 м. вечера. Вход свободный.

Это был уже в ч е р а ш н и й день... Номер газеты печатался ночью, до известия о начале войны... Но поэтический образ, вынесенный Мартыновым в название книги, стал реальностью нового дня. Омск, как и все наши города, приобретал теперь значение к р е п о с т и, в которой ковалось оружие победы...

Обо всем этом мы и говорили вечером, на терраске, куда летом переходили жить из своей каморки Мартыновы...

Настроены мы были оптимистично — уверены, что война быстро завершится нашей победой. К этой мысли нас приучали все последние годы...

Утром следующего дня мы были в редакции газеты «Омская правда» и получили первые задания. Однако все, чем мы начинали жить в условиях военного Омска, казалось тогда мне не самым важным, самое главное было т а м!.. На третий день войны я отнес в военкомат заявление, в котором просил отправить меня на фронт. В армии я не служил, бывал только на кратковременных сборах. Заявление мое приняли и сказали: «Ждите!..»

Эти дни, которые, наверное, никогда не изгладятся в памяти, и сейчас встают передо мной до мельчайших деталей. Леонид Мартынов открывался мне теперь по-новому. Кажется, я хорошо знал его, и его характер, и его поведение в различных житейских обстоятельствах, порой сложных, а виделся он мне сейчас совсем иным. Он как бы внутренне подобрался, отбросил все, что теперь было лишним. Мы уже не спорили, как раньше бывало, он не строил планов на будущее, отбросил все замыслы, которыми раньше делился со мной охотно.

В первом же номере газеты «Омская правда», вышедшем после начала войны, он публикует стихотворение «Мы встали за отечество!»:

Мы встали за отечество, за Родину свою,
Вы нашу не разрушите великую семью...

Я помню, как он писал его, примостившись в редакции на краешке стола, писал, не обращая внимания на треск пишущей машинки, на разговоры, на телефонные звонки... И это было для меня новым — обычно Мартынов работал по утрам, уединившись. Нина Анатольевна просила не беспокоить его в эти часы. Теперь же он работал где угодно, в каких угодно условиях.

Стихотворение сразу пошло в набор и было напечатано на второй полосе газеты, в окружении отчетов о митингах трудящихся на заводах, на фабриках, в колхозах и селах[1]. Это было первое военное стихотворение Мартынова, за которым последовали многие другие. Он пользуется теперь простыми и ясными понятиями, выражающими только самое главное, то, чему сейчас нужно отдавать силы. Его стихи, очерки, заметки и другие выступления в газете в первые дни войны полны оптимизма, веры в скорую победу над врагом. В отзыве на книгу стихов И. Эренбурга «Верность», опубликованную в газете на третий день войны, Мартынов пишет: «Европа, столь любимая поэтом Европа, не погибнет. Ночь сменится рассветом...» И тут же уверенно добавляет: «Рассвет уже близок...»[2]

Нам казалось это правдой — близкий рассвет после короткой ночи войны... Мы не хотели — да и не могли — думать, что война затянется на годы, унесет миллионы жертв, нам казалось, что мы быстро выбросим захватчиков с нашей земли и победно закончим войну на земле врага... Да и по своему характеру Мартынов всегда старался видеть впереди лучшее, а не худшее. Он испытал в жизни немало тяжелого, несправедливого и выработал в себе своего рода защитную реакцию — как бы ни было тяжело, всегда нужно надеяться на лучший исход...

Каждый день Мартынов приходил в редакцию газеты, получал задания. Из номера в номер печатались его стихи, репортажи, очерки, заметки. Снова, как и в дни молодости, его можно было увидеть в самых неожиданных местах — на железной дороге, на пристани, на заводе, в колхозе, в шко-

---

[1] «Омская правда», 1941, 24 июня.
[2] «Омская правда», 1941, 25 июня.

лах, на окраине города... Как и тогда, работая рядовым корреспондентом газеты, он был неутомим в поисках материалов, не считался ни со временем, ни с расстояниями, всегда быстро и добросовестно выполнял задания редакции.

А сводки с фронта становились все тревожнее. Враг продвигался по Украине, по Белоруссии, по Прибалтике. В Омске появились эвакуированные...

В июле я получил повестку...

Накануне дня явки в военкомат, закончив сдачу дел литературного объединения и нашей писательской библиотеки, вечером я зашел к Мартыновым попрощаться. Нина Анатольевна говорила мне разные добрые слова, но с ее лица не уходила тревога. Я пытался отшучиваться. Мартынов больше молчал. Он пошел проводить меня...

Мы вышли на берег Иртыша. Вдали, вниз по течению, по-мирному сверкая огнями, уходил пассажирский пароход...

Молча мы смотрели на реку, которая так много значила в нашей молодости, и лишь изредка, тая друг от друга тревогу расставания, может быть навсегда, перебрасывались какими-то ничего не значащими словами...

Потом повернули от Иртыша и по темным улицам дошли до моего дома. Ставни на окнах, по сибирскому обычаю, были закрыты, в их щели пробивался свет... Меня ждали...

— До свиданья, Виктор, пиши...— сказал Мартынов.— Я не оставлю твоих стариков...

Пожав друг другу руки, мы расстались.

На следующий день в это же время я лежал на верхних нарах в теплушке. Поезд уносил меня не на запад, как я надеялся, а на восток, в далекое Приморье, где и началась моя солдатская жизнь...

Жизнь Леонида Мартынова в военные годы мало известна читателям. Я знаю об этих годах не только из газетных и архивных материалов, из писем моих родителей, всю войну общавшихся с Мартыновыми, но и из рассказов самого поэта. Поэтому позволю себе, хотя бы кратко, рассказать о его творческой жизни в то время...

Лицо писателя в годы социальных испытаний и потрясений определяется не отдельными удачами или неудачами, а творческой деятельностью в целом, ее общественной направленностью, умением провидеть ход событий и донести это до читателя. Оценивать произведения писателя следует с учетом условий конкретного времени, иначе неизбежны ис-

кажения перспективы, ложное представление о степени воздействия произведений писателя на тех, для кого они предназначены — на читателей. С другой стороны, каждый новый период творчества писателя всегда обусловлен его предшествующей литературной и общественной деятельностью. Я говорю об этом лишь потому, что некоторые критики и рецензенты, оценивавшие творчество Мартынова в военные годы, забывали об этих общеизвестных истинах и искажали облик поэта. Большинство стихотворений Мартынова, вошедших в послевоенные сборники («Лукоморье», 1945; «Эрцинский лес», 1946), были написаны им в военные годы. Эти стихи отличаются ясным пониманием процессов истории, глубиной мысли и подлинным поэтическим мастерством. Они выдержали испытание временем, давно признаны достижением советской поэзии.

Работу Леонида Мартынова в печати в годы войны отличает оперативность, глубокое чувство патриотизма, непоколебимая вера в победу. Газетные материалы, опубликованные им в то время, конкретны в изображении людей, событий, действий, в них нет общих мест. Порой они плакатно резки, прямолинейны — таково требование времени — и всегда точно бьют в цель. В его газетной, подчас черновой, работе чувствуется рука мастера, прекрасно сознающего возможности слова. Сказывается хорошая журналистская школа, пройденная Мартыновым в молодые годы.

Одновременно с оперативной работой в газете Мартынов трудится и над книгами стихов — в 1941 году выходит его поэтический сборник «За Родину», в 1942 году — сборник «Мы придем», в 1943 году — сборник «Жар-цвет». Не все удачно в этих поэтических книгах, но оценивать их отрицательно, как пытались делать отдельные рецензенты, нельзя. В стихотворениях, сказках, балладах, сказах, вошедших в эти сборники, отчетливо видишь стремление поэта к наиболее яркому, сильному и доходчивому выражению мыслей и чувств, владевших людьми в те трудные годы, ощутим недюжинный темперамент поэта, его искренность в передаче чувства ненависти к врагу и уверенности в силах нашего народа, идущего к победе. Все эти произведения органически входят в творческую биографию поэта.

Не прекращал в годы войны Мартынов и работы над прозой. Кроме многочисленных статей, очерков, заметок, напечатанных в омских газетах, в газете «Хлеб — фронту», издаваемой выездной редакцией «Комсомольской правды» в Омской области, Мартынов печатает в газете «Красная

звезда» большой очерк «Лукоморье» — о сибирском тыле во время войны[1]. Очерк вызвал много откликов фронтовиков. Через два месяца в Омске была издана брошюра «Вперед за наше Лукоморье!»[2], в которую вошли расширенный очерк Мартынова и отклики фронтовиков на него. В эти же годы Мартынов работает и над «Повестью о Тобольском воеводстве», начатой после поездки в Тобольск в 1939 году. Тогда же завершена Мартыновым повесть об авторе «Конька-горбунка» П. П. Ершове, которую известный критик В. Александров оценил во внутренней рецензии «как очень талантливую и интересную»[3]. Деятельно участвует Мартынов и в «Окнах сатиры», выпускаемых в Омске. Его стихотворные подписи к рисункам «значительно обогащали работу художников и имеют самостоятельное значение» — так оценивала эту работу поэта газета «Омская правда»[4].

Леонида Мартынова в тяжелые военные годы не оставляла мысль о будущем, о том, какой будет жизнь после победы. Это видно и из его очерка «Лукоморье» и из других поэтических и прозаических произведений, появлявшихся на страницах печати в то время. Приведу только один пример: в газетном развороте «Судьба Омска», напечатанном в «Омской правде» 7 ноября 1942 года, Мартынов, продолжая тему города-крепости, выводит ее за пределы военных лет. «Замечательным городом будет Омск грядущих дней Победы,— пишет он,— это будет волшебный город-сад, стоящий на скрещении Великого трансевразийского железнодорожного пути с великим водным путем от Китая к берегам Ледовитого и Атлантического океанов...» Трудно было в те годы представить реальное будущее послевоенного Омска, но поэтическое зрение не обмануло Мартынова: Омск после войны стал подлинно городом-садом, повернулся к Иртышу фасадами многоэтажных зданий и многокилометровой прекрасной набережной... А тема о перекрестии путей истории, о поступательном движении человечества к будущему оставалась для Мартынова и в эти трудные годы главной темой. Для него не существовало обыденности, он всегда, даже в повседневных житейских впечатлениях, служивших ему

---

[1] «Красная звезда», 1942, 16 сентября.

[2] Мартынов Л. Вперед, за наше Лукоморье! Омск, 1942.

[3] Домашний архив Л. Мартынова. Первый и сравнительно небольшой вариант повести был напечатан в альманахе для детей «Соколята» (Омск, 1940) под псевдонимом Алексей Нагибин. Полная рукопись, которая, судя по пометке рецензента, имела 149 с., не найдена.

[4] Шапиро В. Кистью художника, пером поэта («Окна сатиры» в Омске»), «Омская правда», 1941, 2 ноября.

источниками для газетных заметок и статей, умел находить зерна будущего. Свое поэтическое кредо он выразил впоследствии в прекрасном стихотворении «Граница»:

Ты
Не почитай
Себя стоящим
Только здесь вот, в сущем,
В настоящем,
А вообрази себя идущим
По границе прошлого с грядущим.

Этому Мартынов следовал во всем своем творчестве и в военные годы. Он умел в настоящем видеть грядущее, и это питало его оптимизм в самые тяжелые времена...

Активной была деятельность Мартынова и по организации литературной жизни в Омске. Он печатает обзоры стихов, присылаемых в редакцию газеты, выступает с разбором произведений молодых авторов на городских литературных собраниях, сотрудничает с литературной частью театра им. Евг. Вахтангова, эвакуированного в Омск...

Остановлюсь еще на одной стороне работы Мартынова в годы войны, не освещенной в печати,— на его литературной деятельности во время военной службы.

В армию Мартынов был призван в сентябре 1943 года, после прохождения обучения в городском Всевобуче, и был зачислен курсантом в Омское пехотное училище имени М. В. Фрунзе. Командование поручило ему, не освобождая от обычных военных занятий, подготовку материалов к истории училища. Тема не была для Мартынова новой, он хорошо знал прошлое Омского кадетского корпуса, на базе которого и было организовано пехотное училище. Из стен корпуса вышло немало видных отечественных военных и ученых — Григорий Потанин, Николай Ядринцев, Чокан Валиханов, Валериан Куйбышев, Дмитрий Карбышев и другие. В «Крепости на Оми» Мартынов не одну страницу посвятил истории кадетского корпуса. Теперь он стал изучать историю училища после установления Советской власти в Сибири. В печати появляются заметки, статьи, очерки, отражающие жизнь училища, его прошлое, боевой путь его воспитанников, участие их в Великой Отечественной войне, подписанные курсант Леонид Мартынов.

На чтениях, посвященных 80-летию Л. Н. Мартынова, состоявшихся в мае 1985 года в Омске, выступил полковник в отставке Борис Феодосьевич Водолазский, который в годы войны командовал взводом одной из рот Омского пехотного

училища. В его подчинении был курсант Леонид Мартынов, занимавший в первом отделении взвода место правофлангового, он был самым высоким из курсантов. Б. Ф. Водолазский хорошо помнил Мартынова и рассказывал, что тот был дисциплинированным курсантом, но военная служба давалась ему нелегко, несмотря на все старания. Тянуться за молодыми курсантами ему часто бывало не под силу. В начале 1944 года, зимой, на тактических занятиях, Мартынов повредил ногу, три месяца пролежал в госпитале и был освобожден от строевой службы. Некоторое время он оставался в училище, заканчивая работу над составлением его истории, а потом был переведен в редакцию окружной военной газеты корреспондентом. В июле 1944 года Мартынов публикует в газете большой очерк о Валериане Куйбышеве. Завершается очерк описанием беседы Мартынова с солдатами Красной Армии в прифронтовой зоне — в освобожденном от врага Осташковском районе Подмосковья.

В конце 1944 года врачебная комиссия демобилизует Мартынова, и он по вызову Союза писателей уезжает в Москву, где проводится большой вечер, посвященный его творчеству. На вечере Мартынов читает стихи, написанные им в военные годы. В обсуждении приняли участие писатели П. Антокольский, И. Эренбург, М. Алигер, С. Марков, Н. Замошкин, П. Слетов, артист А. Горюнов, член-корреспондент АН СССР С. Бахрушин, академик ВАСХНИЛ Б. Завадовский. По возвращении в Омск Мартынов был избран председателем Областного литературного объединения. Он снова включается в работу по воспитанию молодых литераторов, продолжает сотрудничать в местной печати, заканчивает работу над книгой о Тобольске...

Вклад Мартынова в отечественную поэзию военных лет признан видными деятелями советской литературы тех лет. В своем докладе «Поэзия народа-победителя» в мае 1945 года Алексей Сурков говорил: «На протяжении всех военных лет читатели слышали голоса наших поэтов»[1]. Наряду с Исаковским, Твардовским, Лебедевым-Кумачом, Светловым он называет и Леонида Мартынова. Николай Тихонов в докладе на X Пленуме правления Союза писателей «Советская литература в 1944—1945 годах» свидетельствует: «Много стихов написано за войну, бесконечно много, и в этом море есть настоящие поэтические волны и есть рябь слабого поэтического дыхания». Отмечая лучшее, что было издано за

[1] «Литературная газета», 1945, 17 мая.

эти годы, Тихонов говорит: «Вышло «Лукоморье» Леонида Мартынова. Вышел однотомник Суркова, где собраны стихи, написанные им за время Отечественной войны. Голоса поэтической переклички шли по всему Союзу»[1].

После войны мы встретились в октябре 1945 года в Москве, где я после окончания училища служил в запасном полку, встретились мы на Тверском бульваре. У меня сохранилась запись об этой встрече. Мартынов был в поношенной рыжей куртке и берете вместо привычной по довоенному Омску коричневой шляпе, я же в шинели. Мы издалека узнали друг друга, кинулись навстречу, обнялись и после бестолкового, перескакивающего с предмета на предмет разговора отправились, по обычаю тех лет, в «забегаловку», которых тогда в Москве было немало, «обмывать» нашу встречу...

Словно и не было разлуки, испытаний военных лет, казалось, только вчера мы расстались под окнами моего дома на темной улице Омска... Однако в облике Мартынова явно проглядывали перемены, которые я сразу заметил. Вызваны они были, скорее, не возрастом, а житейской неустроенностью. Он похудел, впалые щеки прорезали морщины, на куртке сверху не было пуговиц, ничем не прикрытая шея была обнажена...

Потом мы пошли ко мне, на Бакунинскую улицу, где я жил. И там началось стихотворное пиршество — Мартынов читал стихотворение за стихотворением из своей новой книги «Чистое небо». Стихи были превосходны, я впитывал их как свежую чистую воду после томительной жажды...

Расстались мы поздно. Отправили совместное письмо Нине Анатольевне в Омск. Я пошел провожать Мартынова, и мы незаметно дошли опять до Тверского бульвара, до Дома Герцена, где в то время были квартиры писателей. У одного из них на эту ночь остановился Мартынов... Тут мы и расстались...

Я шел по улице Горького, полный необыкновенного чувства радости, похожего на предутреннее ожидание теплого солнечного рассвета после холодной ночи. Я был счастлив, что мы опять вместе, и хотя уже начинал понимать, что впереди таится немало сложностей, но это не колебало моей веры в то, что прекрасные стихи, которые я только что

---

[1] «Литературная газета», 1945, 17 мая.

услышал от Леонида Мартынова, дойдут до читателя и найдут признание...

В начале 1946 года Моссовет по ходатайству писательской организации выделил Мартынову комнату в ветхом, многонаселенном доме. К этому времени я уже демобилизовался. В первых числах апреля из Омска приехала Нина Анатольевна, и мы опять все были вместе, даже и жили недалеко друг от друга, примерно так же, как и в Омске,— я на Бакунинской, а Мартыновы — в Сокольниках. Начался новый этап нашей жизни...

ЧЕРТЫ ЧЕЛОВЕКА

У Леонида Мартынова было немало таких черт в его характере и поведении, которые людям, мало его знавшим, казались, по меньшей мере, странными. Многие считали его человеком суеверным, пленником различного рода примет, как народных, так и выдуманных им самим; другие упрекали его в стремлении к оригинальности, в желании во что бы то ни стало не походить на других людей, третьи пожимали плечами и считали его чудаком, у четвертых его поведение вызывало только раздражение...

Еще в Омске при первом сближении с Леонидом Мартыновым я думал о некоторой власти суеверий и примет над ним, и это казалось мне странным — в моем понимании следование суевериям и вера в приметы несовместимы ни с культурой, ни со знаниями, а Мартынов несомненно обладал и тем и другим. Сначала я просто недоумевал, сталкиваясь с некоторыми его поступками. Так, например, встретив воз сена, он старался ухватить из него клочок и спрятать в карман. При встрече с возом дров Мартынов мрачнел, считал это дурной приметой. Молодой месяц он старался увидеть обязательно с правой стороны и показывал ему на раскрытой ладони серебряную мелочь, загадывал желание. Он не переносил запах зажженных спичек, старался как можно меньше ими пользоваться, а когда появились электрические зажигалки, спички вообще были изъяты из домашнего обращения. Если у него дома кто-либо из гостей, не зная об этом, зажигал спичку, прикуривая папиросу, это неизменно вызывало в Мартынове бурную реакцию и надолго портило ему настроение. Не любил и новые вещи, предпочитая им старые.

Все это поначалу казалось странным, непонятным. Однако я скоро понял внутренние причины такого поведения,

и оно перестало мне казаться странным. В основе были реальные причины, не было никакого суеверия или слепого следования приметам.

Явления окружающей жизни Леонид Мартынов воспринимал глазом и чувством поэта, видя за поверхностью явления глубину, первичную основу его, корни народной мудрости. Воз сена, например, хорошо уже потому, что знаменует собой сытую зимовку для скота, а следовательно, спокойную жизнь людям, и он спешил символически приобщиться к этому. Дрова — мертвый лес, убитые деревья, а к деревьям Леонид Мартынов всегда относился с особым чувством как к живым существам, что, кстати, не так уже далеко от истины — работы крупного индийского ученого Джагадиса Бозе доказывают наличие у растений некоторых аналогов чувств (книга Бозе имеется в библиотеке Мартынова). Но работы индийского ученого только подкрепили этот взгляд на деревья, он сформировался у Мартынова раньше, чем он познакомился с трудом Бозе. В стихах Мартынова, написанных еще до войны, мы находим диалоги с деревьями, беседы с ними, свою судьбу поэт иногда сближает с судьбой дерева:

И я топором был под корень подрублен,
Но не был погублен, я не был погублен...

Нарождение нового месяца — начало нового периода времени, обещание грядущих событий, напоминание о непрерывном обновлении жизни, о необходимости быть готовым к переменам. В те годы Мартыновым жилось трудно, заработки были скудными, они попросту нуждались. Показывая молодому месяцу серебряные монеты и видя его с правого глаза, который в жизни человека имеет более важное значение, чем левый (прицеливаются, например, правым глазом, закрывая левый), Мартынов высказывал свое желание добрых перемен в наступающем новом периоде времени...

Вообще же во всем этом поведении Мартынова было не столько следование приметам и, конечно, не слепая вера в какое-то предопределение,— Мартынов был абсолютно чужд какой-либо мистики,— а ощущение себя частицей окружающего мира, большого и малого, земного и космического. Мартынов просто входил в окружающий мир, как его частица, зависимая от всех явлений природы. И он не проходил мимо любых естественных природных проявлений,— об этом достаточно полно свидетельствуют его сти-

хи,— находил в них причины и следствия многих и многих житейских событий, всегда связывая окружающие явления с существованием человека, с воздействием на него явлений природы и, в частности, на его собственное состояние. Современная наука не отрицает таких взаимосвязей. Нередко причины поведения Мартынова были так глубоко запрятаны в его сознании, в памяти, что людям, не знавшим его близко, реакции поэта на окружающее нередко казались необоснованными, нарочитыми, оригинальничанием...

Новые вещи он не любил, например, по очень простой причине. В Омске после долгих лет лишений, невозможности даже приодеться как следует Мартынов наконец смог купить себе новый костюм. По нашим понятиям того времени, это был великолепный костюм — синевато-голубого цвета, удивительно шедший к его светло-русым волосам, прекрасно сидевший на нем. Нина Анатольевна была счастлива, да и сам Мартынов чувствовал себя в новом костюме как-то иначе, увереннее, что ли... Прошло всего несколько дней, и костюм, который был надет только один раз, украли... Я не скажу, что это было трагедией, но Нина Анатольевна плакала и была потрясена такой несправедливостью, а Леонид со свойственным ему «беспощадным оптимизмом» пытался утешать ее, но и сам был огорчен... После этого случая у него до конца дней осталось настороженное отношение к новым вещам, он предпочитал носить старые, уже обношенные им вещи...

Иное было со спичками. Мы так и не узнали причину отвращения Мартынова к запаху зажженных спичек. В новелле «Бойскаутская шляпа», вошедшей в книгу воспоминаний «Воздушные фрегаты», он пишет, что отвращение к запаху спичек у него было с детства — и только...

Восприятие природы у Мартынова нередко было обусловлено мыслью, что природа — стихийный художник, созидатель многих прекрасных творений, первым из которых является человек. Когда Мартынов гулял по лесу или по полям, по берегам рек, по холмам, по улицам селений, в Москве, на Ленинских горах или в подмосковном селе Степановском и его окрестностях, где Мартыновы последние четверть века проводили каждое лето, он всегда находил своеобразные образцы искусства природы. Особый интерес он питал к камням. Они словно сами натыкались на него и в самых неожиданных местах; идешь, бывало, рядом с ним и ничего не замечаешь особенного, а он наклонится и поднимет с земли камень, который оказывается удивительным по

своим очертаниям, открывающимся при поворотах руки Мартынова. Как-то, приехав с Ниной Анатольевной ко мне на 16-ю Парковую, идя от такси к дому, он подобрал кусочек песчаника, напоминающий профиль нашего общего знакомого Николая Семеновича Тихонова... И таких неожиданных находок у него было много...

Он никогда не пытался улучшить найденный камень, что-либо процарапать на нем, прочертить, отколоть, сбить. Он воспринимал камни в их первозданности. Одна из его наиболее любимых находок — камень, похожий на голову быка, найденный им в окрестностях Степановского,— была привезена им в Москву и лежит в его кабинете рядом с палочкой-тросточкой, рукоятка которой похожа на голову диковинной птицы. В кабинете этом все сохранено в том виде, как было при жизни Мартынова.

В свое время я окрестил Мартынова шутя Петрофилом и составил фотоальбом, посвященный этому его увлечению. В нем были помещены снимки, сделанные во время приезда Мартыновых в Абрамцево, где моя семья снимала дачу, о походе в долину лесной речки Яснушки, подлинном царстве необыкновенных по своим формам камней. Каждый камень для Мартынова был своеобразной страницей книги природы, которую он мог читать, проникая в глубины прошлого, в законы стихийного искусства природы, в археологические катаклизмы...

У Мартынова было удивительно острое чувство природы. На Иртыше в ранние годы, в подмосковном лесу, на берегу моря он органически вписывался в окружающий мир, становился как бы его неотъемлемой частицей.

Летом 1965 года Мартыновы и я проводили месяц в Паланге. Нина Анатольевна взяла с собой двух племянниц-девочек и часто бывала занята с ними, а Леонид и я бродили в окрестностях Паланги, по берегу моря, проводя время в беседах. Погода не баловала нас, нередко шли дожди, было прохладно. Мы гуляли по бесконечному пляжу Паланги, ходили, как всегда, быстро, обгоняя неспешно гуляющую публику, которая с некоторым удивлением посматривала на нас, не похожих на отдыхающих. Да мы и не были ими — Мартынов именно во время этих стремительных прогулок рассказывал мне о себе, о своих скитаниях, трудностях. Его рассказы были своеобразными черновиками, устными набросками будущих новелл, которые впоследствии составили книгу «Воздушные фрегаты». Он говорил о своем детстве, о юности, о бабушке Баде, от которой узнал много интересно-

го о своих дедах, рассказывал об отце и матери, о встречах с разными людьми...

С этими прогулками связано у меня и ощущение необыкновенной слитности Мартынова с окружающей природой. Особенно ярко я почувствовал это в один из ветреных, холодных дней, когда мы шли по безлюдному берегу моря. Недавно прошел дождь, мы были одеты в черные пластиковые плащи, которые в то время носили многие, они были дешевы и практичны. Мы шли, как всегда, быстро по плотному и упругому песку берега, навстречу ветру... И тут я неожиданно увидел Леонида как бы со стороны — незастегнутый плащ развевался позади него, словно крылья, голова, как обычно, была несколько откинута назад... Он словно летел... И эта летящая походка, мечущиеся от сильного ветра вершины сосен, море, по которому безостановочно катились белоголовые валы, набегая на плоский берег и угасая с шипением, словно какие-то чудовища в бессильной злобе,— все это слилось у меня в единое действие природы, и Мартынов вписывался в него как летящая в пространстве, неотделимая от окружающего беспокойного мира частица...

Впоследствии, видя в кабинете Мартынова причудливую бороду древесного корня, напоминающую женщину, стремительно летящую по воздуху,— я нашел этот корень в лесу близ Паланги и подарил его Мартыновым,— всегда в памяти вставал этот неспокойный ветреный день, бурное море и Леонид Мартынов, не идущий, а летящий с развевающимися за спиной крыльями, сопровождаемый злобно шипящими накатами волн...

Мартынов был талантлив во многом. Смолоду он хорошо рисовал и одно время даже хотел стать художником. Живописец и график Виктор Уфимцев организовал в Омске группу «Червонная тройка», в которую вошел и Леонид Мартынов... В начале 60-х годов я побывал в Ташкенте и встретился там с Виктором Уфимцевым, он многие годы жил в Средней Азии. Мы говорили о молодых годах, проведенных нами в Омске. Уфимцев был старше меня на 13 лет, и я мальчиком еще встречал его и его сестру Лию, тоже художницу, с которой он путешествовал по Средней Азии, помнил его картины, полные жаркого солнца, выставленные в Омском музее, и ослепительные, словно осколки южного неба, изразцы самаркандских и бухарских мечетей, привезенные художником. Уфимцев показывал мне картины и наброски, расспрашивал о Леониде, дружбой с которым очень доро-

жил. Он говорил мне, что у Мартынова были все данные, чтобы стать художником.

— Может быть, лучшим, чем я,— добавил он задумчиво.— Ленька прекрасно чувствовал линию и цвет... И отлично передавал движение...

В новелле «Зъркальщикъ» Мартынов рассказал о своей дружбе с Уфимцевым и о встрече с ним в Москве после войны... Больше они не виделись.

Рисовать Мартынов не бросал до последних лет жизни. Он делал наброски на клочках бумаги, на картонках, но никогда — на полях своих рукописей. Этим он как бы отделял свое поэтическое творчество от увлечения рисованием. К Новому году он всегда набрасывал на небольших листках бумаги разные рисунки. Листки потом свертывались, перевязывались ниточкой и ставились в стаканчик. Первого января я всегда приходил к Мартыновым — наша традиция проводить первый день года вместе, возникшая еще в Омске, не нарушалась и в Москве,— и всегда вынимал из стаканчика один из таких рисунков, они назывались: «Счастье», и, рассматривая его, определял, чем порадует меня новый год. Рисунки всегда были добрыми и веселыми. У меня сохранились многие из них...

У Мартынова были талантливые руки, он любил создавать из оберток конфет, из листов станиоля чайной упаковки и из другой бросовой хозяйственной бумаги различные фигурки — диковинных птиц, сказочных животных, подобия древних ладей и т. п. Многие из этих поделок и теперь хранятся в его доме...

В последние годы он увлекался созданием коллажей. Мартынов всегда выписывал много газет и журналов, отечественных и зарубежных. Прочитанные, они обычно копились в стопках — выбрасывать многие из них ему было жалко, он нередко возвращался к ним. За несколько лет до кончины он стал использовать старые журналы и газеты для создания своеобразных коллажей: рисунки, фотографии, обложки, карикатуры, шрифты — все шло в дело. Каждый из его коллажей был своего рода осмыслением событий, занимавших его воображение. Они были весьма оригинальными, часто трехмерными, среди них есть весьма выразительные. Несомненно они будут представлять интерес для исследователей творчества поэта как своеобразная форма отклика художника на события в мире, на движение истории, отражение образа мышления писателя, по-своему видевшего мир и его развитие...

Одной из наиболее характерных человеческих черт Мартынова было его неизменно доброе отношение к окружающим, внимание к ним. Это не означало, что он привечал каждого встречного. Нет, в своих знакомствах и встречах он был весьма разборчив, немногих допускал к себе. Чутье на плохого человека у него было поразительное, он находил возможности не сближаться с ними, деликатные, но непреклонные.

Он не переносил фальши, пошлости, грубости, нечуткого отношения к людям. Особенно он был внимателен к так называемым «маленьким людям»,— кстати, он всегда возмущался таким определением,— к почтальонам, библиотекарям, машинисткам и т. п. Он никогда не позволял себе ни тени неуважительного или высокомерного отношения к ним, был с ними всегда внимателен и вежлив. И это не было чем-то искусственным, нарочитым. В основе такого поведения Леонида Мартынова жила вера в человека, в его таланты и способности, не раскрытые в силу различных неблагоприятных житейских обстоятельств. В каждом человеке он стремился обнаружить это зернышко таланта. Мартынов был активно человеколюбив.

Никогда я не забуду урока, который он мне преподал в самом начале нашего сближения. Было это в Омске. Зачем-то мы зашли на почту, которая тогда находилась на горе, по дороге из Мокрого к Центральному рынку. Я был тогда вспыльчив и легко уязвим — следствие заикания, которым страдал многие годы,— болезненно относился к тому, что казалось мне неуважительным или насмешливым отношением ко мне.

Девушка в окошечке почтового отделения, как мне показалось, была недостаточно внимательна к моей просьбе, и я, не сдержавшись, нагрубил ей. Тут же ощутил на себе осуждающий взгляд моего спутника.

Когда мы вышли из почтового отделения, я уже раскаивался в своей несдержанности, но из-за глупого самолюбия не хотел показать этого. Некоторое время мы шли молча, отчужденные. Первым нарушил молчание Леонид:

— Зачем ты так!.. Она же ни в чем не была виновата...— И после паузы добавил: — И даже если бы и была виновата, все равно так нельзя!..

Больше мы об этом не говорили, но урок этот я хорошо помню и по сей день...

Впоследствии я не раз убеждался в том, что уважение к людям — органическая черта в поведении Мартынова. Он никогда не позволял себе оскорбить или унизить человека, как бы тот ни относился к нему самому. Даже встречаясь с одной поэтессой, выступившей в свое время с несправедливой критикой его творчества — что стоило ему очень дорого,— Мартынов никогда не позволял себе публично выступить с ее осуждением или даже напомнить ей о ее проступке, в котором она, кстати, и сама раскаивалась. Он только написал горькое стихотворение, не назвав там даже имени поэтессы, но нам, близко знавшим Леонида Мартынова, было ясно, о ком там говорится. Однако наглости и хамства он не терпел, кем бы ни был человек. Правда, давалось ему это не легко. После столкновения с таким человеком он заболевал...

Даже в тех случаях, когда ему бывало самому очень тяжело, он не позволял себе обижать людей, был крайне деликатен. В январе 1980 года, когда Мартынов был уже тяжело болен, к нему приехала группа из телецентра, завершающая работу над фильмом «Земная ноша». Это были молодые талантливые люди, с которыми Мартынов уже встречался и относился к ним хорошо. Но в это день многое было ему невмоготу. Все его раздражало, все тяготило, беспокоило. В таком состоянии ему лучше было не встречаться с посторонними людьми. Но фильм нужно было заканчивать... Галина Алексеевна Сухова попросила меня побыть с ним в этот день.

Мартынов ничем не показал приехавшим своего состояния. Только когда они уходили из кабинета в соседнюю комнату, чтобы наладить аппаратуру для очередной съемки, он давал себе волю, обрушивал на меня свои претензии и чувства.

Я пытался успокаивать его, но это не оказывало действия, только больше раздражало его. Ему было очень тяжело... Но как только в кабинете появлялись оператор, режиссер и сценарист, Мартынов брал себя в руки и выполнял все их просьбы. Последние кадры фильма были отсняты и вошли в фильм...

«Земная ноша» была показана по телевидению 23 мая 1980 года, на следующий день после дня рождения Мартынова. Мы смотрели фильм в узком кругу самых близких людей. Мартынов остался доволен фильмом. Фильм был действительно хорош, мне посчастливилось его посмотреть еще до показа по телевидению — по приглашению авто-

ров фильма я видел его в студии телецентра на большом экране, в цвете. Там он особенно хорошо воспринимался. Это был своего рода талантливый набросок портрета поэта.

А вот портрета Мартынова художники так и не сделали. Виктор Уфимцев нарисовал юного Леонида. Рисунок сохранился в редчайшей книжке — «Футуристы — сборник I», выпущенной на агитпароходе, совершавшем рейс по Оби и Иртышу в начале 20-х годов. В ней опубликованы произведения друзей юности Мартынова — Виссариона Шебалина, Бориса Жезлова, Николая Мамонтова и других, а также и стихи самого Мартынова. Портрет, нарисованный Уфимцевым, Мартынов охарактеризовал как «весьма непохожий, но миловидный». Пытались рисовать Мартынова и другие художники, профессионалы и любители,— Владимир Милашевский, Рафаил Такташ, Вильгельм Левик, Виктор Гончаров. Ни один из портретов не может быть признан, по-моему, удачным. И это не потому, что художники не обладали талантом или не умели рисовать. На каждом портрете Мартынов разный, вернее, зафиксировано какое-то одно его душевное состояние, мимолетное и не всегда характерное для Мартынова. Хорошо об этом написал сам Мартынов в новелле «Черты сходства», опубликованной в одноименной посмертной книге...

Художникам, а также и многим фотографам портреты Мартынова не удавались еще и потому, что как только он замечал, что становится объектом съемки или внимания художника, так он, как говорила Нина Анатольевна, начинал «корчить рожи» — выдвигал вперед нижнюю челюсть, придавал своему лицу неприсущую ему свирепость, щурил глаза, словом, как бы надевал на себя маску... Поэтому лучше удавались его портреты, сделанные незаметно для него...

Но ни фотография, ни наброски художника никогда не дадут существа облика Мартынова. Нет пока и его литературного портрета. С годами, конечно, будет создан более точный и полный облик и человека и поэта Леонида Мартынова.

Нам, близким к нему людям, порой трудно быть объективными, все слишком близко, ничем не устранима горечь утраты... Сейчас важно зафиксировать каждую черточку его духовного облика, собрать как можно больше черт его, и человеческих и творческих.

Из них и составится его будущий портрет...

Леонид умер во сне 21 июня в 15 часов 45 минут. Жизнь оборвалась мгновенно. Он вздохнул и — ушел... Ушел навсегда! Час тому назад он еще жал мне руку и я говорил ему, что у него сильная и красивая рука и что он много еще сделает своими руками... А потом он сказал, что хочет уснуть...

Теперь он лежал еще теплый, теплотой ушедшей жизни. Со спокойным лицом, словно продолжая спать, но уже бездыханный...

Этот миг никогда не забудется...

Горе велико, оно могло бы убивать, если бы не необходимость действовать. Дни до похорон были в действии... Тяжки были ночи...

Он всегда жил на грани прошлого с грядущим, иначе он не воспринимал настоящего — миг перехода минувшего в будущее.

И смерть для него стала таким же мигом — он ушел из настоящего в грядущее, и мы, друзья его, ощутили на своих плечах не только тяжесть утраты, но и эту непомерную тяжесть его будущей жизни...

В следующий день утренние газеты были полны материалами, которые нашли бы в нем отклик, будь он жив. «Правда» печатала на первой полосе статью о канале Иртыш — Караганда — Джезказган. На Иртыше он вырос, в Караганде бывал в дни молодости, дела Джезказгана были знакомы ему и занимали его еще в годы юности. А проблемы обводнения земель Казахстана никогда не были чужды ему. Незадолго до войны он напечатал стихотворение «Наяды», в котором говорил, что души умерших рек вернутся в старые русла, оживят их, превратят в полноводные потоки, «воскреснут меж степей леса...». И вот по руслам умерших казахстанских рек пошла вода рукотворного канала... А его «проработали» за это стихотворение злые и близорукие критики, увидели в нем мистику и уход от реальной действительности. Но он не помнил зла, он не был мстительным, ибо у него был могучий ум и доброе сердце... Доброе сердце, легко ранимое...

В другой газете — «Советская Россия» — на первой же полосе стоял репортаж с места события — «Рейс на Тобольск», об отправлении из Петрозаводска гигантских ректи-

фикационных колонн для Тобольского нефтехимического комбината... И это сообщение было бы для него близким, ибо Тобольск всегда занимал его ум и талант, он верил в будущее Тобольска...

А газета «Московская правда» напечатала небольшой рассказ о настоящем и будущем Кунцева, места, где молодой Мартынов жил в 20-е годы вместе со своими знакомыми-поэтами, жили бедно, но весело, устремленные в будущее...

В телевизионном фильме «Земная ноша» Мартынов говорит, обращаясь к зрителям, что он читатель газет!.. Да, да, повторяет он, не только книг, но и газет!.. Он получал много газет и умел читать их быстро, схватывая самое главное, самое важное... Газетные статьи и сообщения — экстракт современности, будили в нем мысль, рождали ассоциации, порой становились семенами будущих произведений, стихотворных или прозаических. Он хорошо знал и понимал историю, ее пути, ее движение, и поэтому в современности он всегда улавливал зерна будущего и она была живым источником его творчества...

И, когда мы ехали на Востряковское кладбище и рядом с нами стоял гроб с телом Леонида Мартынова, венки — дань уважения и любви, мимо нас проходили картины Москвы, готовящейся к Олимпиаде... Крылатское, корпуса Олимпийской деревни,— до Олимпиады оставалось меньше месяца... Все это была жизнь, современность, действительность, которой всегда жил Леонид Мартынов и которую он несомненно воплотил бы в новых стихах, ибо принцип Олимпиады — мир и дружба между народами — был близок ему с детства. Он вырос среди разных народов, в Омске, мальчиком он общался с латышами и немцами, поляками и литовцами, казахами и мадьярами... И сейчас, среди венков, провожавших поэта в последний путь, был венок венгерского посольства — в зелени хвои пламенели гвоздики...

День был теплый, с утра ясный, а теперь все небо было в могучих кучевых облаках. Они, словно воздушные фрегаты, сопровождали наш печальный кортеж...

Сначала шли они, как будто
Причудливые облака,
Но вот поворотили круто —
Вела их властная рука.

Их паруса поникли в штиле,
Не трепетали вымпела.
— Друзья, откуда вы приплыли,
Какая буря принесла?

И через рупор отвечали
Мне капитаны с высоты:
— Большие волны нас качали
Над этим миром. Веришь ты —

Внизу мы видим улиц сети,
И мы беседуем с тобой,
Но в призрачном зеленом свете
Ваш город будто под водой...

Воздушные фрегаты!.. Почетным эскортом они провожали в последний путь своего поэта...

Воздушные фрегаты!... Образ, рожденный юным поэтом почти шестьдесят лет тому назад, обретший реальность в стихотворении, а затем и в книге прозы...

А там, вдали, над зеленой каймой кладбищенского леса, кучились зловеще-синие, огромные гряды облаков...

...Могила была рядом с могилой Нины Анатольевны, Ниночки, так много значившей в жизни человека и поэта Леонида Мартынова, прошедшей с ним трудные и счастливые дороги, начиная с 30-х годов...

Шквалистый ветер пронесся по вершинам берез. Небо казалось черным. Ветви деревьев метались по нему словно в отчаянии...

И вот уже подняли крышку гроба, чтобы навсегда закрыть лицо поэта, как упали первые крупные капли с неба и раздался мощный салют... Стало совсем темно, хлынули с небес сплошные струи воды, и под непрерывные раскаты грома и чудовищные высверки молний гроб опустили в могилу...

Воздушные фрегаты салютовали своему Поэту...

Гроза пришла неистовая... И пока гроб с телом Поэта не был скрыт землей, раскаты небесного салюта и слепящее сверкание молний не утихали...

Казалось, сама природа скорбила, провожая Поэта, и одновременно с этим приветствовала начало его новой жизни. Эта необыкновенной силы гроза словно окончательно отделила жизнь Поэта от смерти, возвысила его над прахом, оставшимся в земле, очистила от всего наносного, мелкого, для новой жизни в сердцах людей...

Чем это было? Совпаденьем?
Тогда число их бесконечно!
Но надо подлинно возвыситься,
Чтоб на печаль бы отвечали
Не только вздохи летописца!...

Спустя несколько дней над Востряковским кладбищем пронеслась еще одна буря. Она сломала березу, росшую в ограде могилы, где был похоронен Леонид Мартынов, и закрывавшую небо...

Сломанное дерево убрали, и теперь ничто не закрывает неба над могилой Поэта...

Он всегда любил чистое небо...

1980—1984

Михаил Дудин

ПАМЯТИ Л. Н. МАРТЫНОВА

Ворочал он камни сомнений,
Талантам своим господин.
Собранье его сочинений
Читайте один на один.

Он к истине шел в одиночку
Сквозь дебри деревьев и книг.
Прямым попаданием в точку
Он многих открытий достиг.

В минувшем и нынешнем веке,
Во всем доходя до конца,
Прозреньем души в Человеке
Он видел и славил Творца.

За ним от Оби до Онеги
Волной на полярный редут
Его вдохновенья побеги
С весенним разливом идут.

Его благородства основа
Осталась в его мастерской,
А песни отменное слово
Украсило праздник людской.

СОДЕРЖАНИЕ

Составители
Галина Алексеевна Сухова-Мартынова
и Виктор Григорьевич Утков

ВОСПОМИНАНИЯ
О ЛЕОНИДЕ МАРТЫНОВЕ

Сборник

Редактор А. Г. Панова
Художественный редактор Ф. С. Меркуров
Технический редактор И. М. Минская
Корректор Т. В. Малышева

ИБ № 6432

Сдано в набор 19.04.88. Подписано к печати 26.12.88. А 05451. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Академическая гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 16,80+0,50 вкл. Уч.-изд. л. 17,70. Тираж 50 000 экз. Заказ № 292. Цена 1 р. 50 к. Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель», Москва, 121069, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 300600, г. Тула, проспект Ленина, 109

В 77 **Воспоминания о Леониде Мартынове:** Сборник.— М.: Советский писатель, 1989.— 320 с.

ISBN 5—265—00067—4

Столковаться с целым человечеством
И остаться все ж самим собой,—

эти строки Л. Мартынова находят живое подтверждение в предлагаемой книге воспоминаний. Она воссоздает неповторимый образ поэта, человека ищущей мысли, талантливого и своеобразного, с юных лет влюбленного в поэзию и оставшегося ей преданным до конца своих дней. В то же время Л. Мартынов представлен во всей широте связей с миром, с многообразной жизнью страны.

В $\frac{4702010201—487}{083(02)—89}$ 160—88 ББК 84 Р7